

ВЛАСТЬ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Институт философии

# ВЛАСТЬ

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
ЗАПАДА

Ответственный редактор  
член-корреспондент АН СССР  
В. В. МШВЕНИЕРАДЗЕ



Москва «Наука» 1989

ББК 15.5  
В 57

Авторы:

В. В. МШВЕНИЕРАДЗЕ, И. И. КРАВЧЕНКО, Е. В. ОСИПОВА,  
А. Л. АЛЮШИН, В. Н. ПОРУС, Ю. М. БАТУРИН, Л. Г. ИОНИН,  
В. А. ПОДороГА, Н. С. АВТОНОМОВА, М. К. РЫКЛИН

Редактор-составитель В. А. ПОДороГА

Рецензенты:

доктора философских наук Г. К. АШИН, Б. Т. ГРИГОРЬЯН,  
кандидат философских наук А. Т. ДРОбАН

Редактор издательства В. П. ЛЕГА

**Власть:** Очерки современной политической фило-  
В 57 софии Запада/В. В. Мшвениерадзе, И. И. Крав-  
ченко, Е. В. Осипова и др.— М.: Наука, 1989.—  
328 с.

ISBN 5-02-008095-0

Цель исследования — дать критический анализ учений о власти, разработанных в рамках наиболее влиятельных направлений современной западной философии и культурологии — психоанализа, структурализма, антропологии. В книге представлены различные аспекты проблемы: власть и политика, типология власти, системный и качественный анализ власти, власть и масса, власть и политика литературы, поведенческие концепции власти и др.

Для философов, обществоведов.

0301040300—269  
В—042(02) — 89 КБ—17—1—1989

ББК 15.5

ISBN 5-02-008095-0

© Коллектив авторов, 1989

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель настоящей книги состоит в том, чтобы в рамках нового научного направления — исследования философских проблем политики — ввести в наше научное сознание философское понятие власти — именно *философское*, во всей его многомерности и неоднозначности, попытаться открыть путь к широким дискуссиям и новым исследованиям. Историческое развитие общества, будь то в сфере политики или экономики, права или морали, происходит ли оно путем революций или реформ, в конечном счете ведет к преобразованию властных отношений, выступающих в свою очередь и как цель и как условие социальных изменений. При глубоком рассмотрении вопроса обнаруживается, что понятие власти не может быть полностью раскрыто лишь с точки зрения политики или экономики, права или морали, представляющих собой отдельные аспекты и проявления такого многослойного и целостного феномена, каким является власть. Нужен не ограниченный узкой «заинтересованностью» и частичностью подхода широкий, объективный и глубокий философский анализ. Изучение власти не самоцель. Оно должно способствовать установлению в обществе подлинно демократических, гуманных взаимозависимых отношений. Вот почему авторский коллектив старался вести исследование власти на самых различных уровнях ее функционирования в обществе, истории и культуре: анализируя модели власти, предложенные в последние десятилетия западной политической философией и политологией, попытаться выяснить, насколько адекватно они могут описывать политическое поведение массы людей, класса, партии, группы, лидера или отдельной личности; исследовать, насколько это возможно сегодня, весь спектр позитивных и негативных функций власти, другими словами, постоянно находиться в поисках ответа на вопрос: что есть власть? Какова ее природа, сущность, каковы ее функции, как она может распределяться в обществе и возникать, кто ее возможные



носители, каким образом она проникает на различные уровни социальной структуры и преобразует их? Задаваться вопросами и отвечать, отвечать вплоть до критической рефлексии по поводу правомерности постановки самого вопроса «что есть власть?».

Материал книги дается в широком тематическом горизонте: власть и политика, проблема сохранения цивилизации, политика и наука, типология власти, системный и количественный анализ власти, власть и познание, власть и политическая рациональность, антропология и психоанализ власти, власть и литературная политика. Конечно, обсуждаемые в книге проблемы далеко не исчерпывают всех исследовательских направлений, активно заявивших о себе в западной политической мысли XX века, в частности таких, как политическая онтология и гносеология, политическая культура, этика, взаимоотношения политики и экологии и др., но авторский коллектив и не ставил подобной задачи. Поэтому настоящий критический анализ сфокусирован только на тех концепциях власти, которые, во-первых, остаются и сегодня наиболее влиятельными как в теоретическом, так и в идеологическом и политическом отношениях; во-вторых, углубляют наше знание о структуре властных отношений, характерных в основном для современных западных обществ; наконец, открывают определенные возможности для продуктивного критического анализа общих проблем развития демократических структур и власти (вне зависимости от той или иной общественной системы), а также для разработки некоторых новых понятий и введения их в современную политическую теорию марксизма.

Первый раздел книги предлагает читателю углубиться в изучение достаточно сложных тем, связанных со стремлением западной политологической науки обосновать «строгие методы» анализа власти, причем в этом поиске критерием научной рациональности оказывается то системный анализ, то математические методы, то философский анализ универсального понятия политического. Замысел настоящего раздела заключается в том, чтобы не только обсудить вопрос о возможных границах научного анализа феномена власти, но и выявить основные тенденции будущего политического развития западного общества, среди которых выделяется тенденция к ослаблению патерналистского контроля со стороны государства над гражданским обществом и все большему расширению политических функций гражданского общества, механиз-

ма демократии. Научные модели власти строятся с учетом этих тенденций, создаются не ради самих себя, а с опорой на будущие формы политической практики, которая во все большей степени будет определяться не только волей и мудростью политиков, но и объективной логикой политического процесса, коллективами общественных экспертов, владеющих точным политическим знанием. Фигура традиционного политика должна исчезнуть.

Второй раздел знакомит читателя с исследовательскими программами ведущих теоретиков западной политической мысли XX века. В главах настоящего раздела критически представлены различные попытки заново переосмыслить власть в ее особых социальных измерениях (антропологических, психоаналитических, культурологических, семиологических и др.), которые не могут более уже исследоваться только в контексте юридически-правовых и политологических дисциплин. Толкуя власть на самом широком фоне специфических социальных взаимодействий, такие исследователи, как Бертран Рассел, Мишель Фуко, Элиас Канетти, Жак Лакан и Ролан Барт, создают оригинальные концепции власти, каждая из которых, не претендуя на универсальность, открывает возможности нового, более глубокого понимания проблем, с которыми столкнулись общественные системы Запада и Востока в XX столетии.

Предлагаемая читателю книга не обладает стилевым единством и не представляет собой коллективной монографии в традиционном смысле. Каждый член авторского коллектива использовал авторское право своего интеллектуального, эмоционального, жанрового и стилового самовыражения как ученого. Возможно, далеко не все главы этой книги читатель найдет интересными и написанными на том уровне профессионального отношения к делу, который так необходим сегодня. Что-то покажется уже сто раз доказанным и несущественным, а что-то вызовет протест в силу своей «заумности», — но не будем предугадывать читательской реакции. Хотелось бы только заметить, что авторский коллектив в полной мере осознает свою профессиональную ответственность перед читателем. Новая духовная атмосфера, которая устанавливается в нашем обществе, требует решительного отказа от догматического языка, на котором еще недавно так бойко и увлеченно изъяснялась отечественная философская мысль. Этот решительный отказ, при всем даже самом искреннем признании идей перестройки, не всегда удастся. Авторы

надеются, что данный труд делает несколько скромных шагов в этом направлении и что все те, кто прочтут эту книгу, получат убедительные доказательства практической силы философствования. Может быть, философия там, где она действительно является философией, никогда не сторонится опыта практического действия и участвует в политической борьбе наравне с другими общественными и гуманитарными науками. Тем более когда философская мысль обращается к исследованию власти во всем многообразии ее социальных, исторических и культурных функций: философ не может не понять, что осмысление власти есть политическое деяние, открывающее в нем самом новые возможности понимания социальной жизни и своего места в ней, той жизни, где власть более не увлекает на путь к мирам насилия, а охраняет жизнь до ее самых дальних и глубинных пределов. Понимать власть — это не обвинять ее, напротив, видеть в ней одну из позитивных сил социальности.

Книга создавалась в Лаборатории философских проблем политики Института философии АН СССР.

Авторский коллектив изучит все читательские отзывы, замечания, указания на недостатки, без которых не обходится ни одна работа, посвященная исследованию новой или малоразработанной темы. Он выражает свою благодарность за большую научно-техническую работу по подготовке рукописи к печати В. В. Григорьян, Е. А. Рыжковой, О. А. Лебедевой и Л. А. Карамновой.

# РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛАСТИ

(вместо введения)

В. В. МШВЕНИЕРАДЗЕ

Предлагаемый читателю сборник статей является, пожалуй, первой попыткой марксистского *философского* исследования проблемы власти на основе конструктивного критического анализа мыслей, идей, концепций, содержащихся в работах некоторых видных современных западных обществоведов, главным образом философов, частично или полностью посветивших свои теоретические изыскания раскрытию наиболее широкого, а именно философского, понимания властных отношений в обществе. Эти отношения не сводятся к функционированию власти лишь в той или иной отдельно взятой сфере человеческой деятельности — политической, экономической, правовой или другой — или к их сумме. Только на глубинном субстанциональном уровне прежде всего и находят свое выражение в наиболее «чистом» виде те объективные законы властных отношений, которые в своих конкретных проявлениях, на поверхности жизни, так часто и столь удивительно тесно переплетаются со случайностью, что создают вполне реальную видимость сферы непредвидимого, непостижимого.

Философский подход в качестве предмета изучения выделяет прежде всего онтологию власти, субстанциальные основания властных отношений, их существенно-общие признаки, выражающиеся в любом типе или форме власти и придающие ей объективно-закономерный характер. Здесь, как и в других случаях, взаимодействие между единичным и общим, явлением и сущностью постоянно изменяется, а в процессе его познания происходит переход не только от явления к сущности, но и от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т. д. Специфика политической гносеологии, раскрывающей многообразные аспекты функционирования власти, состоит в том, что последняя рассматривается как реализация волевой деятельности политического субъекта (индивидуума, группы, класса, партии, массового движения, лидера, госу-

дарства). Основным способом существования власти представляется ее проявление в различных динамичных формах *зависимости, независимости и взаимозависимости* между человеком и человеком, личностью и обществом, социальными группами, классами, государствами, блоками государств. На этом круге вопросов мы и остановим наше внимание. Приглашаем читателя поразмышлять вместе с нами. Власть многогранна, многослойна, многомерна. Исследование каждого ее измерения требует особого подхода и своего понятийного инструментария.

Главной исторически необходимой общественной характеристикой рационально упорядоченных властных отношений является постоянное развитие и совершенствование демократии в самом широком смысле этого понятия — господство человека над собой и общественными отношениями, а человеческих отношений — над отношениями между вещами. Это движение составляет объективное, закономерное и наиболее существенное направление прогрессивного исторического процесса.

Социальная система власти образует некоторую целостность, в которую, условно говоря, входит ряд подсистем — политическая, экономическая, правовая, административно-управленческая, военная, воспитательно-образовательная, массовых и профессиональных общественных союзов и организаций, этнических общностей, «малых групп» и др. В общественной жизни они взаимопереплетены, но каждая из них, тем не менее, состоит из множества относительно самостоятельных структур, чаще всего имеющих форму больших или малых, сложных или простых пирамид, в которых устанавливаются, как в вертикальном срезе, так и в горизонтальном, определенные отношения, продиктованные особенностями управления в той или иной сфере жизни и в конечном счете основанные на взаимосвязанных, но не тождественных специфических базисных условиях. Эти-то условия и обеспечивают самую возможность существования многочисленных проявлений власти, а также ее реализации.

Если, например, в экономической области в качестве такого условия выступают материальные отношения, в том числе имущественное неравенство, то в политической жизни таким условием служит целый комплекс построенных на принципе административно-управленческой иерархии государственных, партийных, хозяйственных, общественных, профессиональных отношений и соответствующих им институтов, где каждое высшее звено по сравнению

с более низкими обладает большим числом возможностей, чтобы принудить или стимулировать последние к выполнению принятых на данном уровне решений. В правовой сфере власть обуславливается принятым в государстве нормативным законом и регулятивными нормами поведения, действие которых обеспечивается правоохранительными органами. Однако социальная система власти не исчерпывается указанными крупными подсистемами, она шире и охватывает буквально все сферы человеческой деятельности, в которых в какой-либо степени проявляются сущностные отношения зависимости. Формы функционирования власти многочисленны: принуждение и слежение, насилие, наказание и поощрение, принятие решений, контроль и управление, соперничество и сотрудничество. Есть и другие измерения. Власть может носить не только негативный характер, но и позитивный. Поэтому принципиальный вопрос не в уничтожении власти, а в ее разумном использовании как важнейшего механизма управления.

Конечно же, структура политической системы, которая в концентрированном виде чаще всего выражается в политическом режиме, не может не накладывать сильнейшего отпечатка на природу властных отношений. В различных типах демократии (буржуазная, социалистическая) они функционируют по-разному. Но совершенно иной характер приобретают в условиях тоталитаризма, скажем фашизма. Экстремальный вариант жесткой регламентированности политической организации полицейского государства, в котором власть главным образом осуществляет организованное принуждение, может быть определен как крайний случай политического отчуждения.

Неконтролируемое и необъятное всевластие вершины пирамиды и ее самое уродливое выражение — культ личности создают вполне правдоподобное впечатление четкого функционирования властных отношений. Но это не так, ибо именно в подобных случаях и проявляются с наибольшей силой дисфункциональные формы власти как важнейшей разновидности общественных отношений. Локализуясь в одной точке, она как бы полностью пожирает себя, оставляя лишь функцию неконтролируемого насилия, которое словно метастаз распространяется по живому телу социального организма. Аномальная односторонняя зависимость сковывает и разрушает самую основу общества — человеческий потенциал. Игнорирование основного

критерия жизнестойкости народа, критерия, измеряемого духовно-культурной и материальной возвышенностью каждого индивидуального человека, ведет к разгулу произвола, сопровождаемому чувством социального страха, и имеет губительные последствия, независимо от того, как этот процесс отражается в индивидуальном или массовом сознании. Обесценение человека обесценивает общество, его экономическую, политическую и правовую системы, морально-нравственные и эстетические отношения. Власть сильна не тогда, когда она выглядит несокрушимой и вынуждена опираться на силу, а когда проявляет максимальную заботу о членах общества, обеспечивает оптимальные условия для их свободного созидательного труда, расцвета способностей и талантов.

Анализ действия разнообразных форм отчуждения — социального, экономического, политического, правового, религиозного — показывает, что созданные самим человеком общественные образования (социальные институты, экономические и политические отношения, государство, правовая система, церковь) и результаты его материальной и духовной деятельности, в которых проявляется его сущность, отторгаются от самого человека-творца и противопоставляются ему в качестве господствующих над ним враждебных сил. Определенная сущность человека приходит в неразрешимое противоречие с его существованием. Появляется бесконечное число зависимостей человека от имеющихся в обществе отношений и их институциональных форм, свободный человек-властелин становится зависимым человеком-рабом.

На деле чуждые общественные силы суть не что иное, как продукты собственно человеческой деятельности, извращенная форма выражения сущностных сил человека. Поэтому проблема преодоления отчуждения (социального, экономического, политического и т. д.), выступающая одновременно и как проблема обуздания власти, разрешается путем присвоения человеком своей собственной сущности, упразднения различных отношений односторонней зависимости.

Понятие власти, впрочем, как и смежные с ним понятия авторитета, господства, влияния, силы и т. п., относится к числу тех многомерных категорий социального знания — философии, политологии, социологии, психологии, политической экономии, этики, права, — которые по мере углубления в их изучение порождают значительно больше вопросов, чем позволяют дать на них однозначные



ответы. Конечно же, в самом широком смысле, не обязываящем дать строгое определение, власть, как отмечалось выше, это всегда какое-либо отношение: индивида к себе самому (власть над собой), между индивидами, группами, классами в обществе, между государствами (власть организации). Реализуется она в некоторой сфере индивидуально-человеческой и общественной деятельности — социальной, политической, экономической, правовой и т. п. Даже когда речь идет о взаимоотношении человека с природой, то последняя с необходимостью приобретает *социальный* смысл, ибо, будучи органично включенной в жизнедеятельность человека, начинает играть роль существенного компонента именно в межчеловеческих, общественных и межгосударственных отношениях. Указанные аспекты властных отношений взаимосвязаны и взаимообусловлены, но каждый из них является носителем специфического контекста неповторимой внутренней связи. Возьмем международный аспект.

История отдельных обществ, как и межгосударственных отношений, если рассматривать ее в политическом аспекте, свидетельствует о сложном, часто протекавшем в болезненных, трагических формах, процессе постепенного становления вынужденного, хотя и хрупкого, состояния более или менее сбалансированных властных отношений в мире. Результаты многовековой политической истории человечества можно измерить и тем, что сегодня, скажем так, уже не существует в явном виде отношений господства и подчинения между странами. Повторяем, этому состоянию еще далеко до совершенства, ибо в политическом пространстве планеты имеются еще регионы, где каждый день льется кровь невинных людей, но оно является высшей точкой демократического взаимного уравнивания объективных и субъективных интересов народов и государств, которого достигла современная цивилизация.

Взятая в качестве исходного пункта, наиболее зрелая форма демократизма в международных отношениях позволяет при ретроспективном анализе очистить историю от случайностей, вычленив главную линию движения и, основываясь на ней, строить более или менее обоснованные суждения о перспективе. Эта главная линия видится как неуклонное усиление и повышение роли человека прежде всего в системе функционирования политических властных отношений, что способно высвободить его творческую энергию для активной деятельности в любой иной сфере. Как показывает опыт, именно полити-

ческая свобода всегда служила условием свободного труда в экономике, науке, искусстве, культуре, нравственно возвышала общество. Освобождение труда — это не только экономическое, но и политическое понятие. Труд нужен везде. Для его освобождения необходимы не только экономические реформы, но в конечном счете политические революции. Разумеется, последние подготавливаются соответствующей степенью зрелости экономических отношений, но дело венчает политика.

Исторически происходило так, что сначала главной формой политического взаимоотношения между членами общества, странами и целыми регионами была зависимость. Основными условиями и способами для установления отношений господства и подчинения являлись сословно-иерархические системы, наследование власти, монархические и диктаторские режимы, отсутствие принципа разделения властей, классовая борьба и, наконец, завоевательные войны. Главной функцией власти служило принуждение и ее крайняя форма проявления — насилие. Прогрессивная линия исторического развития политических отношений шла и ныне идет путем преодоления зависимости, через достижение независимости и утверждение взаимозависимости. Для поддержания этой линии необходимо безостановочное совершенствование демократии, изменение сущностных характеристик оснований властных отношений, переход от принуждения к управлению, равно как и систематическое проведение различных реформ с целью постоянной регуляции внутригосударственных и межгосударственных взаимосвязей.

Однако принцип взаимозависимости государств, основанный на замене конфронтации широким международным сотрудничеством, традиционно понимался, да и сейчас иногда интерпретируется в имперском значении, а его воплощение в жизнь принимало уродливые антидемократические формы наподобие пресловутого «разделения сфер влияния» между наиболее мощными государствами или группами государств, при котором как бы узаконивалось зависимое положение большинства стран мира. Попытки нарушить даже это, казалось бы, фиктивное состояние взаимозависимости с целью извлечения односторонней выгоды привели человечество к двум мировым войнам.

В сегодняшнем мире, в нынешних исторических условиях, как уже отмечалось, межгосударственные властные отношения в целом уравновешены, т. е. существует определенная стабильность во взаимодействии между капита-

листическими, социалистическими, развивающимися и неприсоединившимися странами. На Западе это состояние часто называют «ядерным сдерживанием» или «равновесием страха». Попытки взломать установившийся баланс властных отношений могут не столько привести к их изменению, сколько оказаться роковыми для существования цивилизации. Сильная объективная тенденция к сохранению взаимозависимости и ее упрочению проявляется и в расширении мирохозяйственных связей, которые все больше охватывают не только экономику и торговлю, но также науку, культуру, искусство, спорт, туризм. Путь к установлению справедливых отношений пролегает также через национально-освободительные антиколониальные движения за независимость.

Сложность сохранения равнозависимых отношений между государствами состоит в том, что требует нетрадиционных подходов и к взаимоотношению государств, и к собственной политической линии. Во-первых, указанные отношения все еще продолжают регулироваться на основе учета средств ведения войны. Такой основной критерий, единственно возможный в сложившейся обстановке, уже дал колоссальные положительные результаты, но к сожалению не способствует остановке процесса усовершенствования ядерного оружия. Он, как оказывается, стимулирует в конечном счете именно то, против чего и должен быть направлен — силовое превосходство. Концентрируясь на главном вопросе — разоружении, следует шире развивать дух сотрудничества и доверия в других сферах. Это способно облегчить решение главного вопроса и объективно ослабить его остроту. Диалектика здесь такова, что взаимное доверие и осуществление мер, ведущих к равной безопасности, являются не только целью и следствием разоружения, но также его средством и условием. Во-вторых, если раньше нормальные межгосударственные отношения в области политики в основном сводились к взаимному признанию суверенитета, то сегодня многое в этих отношениях зависит от того, как в одном государстве видят функционирование властных отношений внутри другого государства. Можно спорить о том, является ли подобный подход нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела другого государства или не является. Правдоподобным мог бы выглядеть и другой тезис: каждое государство именно в силу своей суверенности может следовать у себя тем принципам, которые считает приемлемыми. Факт, однако, ос-

тается фактом: межгосударственные отношения сегодня находятся в прямой зависимости от внутригосударственных политических отношений, от степени их демократизации и предоставляемых человеку свобод. Наконец, баланс власти в мировом сообществе не есть некая постоянная величина. И как это ни парадоксально, для его сохранения нужны изменения, причем постоянные регулирующие меры, которые систематически и полностью учитывали бы не знающее перерывов объективное движение всех основных компонентов мирового политического процесса.

Может создаться впечатление, будто власть, по крайней мере имплицитно, всегда связана с принуждением, даже основана на нем, поскольку выражает способность одного субъекта (индивидуального или коллективного) принудить другого совершить те или иные действия<sup>1</sup>. Такой вывод распространен, но не исчерпывает истины, ибо описывает лишь один из способов использования власти, а не раскрывает ее сущности. Он скорее относится к силе, которая в определенных условиях служит основанием власти. Власть может включать в себя принуждение, но не сводится к нему. Однако, чтобы прийти к такому выводу, недостаточно рассмотрение власти лишь в политической, экономической и правовой сферах. Необходим анализ власти как неотъемлемого атрибутивного свойства социальных отношений (индивидуальных, групповых, коллективных, массовых), как способности действовать, принимать решения и реализовывать их, а также широкий философский подход к самой проблеме власти. Он имеет то преимущество перед частными подходами, что позволяет глубже раскрыть функциональные особенности власти в политике, экономике, праве, их взаимосвязь, ограниченность любой частной (или «частичной») интерпретации и показать все богатство властных отношений в обществе. Однако эти преимущества легко могут обернуться недостатком, если философские обобщения не будут построены на реальных жизненных фактах и теоретически обоснованных достижениях других общественных наук.

Полное народовластие, полная демократия! Каковы условия их достижения? Устранимо ли принуждение при наличии власти? Каково взаимоотношение между свободой и принуждением? Основное требование демократии сводится к тому, чтобы, например, юридический принцип «разделения властей» был распространен не только на законодательные, исполнительные, контрольные и судеб-

ные органы, но и на всех членов общества, между которыми должны быть установлены отношения равной и свободной взаимозависимости. Нельзя довольствоваться созданием демократических условий, скажем, только в экономической либо политической, либо правовой сфере. При таком теоретически привлекательном подходе ограниченной постепенности в социальной практике неизбежно возникновение проблемы «неразрешимости демократии».

Когда под властным отношением понимается обязательно наличие принуждения, которое противопоставляется свободе, то весь пафос интеллектуальной и социальной энергии общества бывает направлен на упразднение принуждения как наибольшего, причем единственного, зла, стоящего на пути свободного демократического развития человека. Однако устранение принуждения вовсе не означает ликвидации властных отношений или возможности злоупотребления властью. Принуждение — это не причина, а следствие определенного типа власти. Без изменения глубинных властных отношений в обществе, без преобразования типа власти, связанного с принуждением, последнее просто неустранимо. Оно всегда будет возникать в той или иной форме.

В общих чертах конструктивный шаг для ликвидации принуждения выглядит как создание такой демократически эффективной структуры управления, которое осуществляется не только для народа, в его интересах, но самим народом, в своих интересах. На первый план выдвигается требование качественного повышения политической культуры всего общества. Каждый его член должен приобрести способность профессионально решать вопросы внутренней и внешней политики, выступая одновременно и как объект политических отношений и как субъект политического творчества. Именно в этом выражается объективная необходимость происходящего ныне во всем мире закономерного процесса политизации общественного сознания и деятельности, без которого вряд ли можно решить проблему совершенствования демократии и достижения каждым человеком политической свободы. Перефразируя известную формулировку Энгельса, можно сказать, что политическая свобода есть познанная политическая необходимость, способность принятия решений со знанием дела и умение активно содействовать их успешной реализации.

Часто встречающееся в истории социально-политической и философской мысли отождествление власти с насилием и ее противопоставление свободе имеет некоторые основания. Анализ опыта политических систем свидетельствует, что не властные отношения сами по себе, а концентрация власти, т. е. нарушение взаимозависимости, создает условия для различного рода злоупотреблений властью, манипулирования принципами демократии, ограничения свободы, разгула неконтролируемого насилия. Чем больше власть концентрируется, тем больше ограничивается свобода. Абсолютная власть ограничивает свободу абсолютно.

В определенном смысле верно предположение, что уже сам факт концентрации власти (социальной, экономической, административной, юридической и особенно политической) в обществе в руках группы людей или, тем более, отдельной личности представляет собой разновидность той или иной степени узурпации неотъемлемых прав граждан данного общества на свободу.

Еще в XVIII веке выдающийся французский просветитель и политолог Шарль Луи Монтескье активно выступал за соблюдение принципа «разделения властей» как необходимого условия обеспечения свободы в обществе и предотвращения деспотизма и тирании. В своем знаменитом труде «О духе законов» в 1748 г. он писал: «Политическая свобода может быть обнаружена только там, где нет злоупотребления властью. Однако многолетний опыт показывает нам, что каждый человек, наделенный властью, склонен злоупотреблять ею и удерживать в своих руках власть до последней возможности... Для того чтобы предупредить подобное злоупотребление властью, необходимо, как это вытекает из самой природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую... Когда законодательная и исполнительная власти объединяются в одном и том же органе... не может быть свободы... С другой стороны, не может быть свободы, если судебная власть не отделена от законодательной и исполнительной... И наступит конец всему, если одно и то же лицо или орган, дворянский или народный по своему характеру, станет осуществлять все три вида власти»<sup>2</sup>.

Идеи Монтескье в той или иной степени нашли распространение и воплощение при создании буржуазно-демократических политических режимов как в Европе, так и в США.

**В этой связи интересно проследить за рассуждениями одного из специалистов по политической истории США, профессора Института Вудро Вильсона в Вашингтоне Джеймса Макгрегора Бэрнса. Остановимся на них. Исследуя процесс становления американского буржуазного государства, его политической системы и конституции, он отмечает, что жизненно важный поворотный момент в истории страны наступил в 1787 году, когда «отцы-основатели», составлявшие менее трех десятков человек, среди которых были не только политики, но и плантаторы, юристы, бизнесмены, основали конституционную и политическую структуру нового национального правительства. Их главной идеей, пишет Бэрнс, была идея свободы. Но они понимали, что люди не равны по способностям и, следовательно, не могут иметь одинаковые условия, но что люди равны в своих естественных правах на жизнь, свободу и достижение счастья. Испытывая любовь к свободе, «основатели» ненавидели тиранию в любой форме — религиозной, королевской, толпы, экономической или правительственной. В противоположность монархии они создали республику и поэтому выдвинули идею представительных институтов — законодателей, исполнителей и судей, которые избирались голосованием или молчаливым согласием. Они столкнулись с серьезной проблемой — как создать и поддержать правительство, которое было бы достаточно сильным, чтобы удовлетворить требованиям американского народа к жизни, свободе, справедливости, но и не настолько сильным, чтобы лишить его этих ценностей. Каким образом должен быть представлен народ, чтобы это представительство не было фальшивым.**

**«Основатели» понимали, продолжает Бэрнс, что народное правительство должно обладать такими качествами, как патриотизм, самоотверженность, честь, достоинство, трудолюбие. Но они знали также, что люди могли проявлять и другие качества — алчность, невежество, продажность, агрессивность, нетерпимость. Просто иметь представительную республику было недостаточно; народ мог с помощью голосования принять ошибочные решения, как это могли сделать и правители с помощью своей власти. Таким образом, они должны были решить вопрос о том, чтобы в новой республике были представлены естественные стремления людей к свободе, справедливости, порядку и чтобы были подавлены их наклонности к тирании и беспорядкам.**



Был сделан вывод: обеспечить правление народного большинства посредством избрания представителей. Но так как в некоторых ситуациях большинство тоже могло оказаться неразумным, несправедливым, то было принято решение: не отказываясь от принципа большинства, «очистить» его побуждения от возможных двусмысленностей, пропустив через институциональное сито, чтобы в результате получить спокойную мудрость. Поэтому законодательная, исполнительная и судебная власти были тщательно разделены на отдельные и разные области, чтобы правительству было трудно действовать, не обеспечив согласия в их совместной работе. Иными словами, постоянный конфликт был изначально же встроен в правительство, чтобы его действия предпринимались медленно и продуманно, чтобы народное большинство не могло бы легко атаковать свободы народа <sup>3</sup>.

Конечно, от провозглашения принципов до их осуществления путь может быть долгим и не всегда или не во всем успешным. Тот же Бэрнс весьма критически относится ко многим сторонам современных западных демократий. Но мысль о том, что для обеспечения нормального функционирования демократической политической системы нельзя уповать лишь на доброго лидера, что человек редко выдерживает испытание властью и поэтому следует всеми силами избегать тирании или деспотизма и что одним из важнейших объективных условий для установления справедливого строя в государстве и обществе является разделение властей с целью их уравнивания — эта мысль занимала и ныне занимает центральное место в истории политической философии и в свое время в виде догадки была высказана еще Платоном <sup>4</sup>.

Чрезмерное сосредоточение власти, как свидетельствует исторический опыт, включая современные государства, далеко не всегда приводит к массовым политическим движениям протеста. Оно имеет и противоположные следствия, как бы «освобождая» большинство членов общества от социальной и иной ответственности за положение дел, вызывая массовую апатию, самоустраненность от активной политической жизни, способствуя падению политической культуры и, как это ни парадоксально на первый взгляд, порождая противоположные явления — взрыв карьеризма и сознательной апологетики.

Объективное изучение властных отношений в таких политических режимах для ученого философа, политолога или историка представляет огромные трудности, ибо боль-

шинство официальных документов и материалов общественно-политической жизни и литературы о ней, как правило, бывает лишено той достоверности, которая необходима для научных обобщений и нахождения глубоко скрытой истины. Просто обращение к письменным источникам и «фактам жизни» в подобных случаях нередко ведет к заблуждению<sup>5</sup>. Необходимо исследование объективно существующих властных отношений, т. е. отношений различных форм зависимости и взаимозависимости между членами общества, социальными и этническими группами, слоями, классами, а также внутри партий, групп и классов. Любая форма зависимости ограничивает свободу, а отношение несвободы ведет к потере ответственности. Только реальное наличие личной свободы способно породить чувство личной ответственности, без которого не может быть полнокровной творческой трудовой активности. Таким образом, чтобы распространить ответственность за положение дел в обществе на каждого его члена, сделать ее всеобщей, надо разделить власть, сделать и ее всеобщей.

Разумеется, такая модель общественно-политической организации является идеальной в том смысле, что властные отношения слишком широки, охватывают многочисленные сферы управления, связанные с неизбежностью существования административно-иерархических структур, разных степеней ответственности и свободы, а поэтому модель не может существовать в «чистом» виде. Как и всякая мыслительная конструкция, эта модель абстрактна, она отражает как бы застывшее состояние. Но она одновременно и конкретна, поскольку если придать ей присущий динамизм, раскрыть реальные внутренние противоречия, то окажется, что она непременно предполагает утверждение во всех сферах деятельности более или менее равнозависимых отношений, при которых ответственность является функцией свободы, а власть — функцией ответственности. В подлинно демократическом обществе власть в любом ее проявлении не может и не должна существовать лишь как некоторая потенциальная или актуальная форма принуждения. В этом случае она неизбежно опирается на силу и приобретает чуждое демократии самодовлеющее значение. Власть перестает быть сопряженной с ответственностью. Она озабочена лишь тем, чтобы сохранить, упрочить и расширить сферу своего влияния, т. е. принуждения, суживая тем самым сферу свободы.

В ряде основополагающих политических документов западных стран декларируется идея о том, что человек рождается свободным, что он изначально наделен правами на равенство и т. д.<sup>8</sup> Привлекательность подобных лозунгов обусловлена их общегуманистическим зарядом социальной справедливости; конечно же, человек не рождается богатым или бедным, а признаки расовой или национальной принадлежности, равно как и половые различия не должны влиять на его право на свободу. Однако, анализируя протекание политического процесса и действие в нем властных отношений, не следует уповать лишь на красивые формулы. В любом обществе человек рождается как существо абсолютно зависимое от всего того, что его окружает, и в любом обществе человек проходит процесс социализации и политизации, приспособляясь к уже существующим в данном обществе формам и механизмам функционирования социально-экономической и политической системы властных отношений. Он должен как бы «вписаться» в жизнь.

Хорошо известно, что становление человека как человека, вернее, как личности — это самый сложный, полный внутренних противоречий процесс, который практически продолжается всю жизнь и, конечно же, не сводится к адаптации к существующему положению вещей. Напротив, активное освоение человеком социальных, экономических, политических, правовых, моральных, эстетических и других функций, в соответствии с которыми данное общество осуществляет свою деятельность, все большая его включенность в окружающий естественно-природный и социально-предметный, институционализированный мир, в систему политических и культурных ценностей, властных отношений позволяют ему раскрыть свои потенциальные возможности, стать неотъемлемым звеном функционирования данного общества. Но этого мало. Человек становится активным агентом властных отношений, способным оказывать огромное воздействие на функционирование политической системы и даже ее преобразование. К сожалению, до последнего времени активность индивидуального политического субъекта в марксистской литературе явно недооценивалась. Между тем именно в решении этого вопроса часто кроется судьба демократии.

Но здесь возникает другая важная проблема: насколько само общество, его идейно-культурные и исторические традиции, социально-экономический и политический строй,

господствующие в нем правовые, нравственные и другие отношения испытывают объективную потребность в активизации социальной и политической деятельности каждого члена общества. Система властных отношений может и закрепить личность и раскрепостить ее. Если человеку не обеспечено свободное проявление своей сущности в любой форме деятельности, то наступает критическое состояние как у отдельного индивидуума, так и в обществе в целом. Отсутствие свободы в экономической сфере ведет в конечном счете к экономическому кризису, в сфере политики — политическому, в области культуры — к культурному.

Согласуется ли такая трактовка причинно-следственной связи между отсутствием свободы и экономическим кризисом с хорошо усвоенным марксистами тезисом о том, что в основе экономического кризиса лежит достигшее высшего накала противоречие между производительными силами и производственными отношениями? Согласуется. Этот тезис верен для всех общественно-экономических формаций. Кризис наступает именно по той причине, что свободное развитие производительных сил, в структуре которых главное место занимает человек, начинает сковываться, тормозиться наличными производственными отношениями, в которых важнейшую роль играют господствующие формы собственности. Следовательно, грубо говоря, в экономическом плане основной ареной разрешения кризиса является решение проблемы взаимоотношения между человеком и собственностью, точнее — человеком и свободным владением собственностью. В различных типических ситуациях эта проблема решается по-разному: одним способом для кризиса перепроизводства, другим — для кризиса недопроизводства. Но в обоих случаях задачи сходные — урегулирование отношений между человеком и собственностью.

Наличие собственности означает, как правило, наличие экономической власти. В системе властных отношений в обществе экономическая власть играет ничуть не меньшую, а иногда даже большую роль, чем власть политическая. Между двумя подсистемами власти — экономической и политической — постоянно имеются противоречия. Каждая стремится расширить сферу своего влияния за счет другой, в частности путем создания централизованных экономических институтов, не имеющих экономического результата, но повышающих влияние политической власти, которая, например, в условиях монополистиче-

ского капитализма выражается в систематическом нарушении и восстановлении баланса противодействующих сил — политики и экономики — в системе властных отношений. С одной стороны, имеется централизованная политическая власть государства, которая концентрирует и значительную экономическую власть, осуществляя политическое регулирование и управление экономикой. А с другой — децентрализованная власть монополий обретает растущую способность ограничивать социальные и экономические функции государства.

Парадокс состоит в том, что каждая из них не может полностью поглотить другую, ибо объективно нуждается в ее существовании. Речь может идти лишь о спорадических, хотя и происходящих систематически, прорывах в другую сферу при общем сохранении некоторого баланса сил. Политическая подсистема властных отношений не может обеспечить своей стабильности, не опираясь на более или менее прочный экономический фундамент<sup>7</sup>. Поэтому она жизненно заинтересована в его укреплении. Экономическая же подсистема властных отношений, обусловленная наличными формами собственности, не может развиваться без определенной независимости от политики, т. е. соответствия именно объективным экономическим закономерностям. Правда, это положение верно, если экономическое развитие опять же рассматривать в «чистом виде».

С возникновением таких политических институтов, как государство (государственная власть), которая берет на себя регулирование основных для общества функций (в том числе экономических) как внутри страны, так и на внешней арене, политика, при всей своей зависимости от экономики, способна оказывать на последнюю сильнейшее воздействие. Энгельс отмечал: «Это есть взаимодействие двух неодинаковых сил: с одной стороны, экономического движения, а с другой — новой политической силы, которая стремится к возможно большей самостоятельности и, раз уже она введена в действие, обладает также и собственным движением. Экономическое движение в общем и целом проложит себе путь, но оно будет испытывать на себе также и обратное действие политического движения, которое оно само создало и которое обладает относительной самостоятельностью»<sup>8</sup>.

Слова «экономическое движение в общем и целом проложит себе путь» не следует понимать в том смысле, что якобы имеется некое подобие автоматизма, абсолют-

ной независимости экономики от политики. В любом обществе действуют объективные экономические закономерности, игнорирование которых приводит не только к экономическому кризису, но и к кризису политическому<sup>9</sup>. В конечном счете именно разрешение экономических противоречий, которые общество объективно вынуждено делать, оказывается решающим для его дальнейшего развития. Вместе с тем возникновение системы государств, их международной зависимости и взаимозависимости придает некоторые новые акценты взаимоотношению между политикой и экономикой. Каждое государство, проводя рациональную внешнюю политику, старается подчинить ее задачам внутреннего экономического (промышленного и сельскохозяйственного) развития, созданию максимально возможных благоприятных условий для внутреннего социального прогресса. Подъем экономики способствует упрочению стабильности политической системы, что, в свою очередь, повышает международный авторитет страны, создает атмосферу доверия к ней. Но верно и то, что постоянно возрастает роль внутренних экономических факторов в формировании внешней политики государств.

Сложное взаимоотношение политики и экономики внутри стран и в мировом масштабе находит свое выражение, в частности, в том, что как в отдельных государствах, так и в сообществах государств систематически проводятся экономические и иные реформы. Их задача — нахождение наиболее рациональных отношений равнозависимости и в экономике («новый международный экономический порядок»), и в политике («новый международный политический порядок»), что в конечном счете должно привести к максимальной эффективности властных отношений. Реформы не следует рассматривать как нечто необычное, они — нормальный способ существования любого развивающегося общества (сообщества), приспособляющего свои структуры (социальную, экономическую, политическую, правовую, административную, воспитательно-образовательную и другие) к динамике происходящих в жизни объективных процессов.

Огромное влияние политики на экономику несомненно. «Обратное действие государственной власти на экономическое развитие, — пишет Энгельс, — может быть троякого рода. Она может действовать в том же направлении — тогда развитие идет быстрее; она может действовать против экономического развития — тогда в настоящее

время у каждого крупного народа она терпит крах через известный промежуток времени; или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать его в других направлениях. Этот случай сводится в конце концов к одному из предыдущих. Однако ясно, что во втором и третьем случаях политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред и может вызвать растрату сил и материала в массовом количестве»<sup>10</sup>.

Рассуждения Энгельса актуальны и сегодня. Самой трудной для решения проблемой является нахождение наиболее целесообразного, научно обоснованного, оптимального соотношения политики и экономики. Сложность в том, что это соответствие не может быть установлено раз и навсегда, оно систематически требует корректировок. В противном случае, по словам Энгельса, государственная власть по истечении некоторого времени «терпит крах», т. е. в стране создается предкризисная или кризисная ситуация как в экономике (промышленность, сельское хозяйство), так и в политике.

Разумеется, экономический кризис в обществе может наступить не только по политической причине, но и по чисто экономической, например, при обострении противоречий между производительными силами и производственными отношениями, возобладаании неконтролируемых сил рыночной стихии, появлении резкой диспропорции между спросом и предложением, инфляции и т. п. Если бы сами по себе экономические средства могли предотвратить кризис, то они, очевидно, не вызвали и не допустили бы его наступления. Здесь требуется внеэкономическая, а именно политическая сила в виде государственной власти, которая путем рационального вмешательства в экономическую жизнь содействует разрешению кризиса. В этом смысле верно утверждение, что политическая власть должна обеспечивать благосостояние общества, т. е. проведение действенной и сильной социальной политики.

Вмешательство государственной власти в экономику усиливается в периоды экстремальных ситуаций — война или интенсивная подготовка к ней, экономический кризис, стихийное бедствие и т. п. В этих случаях больше, чем в обычных, обнаруживается необходимость решения задачи, которая принимает форму парадоксальной неразрешимости. Как правило, государственная власть стимулирует развитие производительных сил (увеличение объема производства, числа рабочих мест, внедрение новых тех-



нологий), но оно упирается в существующие производственные отношения, которые также должны быть изменены. На эти изменения государство идет весьма неохотно, ибо они означают перераспределение властных отношений. Так, например, для выхода из экономического кризиса недопроизводства, когда спрос существенно превышает предложение, вмешательство государственной власти в экономику должно происходить как бы путем максимального невмешательства, чтобы высвободить и задействовать экономические резервы и дать полный простор развитию производительных сил. Но в этом случае в качестве главного условия успеха как раз и выступает необходимость в конечном счете перераспределения властных отношений, а именно расширения экономической власти и, соответственно, сужения властных прерогатив государства. Государственная власть, как отмечалось, оказывает сопротивление этому процессу, что, в свою очередь, отрицательно влияет на разрешение экономического кризиса. Здесь требуется политическая смелость, чтобы не усиливать, а ослаблять воздействие государственной власти, сохраняя за ней лишь ограниченное число основных регулятивных функций.

Таким образом, мудрость государственной власти состоит в способности учитывать конкретно сложившиеся условия, обеспечить оптимальное распределение сил в системе властных отношений, смело устранять возникающие тормозящие диспропорции, «жертвуя» в случае необходимости некоторой частью своих прерогатив. Этого не следует опасаться, ибо подъем и стабилизация экономики будут неизмеримо больше способствовать упрочению государственной власти, чем если бы она пыталась сделать это сама, скажем, путем принудительной трудовой повинности, репрессий, введением мер ужесточения и т. п. Правда, не исключен и обратный процесс воздействия экономики на политическую инфраструктуру, использования государственной власти в своих целях. Здесь также должен быть сохранен баланс взаимозависимости: «изгнание» государства из экономики («антиэтатизм») может быть не менее ущербным, чем тотальное подчинение экономики государственной власти.

Если в обществе наступает политический кризис, то он неизбежно вызывает кризис духовный — в области культуры, искусства, нравственности. В марксистской литературе политические кризисы рассматривались, как правило, в связи с революциями, как канун революции,

созревание революционной ситуации и т. д. Это верно: революция не может произойти без кризиса, ибо всякая революция есть разрешение кризиса.

Однако не всякий политический кризис и далеко не всегда ведет к революции (кризисных ситуаций в истории бывало значительно больше, чем революций), и революции не всегда победоносны, они могут быть подавлены и победить может контрреволюция. Кроме того, как свидетельствует история, политические кризисы часто довольно длительны, положение обостряется или ослабевает, но продолжает оставаться кризисным. И это прежде всего кризис политических властных отношений. Он характеризуется тем, что в обществе нарушается политическая равновесность между классами, социальными группами, слоями; разрушается и взаимозависимость «по вертикали»: возникает ситуация неконтролируемости «верхов» со стороны «низов» и «низов» со стороны «верхов»; наблюдаются сбои в функционировании политической системы: для нормализации положения уже недостаточны политические средства, а для разрешения возникающих конфликтных ситуаций вынужденно применяется сила («голая власть». — *Б. Рассел*) — как правило, неизменный индикатор политического бессилия; происходит массовая девальвация политических идеалов, появляются лишённые научно обоснованной перспективы социальные и политические движения, в основном радикалистские, у которых пафос протеста против всего существующего значительно перевешивает положительную конструктивность мысли и действия, идет массовое брожение умов, идейный разброд; социальная уверенность постепенно уступает место неверию в объективную ценность политической теории и жизнеспособность политического строя.

Вопреки имевшимся до недавнего времени мнениям о бескризисном развитии социализма объективный взгляд на реальное положение дел показывает, что политический кризис может наступить в любом обществе — капиталистическом или социалистическом, если в нем застывают или нарочито замораживаются существующие властные отношения, тормозится развитие и совершенствование демократических начал в многомерном функционировании социального организма, если государственная власть объективно или субъективно оказывает сопротивление непрерывному и всестороннему движению экономического процесса, если ущемляются свободы и права человека, игнорируется (не на словах, а на деле) научно-политиче-

ская мысль, не проявляется забота и не обеспечиваются условия для повышения уровня политического сознания и культуры, гражданской активности народа.

Преимущества социализма над капитализмом обосновывались тем аргументом, что социализм представляет собой социально-экономический и политический строй, который максимально децентрализует и обобществляет власть во всех сферах деятельности, открывая тем самым путь для максимального участия всего народа в делах общества, утверждения и развития в нем принципов демократии, подлинного народовластия. Это означало, что социализм в отличие от капитализма проблему властных отношений, рационального баланса многомерных взаимозависимостей может и должен решать на несравненно более широкой и, следовательно, более реальной основе, чем капитализм. Но в процессе строительства социализма именно эти кардинальные вопросы оказались менее всего решенными.

Основное предназначение предпринимаемых нашей партией как внутри страны, так и на международной арене шагов после апреля 1985 года и четко проявившихся на XIX Всесоюзной партийной конференции и последующих пленумах ЦК КПСС состоит не только в преодолении ошибок недавнего и давнего прошлого, но прежде всего в творческом поиске путей совершенствования демократии, т. е. по существу в радикальной перестройке внутриобщественных и межгосударственных властных отношений. Она должна способствовать, с одной стороны, усовершенствованию свободного, незакабаленного административно-бюрократическими связями жизнеустройства социалистической общественной организации, повышению эффективности способов его функционирования путем раскрытия творческих способностей индивида, удовлетворению материальных и духовных потребностей каждого члена общества, а с другой — установлению в мире равнозависимых и равнобезопасных отношений между государствами и системами государств, широкому развитию межчеловеческого общения («народной дипломатии»), глубокому осознанию народами и правительствами всех стран безусловной приоритетной значимости общечеловеческих интересов.

Сделаем небольшое отступление. В сложившейся сегодня международной системе государств идет многогранный процесс урегулирования межгосударственных властных отношений зависимости, независимости и взаимоза-

висимости. Происходят идеологические, политические, экономические, военные столкновения, возникают и разрешаются конфликтные ситуации, обостряются и ослабевают различные противоречия. Основным остается противоречие между капитализмом и социализмом, каждый из которых опирается на военно-политический блок государств, входящих в капиталистическую или социалистическую систему. Наличие борьбы между капитализмом и социализмом, необходимость недопущения ядерного столкновения, признание в качестве главного инструмента — политического урегулирования отношений между странами вызвали к жизни такую форму межгосударственного взаимодействия, как компромисс — соглашение с взаимными уступками. Это важнейшее знамение времени. Можно без преувеличения сказать, что сегодня компромиссы — движущая сила не только в нормализации отношений, но и развития: все важнейшие соглашения, представляющие конструктивные прорывы в прогрессивном развитии международных отношений, выживании человечества, решении глобальных проблем — суть результаты компромиссов.

Однако компромиссы имеют свою меру. Нарушение меры, выход за ее пределы таит в себе опасность превращения процесса достижения соглашения в торговлю принципами, а самого соглашения в «пиррову победу» с далеко идущими непредвидимыми последствиями. «Прямая политика, — отмечал Ленин, — самая лучшая политика. Принципиальная политика — самая практичная политика. Только она может действительно и прочно привлечь ... симпатии и доверие массы»<sup>11</sup>.

В прошлом политиками и идеологами, представлявшими соответственно социализм и капитализм, было допущено немало односторонних абсолютизаций, когда, например, классовые интересы пролетариата без всяких оговорок трактовались как общечеловеческие и в то же время огульно отрицалось наличие общечеловеческого в буржуазной демократии. Даже мирное сосуществование государств с различным общественным строем, предполагающее широко разветвленную сеть сотрудничества в области науки, техники, культуры, развитие деловых, туристических, спортивных и иных связей и просто человеческих контактов, взаимопомощь в случае стихийных бедствий и другие виды взаимодействия и общения, такое мирное сосуществование определялось как форма классовой борьбы, словно при этом выпадало из памяти, что

сосуществование называлось мирным. Классовую борьбу искали повсюду и «находили» ее там, где не было ни классов, ни борьбы, а капитализму отказывалось в любой другой ближайшей перспективе, кроме движения к коммунистическому обществу. При этом глубоко засевшие в политическое сознание одноколейные стереотипы не позволяли свободно, широко и объективно прогнозировать будущее различных обществ и человечества в целом. Футурология как наука о будущем не находила ни признания, ни поддержки, так как движение истории считалось раз и навсегда predetermined.

Жестко детерминированное политическое сознание предопределяло и однозначное видение перспективы: будущее представлялось в виде упрощенной модели победы мировой революции. Соответственно ставились и задачи идеологической борьбы как непримиримой, не знающей компромиссов, как стереотипно ориентированной духовно-теоретической и практически-политической деятельности, при которой на первый план выдвигается тезис об исторической обреченности капитализма. При этом ему отказывалось в возможности какого-либо совершенствования на собственной основе.

Если бы капитализм «застрял» на том уровне, которого он достиг во второй половине XIX в. или даже в начале XX в., то такие предположения не были бы лишены теоретических оснований. Однако сегодня мы видим, что, во-первых, капитализм оказался способным к самоусовершенствованию, проявлению жизнеспособных функций самоорганизации и саморегулирования, что позволило в конечном счете преодолеть ряд циклических кризисов, наступление которых он так и не может предотвратить, а также привести в действие целый комплекс регулятивных мер по демократизации системы управления и форм собственности. Во-вторых, к концу XX в. настолько изменились условия сосуществования двух систем, что обозримое будущее все больше вырисовывается как общая политическая судьба выживания в ядерный век. Оно оказалось связанным с вновь возникшими проблемами, решение которых требует не просто сосуществования, но и сотрудничества. Это вовсе не означает, что якобы политика оказалась оттесненной на задний план. Напротив, сами глобальные проблемы приобрели первостепенное политическое значение.

Изменились и содержание и масштабы идеологического противоборства, оно уже не является всеохватывающим,

доминирующим и определяющим все иные формы межгосударственных отношений. Идеологическое противостояние вполне резонно ограничивается именно идеологической сферой, а сама эта сфера все чаще рассматривается как область диалогового общения, научных дискуссий, а не пропагандистско-психологической войны.

Со своей стороны буржуазные политики и идеологи начисто отрицали какие-либо положительные черты социализма, никогда не переставали называть его «большевистским экспериментом», отклонением от исторической нормы и вместе с тем выдавали свои действительно классовые интересы, буржуазный образ жизни, буржуазную демократию за общечеловеческие интересы, естественное состояние человеческого общества, достигнутый наконец идеал общечеловеческого. Но дело в том, что многие из них и сегодня не отказались и не собираются отказываться от своего видения, от своих классовых позиций, от своей антикоммунистической идеологии.

Наша перестройка вызвала широкий спектр оценок в разных слоях населения западных стран. Можно без преувеличения сказать, что народные массы, именно народные массы, а не только рабочий класс, широкие круги интеллигенции, деятели культуры, науки, бизнеса, различные массовые движения, простые люди без каких-либо ограничений приветствуют происходящие в Советском Союзе процессы, полагая, что их успешное продвижение даст возможность преодолеть чувство страха, наладить нормальные деловые, профессиональные и чисто человеческие контакты, рассчитанные на развитие сотрудничества и дружбы. Буржуазно-либеральные политические деятели приветствуют «либерализацию социализма», его превращение из носителя «военной угрозы» в партнера по деловому сотрудничеству в достижении общих целей. Но существуют и другие позиции, которые нельзя игнорировать.

В целом высоко оценивая перестройку в Советском Союзе, особенно поощряя ее самокритичный дух, ряд ответственных западных политиков не скрывает своих ожиданий, что демократизация приведет к буржуазной демократии, а в стране возобладают капиталистические порядки. Положительно реагируя на радикальную перестройку советского видения западного мира, они часто занимают лишь выжидательную позицию, не торопятся с перестройкой своего собственного политического сознания в восприятии и оценке Советского Союза, происхо-

дящих в нем социалистических преобразований. Если в двух словах обозначить их отношение к нашей перестройке, то ими скорее всего были бы «ожидание» и «надежда». Именно большие ожидания и лелеемые надежды на буржуазные перемены в нашем обществе чаще всего и оказывают воздействие на «сговорчивость», при этом достаточно ограниченную и частичную, идейных противников социализма. Вряд ли можно утверждать, что они отказываются от своих классовых интересов в пользу общечеловеческих. Эти два вида интересов для них полностью совпадают. Выражение недоверия социализму как исторически закономерному общественному и политическому строю, социалистической демократии, обвинения в экспансионистских намерениях — это тоже борьба, идеологическая, классовая. Помимо всего прочего, она помогает буржуазии спланироваться, отодвигать свои внутренние противоречия на задний план.

Таким образом, классовое и идеологическое противостояние капитализма и социализма — это существующая сегодня реальность. Она может нравиться или нет, но не признавать ее — значит закрывать глаза на факты и обрекать себя на благодушие перед неожиданными обстоятельствами, «случайностями», которые будут неизбежно возникать. Признавая безусловный приоритет общечеловеческих интересов и ценностей перед классовыми, не следует забывать, что, пока существуют капитализм и социализм, между ними будут сохраняться также классовые отношения. Чтобы их упразднить, одна из систем должна преобразоваться в другую. Как показывает опыт, в этом нет необходимости. Обе системы могут сосуществовать, а имеющиеся и возникающие между ними новые противоречия — разрешаться невоенными средствами.

Есть противоречия и между классовым и общечеловеческим. Их признание — это диалектический взгляд на живую диалектику реальности. Даже беглый сравнительный анализ раскрывает различие: общечеловеческое является предельно широким и всеохватывающим по своей социальной базе, по содержанию своих идеалов, ценностей, интересов, целей, а также отличается необозримой перспективой во времени; понятие классового несравненно уже по всем перечисленным выше параметрам, ограничено во времени и пространстве, хотя и включает в себя отдельные элементы общечеловеческого. Существующие между ними противоречия многоаспектны, их систематическое разрешение все больше утверждает общечеловече-



ское. Из такого понимания движения и исходит марксизм: через преодоление классовых противоречий, ликвидацию классов вообще — к достижению общечеловеческого идеала.

Сегодня возникает вопрос: возможно ли движение к общечеловеческому идеалу без предварительного преодоления классовых различий и ликвидации классов? Жизнь подтверждает, что это возможно и необходимо. Правда, пока существуют классы, их усилия объективно будут направлены на удовлетворение прежде всего своих классовых интересов, что неизбежно приходит в противоречие с интересами других классов, социальных слоев и общества в целом. Ни один класс, оставаясь классом, не способен во всей полноте выражать общечеловеческие интересы, он всегда отдает предпочтение сравнительно узким классовым интересам.

К любому социальному или политическому противоречию надо относиться не панически, а реалистически. Их постоянное возникновение и преодоление — это нормальное жизненное явление. Другое дело — способ разрешения. Можно сказать, что сегодня нет таких противоречий, которые невозможно было бы разрешить мирными средствами, и нет таких, которые можно было бы разрешить с применением военной силы. То же относится и к противоречиям между классовым и общечеловеческим. Их значения не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать. Абсолютизация ведет к догматической неподвижности мысли и заостренности действия, к апатии и фатализму, а игнорирование — к нивелировке важных различий, утопически-бесконфликтному восприятию действительности, сковывает теоретическую и практическую деятельность по рациональному разрешению реальных противоречий, парализует творческий поиск. Да и само понятие приоритетности общечеловеческого над классовым не только предполагает одновременное наличие и того и другого, но и верно расставляет акценты.

Если исходить не из лозунгов, а из фактов, не из желаемого, а из действительного, то надо признать, что борьба против социализма настолько глубоко внедрена в социальную, экономическую, государственную, идеологическую, моральную и культурную систему функционирования капитализма, что превратилась сегодня в форму его существования. Чтобы ее изменить, нужны колоссальные, причем радикальные и строго целенаправленные массовые и правительственные усилия по преодолению

пасаждавшегося десятилетиями антикоммунистического образа мысли и действия и по преобразованию буквально всех сфер жизни капиталистического общества: организационно-политической, социально-психологической, духовно-теоретической. Для этого понадобятся и время, и появление массового чувства необходимости соответствующих перемен, и политическая воля государственной власти, и новое массовое политическое сознание, и просто человеческая потребность. Одни только призывы к новому политическому мышлению без изменения существенных сторон политического бытия нельзя воспринимать как самодостаточные. Также очень важно изменение и совершенствование ныне существующего социализма, преодоление идеологической зашоренности сознания, нужны глубокие экономические и политические перемены, раскрытие демократических и нравственных возможностей, наиболее полное удовлетворение материальных и духовных потребностей каждого человека, свободного развития каждой личности.

Основой мирного сосуществования, кроме уже упомянутых форм сотрудничества и общения, конечно же, должно стать безусловное признание политического плюрализма в мире, плюрализма демократий, который требует взаимной терпимости, а также равнозависимых межгосударственных властных отношений, систематической их корректировки, недопущения резкого нарушения общего баланса и возникновения конфликтных ситуаций. Мирное сосуществование — это не идиллическое состояние отсутствия любого противоречия. Оно не может исключить их возникновения ни в сфере межгосударственных отношений, ни в самих государствах. Но в нынешних условиях коренным образом изменяется содержание формулы «кто—кого»: не кто кого из двух систем уничтожит и победит, а кто кого опередит в создании наиболее гуманной системы человеческого общежития. На смену враждебной конфронтации и соперничеству должны наконец прийти естественные формы состязательности и сотрудничества.

Механизм власти, выражаясь в определенном типе демократии, действует во всяком обществе, во всех его ячейках (семья, группа, школа, коллектив, ведомство, массовые организации и т. п.). Кроме существенно общих черт, этот механизм в различных обществах имеет специфические формы проявления. Более того, разные проявления механизма властных отношений главным образом и придают отличительные черты отдельным обществам, их

политической системе, социальным, экономическим и другим отношениям.

Изучение диалектики общего, особенного и единичного в действии системы властных отношений в различных государствах в настоящее время представляет собой одну из важных проблем философских исследований политики. Речь идет о раскрытии объективной взаимозависимости между базисными, субстанциональными основаниями властных отношений, т. е. самой сущностью демократического процесса в любом человеческом обществе, проявлениями этой сущности в различных сферах массовой или групповой деятельности и, наконец, реальным положением индивидуума, каждого члена общества, положением, где в концентрированном виде выражается справедливость и разумность базисных оснований. Когда мы рассматриваем социальное измерение человека, то безусловно верно определение его сущности как совокупности общественных отношений.

Но человек одновременно является и природным, биологическим существом. Ставшее уже традиционным деление сущности человека на социальную и биологическую, затем нахождение между ними противоречия и попытки рассмотрения двух аспектов в диалектическом единстве — все это приобретает смысл лишь в том случае, если в самой исходной точке содержится предположение, что отмеченное единство представляет собой новое качество, высший синтез, несводимый к составляющим его частям. К ним следует добавить и другие измерения человека — антропологическое, моральное, эстетическое, политическое, религиозное, идеологическое и другие. Только взятые в совокупности и в высшем своем качестве все эти черты и характеризуют того цельного и реального человека со своей психикой (душой), языком, интеллектом, культурой, нравственностью, художественно-эстетическим восприятием мира и т. п., понятие о котором вначале подверглось аналитическому делению. Таким образом, и это представляется особенно важным, у человека, если не понимать его только абстрактно, имеется и собственно *человеческое* измерение, которое делает его живым, деятельным индивидуумом. И в этом выражается его наиболее глубинная сущность.

Если определять сущность человека *лишь* как совокупность общественных отношений, то весьма трудно понять, почему бывают так схожи люди, живущие в разных, подчас противоположных социальных системах, и почему

существуют общечеловеческие идеалы и ценности, разделяемые всеми людьми на планете, и как может существовать единая наука психология, изучающая ощущения, восприятия, представления, образы и установки, чувства и эмоции человека независимо от того, совокупность каких общественных отношений его сущность выражает.

Именно человек, т. е. каждый отдельный индивидуум, предоставляемые ему условия для всестороннего саморазвития, совершенствования, свободы и счастья, является высшим критерием демократичности общественного строя, рациональности и справедливости существующих в нем властных отношений. Реализация трехчленного взаимодействия: базисные основания — общественная деятельность и ее институциональные формы — отдельная личность (индивидуум) — это сложный диалектический процесс, постоянно требующий поисков и принятия новых организационных и иных мер для нахождения оптимального взаимосоответствия, гармонизации интересов, ибо в каждом из трех указанных компонентов и их различных взаимодействиях непрестанно возникают противоречия. Способ их разрешения должен предусмотреть устранение появляющихся отношений зависимости<sup>12</sup>, их превращение во взаимозависимость, а в идеальном случае — равнозависимость.

<sup>1</sup> В современной западной политической литературе распространены, хотя и не общепризнанным, считается определение власти, данное Г. Моргентау: «Когда мы говорим о власти, мы имеем в виду осуществляемый человеком контроль над сознанием и действиями других людей» (*Morgenthau H. Politics Among Nations*. N. Y., 1967. P. 26).

<sup>2</sup> Цит. по кн.: США. Конституция и права граждан. М., 1987. С. 14.

<sup>3</sup> См.: *Burns J. M. The Power to Lead: The Crisis of the American Presidency*. N. Y., 1984. P. 103—107.

<sup>4</sup> Основной принцип идеального государства Платон видел в справедливости, основанной на разделении труда в управлении государством, когда каждый гражданин и «разряд» независимо исполняют особое дело, что ведет к осуществлению «идеи блага» — правящей миром высшей идеи.

<sup>5</sup> Выдающийся аргентинский мыслитель первой половины XIX в. Мариано Морено в 1810 г. отмечал: «Любой тиран может заставить своих рабов петь гимны во славу свободы» (цит. по кн.: *Burthright of Man: A selection of texts*. P., 1969. P. 365).

<sup>6</sup> В американской Декларации независимости, составленной Т. Джефферсоном в 1776 г., читаем: «Мы исходим из тех самоочевидных истин, что все люди наделены Создателем определенными неотъемлемыми Правами, что среди этих прав имеются Жизнь, Свобода и стремление к счастью». В Декларации прав человека и гражданина, принятой Национальным собранием Франции в

1789 г., подчеркивается: «Люди рождаются и остаются свободными в своих правах» (Ibid. P. 199, 201).

<sup>7</sup> Часть западных политологов, определяя политическую власть как совокупную мощь государства, указывает на ее три важнейших измерения: «контроль над ресурсами, контроль над действующими лицами и контроль над конечным продуктом» (Ray J. L. Global Politics. Boston etc., 1987. P. 164).

<sup>8</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 417.

<sup>9</sup> Не имеются в виду правительственные кризисы, разрешение которых редко сопровождается изменением политической системы.

<sup>10</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 417.

<sup>11</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 300.

<sup>12</sup> Ничто так не способствует расширению, углублению и обострению отношений зависимости, превращению их в бесконтрольно функционирующее хаотическое состояние, чем, например, дефицит в экономике или централизация власти в политике.

### ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И. И. КРАВЧЕНКО

Анализ различных форм власти, политической прежде всего, занимает видное место в современной отечественной и зарубежной философской и политико-правовой литературе. В работах советских исследователей проблемы власти рассматриваются главным образом при анализе истории и теории государства, права, политической системы социализма в целом<sup>1</sup>, а также в форме критики буржуазной политической науки<sup>2</sup>. В последние десятилетия резко возросло число публикаций, посвященных проблемам государственной власти в западной политической философии и политологии<sup>3</sup>. Одной из основных проблем в политической философии является проблема наиболее общих характеристик политики и власти, отношений между ними и между центральной институциональной властью и обществом. Работы политико-философской ориентации непосредственно примыкают к «академической» (назовем ее так) политической философии, стремящейся развивать политическую теорию в границах понятий философии истории, или строить ее как философскую систему знаний о политике, обществе и человеке.

Среди наиболее влиятельных представителей этого исследовательского направления Жюльен Фрэнд — полемолог и специалист в области социального конфликта, Никос Пулантзас — социальный философ, исследователь классовой структуры капиталистического общества, Лоран Коэн-Танюжи — юрист, представитель антиэтатистского направления в политической философии. Все они принадлежат к разным школам. Фрэнд разрабатывает предельно универсалистские концепции политической философии, близок к М. Веберу и К. Шмитту. Пулантзас, считавший себя марксистом, — философ иного исследовательского темперамента; его социально-философская кри-

тика определяется активной антикапиталистической позицией, хотя ему не чуждо стремление распространять свою критику на любые общественные системы, не исключая социализма. Коэн-Танюжи пытается разработать концепцию реконструкции отношений между обществом и государством на антиэтатистской неоконсервативной основе; однако он не лишен и леволиберальных иллюзий относительно эффективности демократического противостояния общества буржуазному государству.

Выделение нами темы и разделов настоящей главы обусловлено рядом причин: во-первых, сами проблемы — «сущность политического», «легальность и легитимация власти», «политическая самоорганизация общества» — являются, на наш взгляд, нервными узлами практически любой концепции, исследующей взаимоотношение общества и государства; во-вторых, эти проблемы сфокусировали в себе наиболее острые, требующие своего разрешения противоречия реальной политической жизни современного общества; в-третьих, что не менее важно, способы, основные мотивы и техника анализа, используемого в концепциях Фрэнда, Пулантзаса и Коэн-Танюжи, настолько отличаются друг от друга, что это позволяет увидеть за ними противоборство различных идейных и политических тенденций в рамках одного исследовательского направления; и, наконец, в-четвертых, именно исследование выделенных проблем позволяет нам составить определенное теоретико-практическое представление о современном этапе взаимоотношения гражданского общества и государства в капиталистической системе как целом, подвести концептуальные основания под возможные политические прогнозы.

## 1. Сущность политического

Исследование Ж. Фрэнда «Сущность власти» в некотором смысле подводит итог длительной эволюции западной политической философии, крупнейшие представители которой многократно пытались вывести политику из различных общественных оснований. В истории политической философии известна длительная эпоха контрактивизма (концепции общественного договора), для которого политика и власть были производными от права, а не первичными явлениями (особенно в сочетании с идеей естественного права, порождающего публичное право, от него же — государство). Правовых концепций власти и политики

придерживались Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо, Кант и многие другие. Известны попытки так или иначе связать политику с моралью (Гегель, Джентиле и др.). Весьма показательное объяснение политики М. Вебером, представляющее власть первичным явлением (за ним и следует Фрэнд), политику же — производным. «Политика означает для нас надежду участвовать во власти или влиять на ее распределение как между государствами, так и в рамках одного государства между группами людей... Государство, подобно политическим ассоциациям, которые ему исторически предшествовали, состоит из отношений господства одних людей над другими...»<sup>4</sup>.

Полагая отношения власти такими же автономными, как политические отношения, Фрэнд подчеркивает их соотнесенность и с конкретной политикой. Иными словами, сущностью власти является конкретная политическая деятельность. Универсальное же начало власти — отношение командования (распоряжения) и подчинения (исполнения) образует категорию всеобщности, которую в системе взглядов Фрэнда можно признать соразмерной любому конкретному уровню политики как специфической, имманентной общественной жизни, деятельности. Универсален и всеобщий организационный принцип власти: командование. Власть не существует без командования и повиновения. Фрэнд не склонен связывать власть с какими-либо иными общественными явлениями, даже с политикой. Не политика, а собственное, только внутренне присущее власти отношение — командование — определяет власть. Командованию власть обязана своим существованием. Ее присутствие в обществе априорно: «Власть — это социальное средоточие командования, опирающегося на один или несколько слоев или классов общества»<sup>5</sup>. Не «классы, слои» опираются на власть, а власть — на них.

Представления о всеобщности принципиальных начал политики и власти нуждаются в конкретизации, однако не следует умалять их значение: такие представления позволяют вести поиск в самых разных исследовательских направлениях, наполняя конкретным содержанием анализ власти (и политики) любого уровня общности (социального, исторического, культурного и т. д.) Универсалистская концепция имманентных обществу структур власти привлекает исследователей многих направлений<sup>6</sup>, идущих дальше общих указаний на абстрактное всеобщее начало этого феномена. Естественно стремление выявить более



осязаемую природу подобной всеобщности, смысл, способности и формы существования власти.

Интерпретируя мысль Аристотеля «Человек есть политическое существо, естественно предназначенное жить в обществе», Фрэнд выделяет в ней следующие положения: 1) человек — политическое существо по своей природе, иначе говоря, политика сущностна, а не конвенциональна; 2) человек без полиса — не человек, а либо нечто низшее, животное, либо высшее, бог; 3) политическое состояние органично человеку, поэтому, как настаивает Аристотель, между функцией царя, или магистрата, и функцией отца семейства и владельца рабов разница не в степени, а в специфике<sup>7</sup>. Действительно, Аристотель видел в «естественности» политики особо присущее ей свойство, которое заключается в том, чтобы не разделять, а объединять людей. Фрэнд стремится, как и другие политические философы, разработать именно эту идею; его анализ сводится к обнаружению трех фундаментальных оснований политического: всеобщих, конституирующих общественные отношения функций политики; существование политического в виде системы отношений «друзей» и «врагов»; а также наличие в обществе двух социальных сфер — приватной и публичной, — без которых сущность политического не может быть понята.

Не существует, как полагает Фрэнд, и не существовало аполитического или дополитического общества. Политическое начало органично и присуще всем видам деятельности. По этой причине невозможно как утверждать первичность или вторичность политического, так и выводить политическое из других социальных начал (экономических и пр.). Поскольку, однако, политическое начало косубстанционально обществу в качестве одной из его сущностей, политика как деятельность вторична по отношению к обществу, «общество задано политике»<sup>8</sup> и является материей, которой политическая деятельность придает форму. Политическое для Фрэнда — это средостение социального начала. Будучи одной из форм господства человека над человеком, политическое в обществе и в человеке равно самому себе во все времена. Его постоянной функцией является приведение в единство разделенного на группы, классы и прослойки современного общества. Само по себе общество не представляет собой единства; оно обладает единством только тогда, когда является политическим обществом. Это, однако, не означает, что политика и общество коэкстенсивны, и политическое на-

чало отнюдь не исчерпывает все социальное в обществе, все общественные отношения. «Строго говоря, — отмечает Фрэнд, — всякое социальное отношение допускает его политизацию, но не является тем не менее специфически политическим»<sup>9</sup>. Общество представляется непосредственно политическим потому, что политическое отношение по своей природе социально, но оно лишь одно из социальных отношений. Сама политика объединяет в обществе то, что она в нем разъединяет, начиная с отдельных обществ, в которых, как считает Фрэнд, она противопоставляет одни группы другим, чтобы соединять их в определенные социальные общности, и кончая миром в целом, разделенным на отдельные государства, которые также должны сосуществовать в некоем политическом историческом единстве<sup>10</sup>. «Иначе говоря, политика живет социальной гетерогенностью, даже если внутри государства она пытается создать некоторое единообразие»<sup>11</sup>.

Из этого принципиального положения следует несколько выводов. Политическое общество всегда замкнуто, очерчено границами и проявляется как основа партикуляризма. Но партикуляризм — жизненное условие всякого политического общества, свидетельство того, что оно не равно другим обществам. «Именно потому, что общество разобщено, и можно говорить, что политическое начало общества есть некая общность в двояком смысле слова: как одна из фундаментальных, постоянных и неискоренимых категорий природы человеческого существования и как некая идентичная самой себе реальность...»<sup>12</sup> Недоразумения, связанные с истолкованием этого феномена, объясняются смешением политического и политики как практической деятельности, ибо, к сожалению, как пишет Фрэнд, слишком часто авторы изучают в качестве предмета политической философии чисто конкретные исторические формы реализации политического начала. Между тем они принципиально различны. Политика — это причинно обусловленная, ситуативная, изменчивая по форме и ориентации деятельность на службе практической организации общества; она обусловлена также интеллектом, волей и свободой человека. Политика дает обществу его структуры, формы, создает конвенции, институты, законы и правила, изменяет ситуации и позволяет человеку адаптироваться к изменчивым во времени и в пространстве условиям. Политическое же начало открывается человеку объективно, оно не повинуетя его желаниям, им не может быть произвольно изменена его сущность. Это не значит, что

человек беспомощен перед обществом. Через свою конкретную политическую деятельность он формирует его и себя. Поэтому демиург политики все-таки человек, а не «сущностные силы», хотя они очерчивают границы его возможных маневров.

Тем не менее Фрэнд делает акцент не на общественной или личностной детерминации политики, а на политической детерминации общества и человека.

Универсальности организующего общественного начала политики соответствует в концепции Фрэнда политическая универсальность общества и индивида. Иными словами, Фрэнд имеет в виду круговую зависимость (или взаимозависимость) общества и политики. Но, чтобы решить вопрос о первичности одного из этих двух начал, а следовательно, об их относительной самостоятельности и возможности причинно-следственных отношений между ними, он и стремится обнаружить другие столь же абсолютные и автономные политические начала, автономные не только относительно других общественных начал (морали, права и т. п.), но и самого общества.

Универсальности организующего политического начала отвечает в концепции Фрэнда оппозиция друзей и врагов в обществе. Именно деление общества на друзей и врагов порождает необходимость политического регулирования общественных отношений. Объективность же отношений «друг—враг» служит аргументом объективности политического начала общества. Отношение «друг—враг» — это, по существу, переосмысление субъект-объектных отношений в политике, которое получает универсальное содержательное определение.

Фрэнд следует концепции К. Шмитта, разрабатывавшего в 30—50-е гг. нашего века теорию автономии политики на основе схемы отношений «друг—враг». Однако для Фрэнда проблема этих отношений — лишь один, хотя и существенный, аспект теории политики; он не принимает внешнеполитические импликации концепции Шмитта. Фрэнду важно прежде всего аргументировать функциональное назначение политики.

Различие друга и врага — чисто политического порядка, различие столь же исходное, как и сама политика, оно отличает политику от экономики, этики, права, для которых существуют другие, релевантные им категории общественных отношений. Отношения между другом и врагом разрешаются, по мысли Фрэнда, только внутри самого такого отношения, ибо оно автономно и невыводи-

мо из других общественных отношений. Враг, как его определяет Шмитт, это другой, чуждый, и для его сущностной характеристики «достаточно, чтобы он был экзистенциально в особо интенсивном смысле чем-то иным и чуждым настолько, что в крайнем случае отношения с ним перерождаются в конфликт»<sup>13</sup>.

Фрэнд заимствовал у Шмитта конфликтную трактовку субъект-объектных отношений в политике. Для Шмитта отношение «друг—враг» служит конститутивным признаком политических отношений, смыслом существования политики как автономной социальной сущности. Оппозиция друга и врага должна определять общественные отношения, не говоря уже о политических. Взаимодействие политики (политической власти) с другими общественными процессами и явлениями определяется такой оппозицией, а организация общества — регулированием отношений между друзьями и врагами. Конфликтные отношения по схеме «друг—враг» могут возникнуть во взаимосвязях другого порядка — экономических, идеологических, культурных и прочих. Тогда любая оппозиция по этой схеме становится политической.

Все иные различия, согласно логике подобного анализа, — экономические, этические, социальные, идеологические — превращаются в политические, как только на любой почве возникает противоположность «друг—враг». Так, в рамках концепции Шмитта—Фрэнда объясняется явление, которое мы теперь называем политизацией общественных отношений. Однако для Фрэнда (как и для Шмитта) это конфликтная по самой ее природе политизация. Политическая доминанта общественных отношений служит Фрэнду еще одним подтверждением примата политики в обществе. «Сказать о чем-то, что это политика, это значит сказать, что это „что-то“ — полемично, — пишет Фрэнд. — Такие понятия, как республика, класс, суверенность, абсолютизм, диктатура, нейтралитет и мир, непостижимы, если при этом не указаны их цели, против кого они направлены и кого они стремятся отвергнуть или опровергнуть. Словом, не борьба порождает политику, а политика, напротив, несет в себе конфликт, который может в предельном случае породить войну»<sup>14</sup>.

Идея политики как общественной сущности, несущей в себе конфликт и порождающей борьбу на какой-то политической или иной (экономической и т. п.) основе, на наш взгляд, совершенно правильна, поскольку политика действительно порождает или может порождать борь-

бу — иначе не было бы необходимости во внушении, подчинении, подавлении и т. п. Друг в этом случае тот, кто убежден или согласен без необходимости убеждения. Враг — тот, кто противится и должен быть принуждаем, подчинен. Все это закономерно вытекает из существа политических и всяких иных общественных отношений. Но уловка автономности и первичности политики, ее суверенности, независимости от общества, действия в интересах общества и ради общества — это фикция исходной позиции, фикция предзаданности политики обществу. Логика политического отношения и политического действия несомненно воздействует на противоборствующие стороны, определение ими своих ролей в политическом процессе. Но сама эта логика возникает из оппозиции сторон и предполитических факторов: интересов, целей, ресурсов, возможностей и т. п. Борьба возникает до политического действия как противоположность интересов, целей, методов, воли и идей.

Антиномичное, основанное на оппозициях (командование—подчинение, друг—враг) истолкование власти имеет для Фрэнда и Шмитта определенный онтологический смысл. Он позволяет, как они полагают, построить непротиворечивую и менее всего уязвимую философию независимых априорно данных сущностей — власти и политики.

Как для Шмитта, так и для Фрэнда «политика есть сущность или фундаментальная жизненная и постоянная категория существования человека в обществе в том смысле, что человек есть по своей природе общественное существо»<sup>15</sup>. Политика, следовательно, не производна от какого-либо более первичного, чем она сама, феномена; и все сущности (по Фрэнду их шесть: политика, наука, экономика, искусство, этика, религия) равно первичны и не объяснимы из других, должны изучаться сами по себе. Нет никакого, ни логического, ни хронологического доказательства первичности одной сущности по отношению к другой, никакой субординации; человек есть существо религиозное, экономическое и политическое в равной степени. Фрэнд, разумеется, не исключает взаимодействия этих автономных сущностей, он лишь исключает возможность их взаимного порождения.

Смысл политики поэтому можно постичь только в глобальном контексте человеческого существования. Политика ничем не выделяется среди других видов деятельности — экономической, художественной, нравственной и т. п.

Отсюда и характерное определение политики как деятельности, которая имеет целью подкреплять силой, основанной на праве, внешнюю безопасность и внутреннее согласие отдельной политической единицы с другой, гарантируя порядок в ходе борьбы, возникающей из различия, противостояния мнений и интересов.

Фрэнд одним из первых намечает идею диффузии политической власти, вводя различие между публичным и частным в политике. «Собственно политическое общественное отношение, — пишет он, — публично, и с этой точки зрения другие социальные отношения именуются приватными»<sup>16</sup>. Он придает понятию публичного более широкое значение, чем это обычно делают, и не отождествляет его полностью ни с обществом, ни с его институтами. Публичное для Фрэнда — не коллективное и не общественное, но то, что в обществе является организованным, структурным, безличным, представительным, так как способно представлять общественное, например, в форме государства, парламента и т. п. В то же время он придает этому понятию вполне определенный политический смысл. Публичной (сфера политической компетенции) именуется социальная деятельность, которая имеет охранительные функции по отношению к членам независимой общности, поскольку они ее образуют и разделяют одни ценности, идеи и цели, составляющие смысл существования этой общности. Приватным именуется общественное отношение, которое «касается индивида и межиндивидуальных отношений, либо взаимных, либо ассоциативных»<sup>17</sup>.

Политическое начало, как считает Фрэнд, распространяется и на приватную зону, но человек не пленник политики, ибо в этой зоне он свободен выбирать. Эту ситуацию Фрэнд иллюстрирует рядом примеров: существует законодательство, регулирующее вступление в брак, но человек волен решать, заводить ли ему семью; есть закон об ассоциациях, но каждый решает за себя, вступать ли в них, и т. д. Таким образом, приватное и публичное составляют «два аспекта существования человека»<sup>18</sup>. Они одновременны и нераздельны. Различие между ними неустранимо, но и не остается окончательным и неизменным.

Фрэнд разработал концепцию приватного, его границ, отношений с коммунитарными единицами (здесь он опирался на Ф. Тённиса), семьей, самим индивидом. Приватное — это персональное, личностное, непосредственно человеческое. Публичное — безличное, обобщенное, всеобщее.

Сфера частного находится под контролем сферы публичного. Общество создало ассоциации, но, как уже отмечалось, человек свободно может выбирать, вступать ли в них. Но если это ассоциация ветеранов войны, то не всем открыт в нее доступ. В сфере частного есть и свои ограничения. Хотя у всех в мире есть мать и отец, человек не может произвольно стать членом любой семьи. «Частность исключает, разделяет, разобщает. Она предстает как социальное отношение, одновременно и обуславливающее и дискриминирующее, и потому основана на личном интересе и обращена к специальной цели, даже в рамках одной ассоциации или автономной группы»<sup>19</sup>.

Концепция частного намечает проблему микропроцессов в сфере межличных отношений (или отношений в малых группах), в которых возникают отношения власти. Зона частного охватывает множество отношений и чувств — любовь, согласие, странности, раздоры, бесчисленные группировки — секты, банды, братства, ассоциации и т. п. Однако Фрэнк в значительной мере противоречит себе, выводя эту зону за пределы политики, поскольку она не имеет общих с ней функций.

## 2. Легальность и легитимация власти

В современной политической философии заметно стремление выявить на предельно абстрактном уровне отношения между регулятивными факторами политики, благодаря которым преодолеваются противоречия между силой и насилием, правом и законом (юридически оформленным правом, правом моральным и правом силы) и другими регулятивными механизмами общества (культурными, социально-психологическими и т. д.). Эта тенденция близка современной западной политической философии и общественной теории либерально-прогрессистской ориентации, концепциям идеологии консенсуса. Но она не нова: истоки ее прослеживаются в социально-политических и философских учениях прошлого. Их можно обнаружить в исканиях политической истины и гармонического правления, начиная с Платона вплоть до наших дней, в сущности, во всех установках на рационализацию политического управления (причем на любых основаниях — секулярных или религиозных).

Средства осуществления власти, способы ее проявления и формы существования взаимодействуют в контексте общих или смежных регулятивных систем социальной

организации. Поэтому они лишь условно поддаются схематическим членениям. Так, широко распространенное истолкование власти как проявления силы вынуждает ставить вопрос о природе самой силы — моральной, правовой, социальной, политико-репрессивной, экономической, идеологической и т. д. При этом, однако, возникает вопрос о соответствующей легитимации этой силы и т. д. Решение проблем взаимодействия регулятивных систем, по крайней мере в качестве первого шага, требует анализа основных смежных категорий политического опыта.

Аналогичным образом Фрэнд решает проблему силы и права. Концепция права, напоминает он, подразумевает ограничение — оно разрешает одно и запрещает другое. Существует различие между естественным правом, охватывающим всеобщие «категорические» императивы, универсальные нормы, и позитивным — совокупностью общих правил, действующих в данном политическом обществе и предписанных властью (гипотетический императив). Различие этих двух начал права — это различия моральной справедливости и норм законодательства.

Различие права и силы применимо к «естественному», но не к «позитивному» праву, т. е. не к морали, а к политике, ибо, как следует из мысли Фрэнда, моральное право на силу снимает их взаимную оппозицию. Однако такое решение проблемы непротиворечивого отношения морали и политики, силы и права — лишь теоретическая возможность. Фрэнд стремится реализовать такую возможность в исследовании политического закона.

Закон является соглашением (не в смысле взаимного договора или соглашения заинтересованных сторон) повиноваться, которое может быть достигнуто спонтанной приверженностью, харизмой, страхом или террором, этическим уважением и т. п. Как утверждает Фрэнд, закон устанавливает порядок, а не справедливость. Отсюда, считает он, проистекает неразрешимый конфликт между политикой и моралью.

В отличие от абстрактного универсализма Фрэнда анализ Н. Пулантзаса адресован непосредственно институтам капиталистического государства и особенно насильственным формам власти. «Любая форма государства, даже самая правовая, всегда строилась как юридическая организация, представлялась как правовая и функционировала в юридических формах...», — заявляет Пулантзас<sup>20</sup>. Для него нет поэтому самой проблемы идеальной этики поли-



тической власти. Непротиворечивая связь регулятивно-организационных систем общества (политической, экономической, культурной и т. п.) устанавливается, следовательно, не преодолением противоположностей и различий между ними, а прямым соответствием власти силе и закона насилию. «Закон... составляет интегральную часть репрессивного порядка и насилия, осуществляемого государством... Закон в этом смысле — кодекс организованного общественного насилия»<sup>21</sup>. Однако закон, как и норма, прежде всего регулирует отношения, устанавливает их порядок и пропорции, учреждает структуры, институты и другие регулятивные механизмы, «аппараты» общества.

Пулантзас во многом прав, когда стремится выяснить идеологический смысл предполагаемого перехода от закона-насилия к интериоризованной норме общественно желательного поведения дисциплинированного члена общества. Действительно, политическая философия либерального толка видела в правовом государстве и торжестве закона гарантию ограничения насилия. Эта установка политической философии дошла до нашего времени в многочисленных теориях прав человека, законности, политических и — шире — общественных процессов и отношений, их гуманизации и т. д. и т. п. Можно было бы указать на близость трактовок гуманизации и легального принуждения этической легитимации силы власти и закона как категорического нравственного императива. Однако Пулантзас, настроенный крайне оппозиционно к политико-юридическим институтам капиталистического общества, не считается с рядом важных обстоятельств.

С одной стороны, он не замечает исторической необходимости преобразования власти политикой в иные, более пригодные в условиях современного общества регулятивные средства, способные функционировать как желательные нормы жизнедеятельности, а с другой — настаивает на том, что ослабление физического насилия в капиталистическом обществе сопровождается усилением идеологического воздействия в форме интериоризованной «идеологической репрессии». Это воздействие может принимать различные формы: от пресловутой тяги масс к сильной власти, «любви к шефу» до поисков любого подчинения, никак не мотивированного политикой. Репрессия принимает форму запрета, и этот запрет может стать предметом почитания. В итоге пару «репрессия—идеология» вытесняют пары «закон—любовь», «запрет—желание», но во всех случаях речь идет об основаниях согласия, покорно-

сти подвластных «дисциплине нормализации». Монополизированное государством физическое насилие, продолжает Пулантзас, непрерывно контролирует технику власти и механизмы согласия, оно вписано в структуру дисциплинарных и идеологических «аппаратов» и кроит материал «социального тела», даже если это насилие невидимо и не осуществляется непосредственно.

Пулантзас дает свою интерпретацию аккумуляции политической силы в законе-насилии. Положив конец феодальным войнам и прекратив распри на своей территории, капиталистическое государство захватило «монополию на законное физическое насилие»<sup>22</sup>. Именно здесь со всей остротой возникает проблема легитимации власти и легальных форм ее существования в обществе.

Современный анализ этой проблемы достаточно полно представлен в работах Фрэнда. Именно он, опираясь на мысль Канта, отличает легальность от подлинного морального оправдания и дифференцирует эти процедуры, что нередко забывали делать многие политические философы. Термины легальность и легитимность лучше поясняются, если говорить о легитимности как специальном обосновании необходимости и законности данной власти и легальности как чисто юридическом обосновании власти. В этом смысле Фрэнд и толкует их: «Власть придает легитимность, правительство гарантирует легальность»<sup>23</sup>. Легитимность состоит, по его определению, в длительном и как бы единодушном согласии принять правление и власть данного класса, иерархии и т. п. Легитимность не навязывается, она возникает из однородности политических установок, нравов, традиций, экономической системы, общего духа данного типа общности. Следует, однако, отметить, что добровольно, а тем более осознанно и единодушно принятая власть (что предполагает ее адекватность условиям, о которых пишет Фрэнд) — лишь один из вариантов легитимации, и притом сравнительно редкий. Чаще всего легитимность власти оспаривается, и ее легитимация является предметом особых забот правящих сил, поиска специальных способов легитимировать власть, оправдать ее перед обществом или отдельным классом.

Легитимная власть как бы признается относительно лучшей, это признание способно ее смягчить, полагает Фрэнд, создать доверие между правительством и народом. Такая власть получает право прощать себе ошибки. Однако подчинение утрачивает характер уступки из страха перед грубыми насильственными средствами, к которым

прибегает непризнанная власть, наталкивающаяся на вражду, пусть даже потаенную.

Если легитимность — явление политическое, как верно отмечает Фрэнд, то легальность — юридическое, по крайней мере по процедуре: она устанавливается и гарантируется властью. Легальность не означает законность, как полагает Фрэнд, и не определение норм, соглашений и формальностей в интересах общества и даже не гарантию государственной монополии, а законное насилие. Это прежде всего санкция самой власти юридическими средствами, юридическое обоснование ее существования, а затем уже — ее методов, прерогатив и самих норм и законов. Для граждан легальность состоит в повиновении законам и их исполнении. Легальность, в отличие от легитимности (которая может быть, например, харизматической), рациональна. Эту рациональность или ее кажимость она сообщает и командованию и повиновению, которые сами по себе отнюдь не очевидно рациональны. Однако репрессивность закона (и власти) сама по себе имеет необходимый позитивный аспект. Закон материализует государственную идеологию. Он играет важную роль в организации согласия, легитимации, даже если она не совпадает с законностью (легальностью) власти. Дело в том, что деятельность, роль, место государства в политической жизни далеко выходят за рамки закона или юридической регламентации <sup>24</sup>. «...Всегда существует,— пишет Пулантзас, — набор практик и техник, ускользающих от юридической систематизации и порядка. Это не означает, что этот набор „аномичен“, произволен в полном смысле, но он подчинен относительно иной логике, чем логика юридического порядка, логике силовых отношений между борющимися классами, что отражено в законе отдаленно и по специфической мерке»<sup>25</sup>.

Поставив, таким образом, вопрос о законности власти (и, стало быть, самого закона), Пулантзас вольно или невольно обращается к проблеме легитимности и легальности. Иначе говоря, он так или иначе апеллирует к этическому аргументу: насколько этически оправданной выглядит власть. Историчность и относительность этого аргумента несомненны так же, как вся процедура легитимации, которая служит действенным средством взаимосвязи регулятивных механизмов общества.

Отношения между политическим и юридическим бытием власти, объективированным в законе, юридической мысли и процедурах, определяются в значительной мере

относительной самостоятельностью двух регулятивных сфер — властью и правом. Правовые отношения определяют не только отношения власти, но и становятся относительно независимыми от нее уже в силу самого процесса легализации-легитимации.

Санкционирование власти ею же созданным средством — законом (правовым регулятивом) — достигается самой властью на основании тем или иным путем полученного права регулировать общественные отношения посредством правовых процедур, что можно расценивать как форму косвенной легализации власти, а также ее легитимации, если созданный ею правопорядок признан оправданным и необходимым хотя бы частью общества, но социально значимой. Но более сильной формой легализации является законодательство, которое непосредственно легализует власть (акты о наследовании престола, об избрании парламента, президента, образовании правительства и т. п.). Таким образом, взаимодействие политического и правового регулятивных механизмов порождает их относительную самостоятельность. Возникает круговая зависимость легализации и легитимации власти и права, которая непременно должна включать их контроль друг над другом.

Проблема подобного контроля всегда была важной, сейчас она приобрела новый смысл. Он формируется в процессе общественного развития и состоит в повышении уровня организации усложняющегося общества, а следовательно, и в усложнении самой организации. Отсюда и усложнение отношений между политикой/властью (политическим регулятивным механизмом) и правом (правовыми регулятивами) и усложнение самих этих регулятивных сфер, их целей, функций и средств, их общественного окружения (другими организационно-регулятивными сферами).

Сложность их взаимодействия обнаруживается уже в исходных отношениях власти и закона. Право власти использовать закон как одно из своих средств фиксируется законом же в самом существовании закона; закон включает право, а правовая система — юридическую власть санкционировать существование и действия политической власти.

Власть-право и право-власть, объединенные этой круговой взаимозависимостью, представляют собой предмет философского анализа потому, что привлекают внимание ко многим смежным политико-правовым проблемам.

В эволюции отношения власть—закон<sup>26</sup> (истории становления правового общества) известна эпоха политического всевластия (феодализм, абсолютизм, самодержавие), слияния регулятивно-контрольных и организационных механизмов, когда власть и закон не дифференцировались, точнее, кодификация права была лишь частичной, а интерпретация, применение и исполнение закона принадлежали самой политической власти; не разделялись исполнительная и законодательная власти; часть регулятивно-контрольных функций осуществлялась без посредствующего участия юридически оформленного законодательства, на основе различных культурных традиций и просто произвольно. Борьба против этого архаического, наиболее простого способа взаимодействия регулятивов привела, как известно, к разделению властей, созданию только что кратко обрисованной системы отношений политика/власть—право, но она не гарантировала полной эффективности этой системы. Отсюда рецидивы самовластия, политического произвола<sup>27</sup>. Исследование отношения политика/власть—право показывает, что политическое бытие власти богаче, сложнее и многообразнее ее юридического бытия, и это обстоятельство, помимо других причин, обуславливает возможность и даже неизбежность их несовпадения.

Другой вопрос существования власти в социальном окружении политических и неполитических регулятивных механизмов — ее отношение с правовой сферой, в которой применяется объективированная в законе власть. Это также вопрос об отношении государства и общества.

Проблему власть—закон—законность вынуждены решать общества любого типа. Пулантзас подчеркивает это, излишне, может быть, обобщая подобную закономерность, поскольку имеет в виду прежде всего буржуазное государство. Государство, пишет он, часто действует, нарушая собственный закон, и не только параллельно ему, но и против него. Пулантзас активно выступил против одной из сторон этого отношения — «государства», говоря о классовой природе буржуазного общества, но его аргументация окрашена подчас бунтарским анархизмом. «Всякая юридическая система поощряет в самой своей редакции, составленной как переменная правил игры, которые она организует, неуважение государственной власти к собственному закону... — полагает он. — Всякое государство организовано в своей институциональной основе

так, чтобы оно функционировало (как и господствующие классы) одновременно и в соответствии с законом и против него... Незаконность и законность составляют части одной и той же институциональной структуры»<sup>28</sup>. Пулантзас видит в этом сочетании смысл марксистского объяснения государства как диктатуры класса, упрощая диалектику власти и закона, которую сам разрабатывал. За пределами его анализа остаются важные аспекты подлинно социального и классового политико-философского исследования. Никакое современное общество никогда не будет абсолютно гомогенным: останутся интересы большинства и меньшинства, а точнее, различных меньшинств, отражающих новаторские и антиноваторские, региональные, массовые и локальные и т. п. интересы, взгляды, инициативы и пр. Закон—норма—правило будет тогда лишь усреднением, приблизительно верным результатом примирения всех этих различий либо бесспорным отражением воли большинства. Возникает, таким образом, и вопрос об относительности политической (а также и любой другой) истины, отраженной в таком законе. Противоречивый характер закона будет нарастать в социально более сложном обществе, классовом и тем более антагонистическом.

Правовая регулятивная сфера связывает политическую сферу с другой частью ее регулятивного окружения, и прежде всего с идеологическими регулятивными механизмами. Закон — это аспект материализации господствующей идеологии и фундаментальная категория государственного суверенитета. Он выполняет и функции легитимации, заменяет отсутствующую или невыраженную идеологию, например религиозную, дает формулировки общих целей, исторических задач общества, обосновывает идеологию какого-либо развития, будущего и т. п. Он сам становится своеобразной идеологией, призванной формировать социальное единство под эгидой господствующего класса. «Царство капиталистического закона основано на отсутствии чего-либо значимого вокруг него», — провозглашает Пулантзас<sup>29</sup>.

Политическая власть непосредственно связана с идеологической регуляцией и организацией общества. Идеологическое бытие власти в политической истории всегда имело первостепенное значение, вплоть до официальной идеологизации власти, а также формирования идеологической власти — теократической, например. Всякая социальная, классовая характеристика политической власти означает

и ее идеологическую характеристику. Такого рода оценки — важнейший аспект политических, социологических и идеологических исследований. Политическая философия им не чужда, но она чаще всего концентрирует внимание на одной, хотя и важнейшей политической функции идеологии, которая и формирует идеологическое бытие власти: ее идеологической легитимации. Политическая власть обладает возможностью самооправдания. Эту возможность видят обычно в непосредственном воздействии власти на общество в целом, классы и прослойки, на отдельного человека; воздействие подкрепляется авторитетом самой власти. Однако такой прямой путь к самоутверждению власти так или иначе порождает идеологию, соответствующую природе и целям данной власти и ее политике. Этот наиболее простой способ самоутверждения остается основным для микропроцессуальной власти, к нему регулярно прибегает также и власть любого другого типа и уровня <sup>30</sup>. В конечном счете процедура подобной легитимации превращается в идеологический процесс, в столкновение взглядов, убеждений и предубеждений. Поэтому обоснование власти, ее утверждение в обществе превращается в особую процедуру законодательной легитимации. Однако и сам закон в свою очередь нуждается в легитимации. Поэтому если право связывает власть и идеологию, то идеология еще более освящает и власть и закон. Идеологическое оправдание — более сложное и тонкое, но по-своему высокоэффективное средство, обеспечивающее существование власти. Оно не легализует, но, минуя процедуру легализации (в отличие от закона), легитимирует власть, а также и закон.

Идеологема власти — одна из самых древних проблем политической философии, а в определенные периоды истории и одна из самых острых. Борьба за власть неизбежно вливается в борьбу идеологий. Сама власть, как это имеет место в ее отношениях с правом, может полностью сливаться с идеологией, которую она поддерживает и на которую она опирается <sup>31</sup>. Более того, закон и идеология могут быть одной из целей власти. Закон, правовое регулирование — несомненная цель власти, стремящейся использовать такое регулирование в своих и общественных целях. То же целевое отношение имеет место между властью и идеологией, но в еще более высокой степени. Идеология может быть одной из ведущих целей политики. Самый свежий пример — идеология мирового господства, внешняя политика, основанная на подавляю-

щей экономической и военной силе, власть правых политических сил, непосредственно представляющих интересы наиболее агрессивной части крупного капитала.

Особую рационализированную форму легитимации, а также взаимодействия регулятивно-организационных средств власти образуют отношения политики/власти и знания, в том числе научного. Научность политического знания — примета современности власти. Однако знание всегда состояло в арсенале власти, а могущество знания стало сегодня символом власти. В современной политической теории и в науковедении широко обсуждают процесс «онаучивания» политики в разных формах — от непосредственного слияния власти и знания в практической деятельности носителей власти (подобного слиянию власти и права, власти и силы, власти и идеологии и т. д.)<sup>32</sup> и до использования науки и научно-технических средств в политическом процессе.

### 3. Власть и проблемы самоорганизации

Отношением, которое может быть положено в основу типологии политической власти, служит отношение между субъектом власти разных уровней и обществом, в котором тоже выделяются разные уровни. Ряд важных элементов такой типологии намечен современной политической философией и общественной наукой. В научный обиход экономических, политических, многих естественных наук вошли понятия микро- и макропроцессов. Появился термин мезоуровня — среднего или промежуточного<sup>33</sup>. Представляется возможным выделить четыре уровня политической власти с присущими им масштабами, объемом прерогатив, средствами, характером и свойствами субъектов власти, ее объектами и отношениями между ними: макроуровень (центральные институты власти), мезоуровень (органы и аппараты власти, подчиненные политические институты), микроуровень (внесенные в общество, культуру малые группы, политические воздействия и отношения между ними, низший и всеохватывающий уровень взаимодействия власти и общества) и мегауровень (распространение центральной макровласти и микропроцессуальных отношений вовне, власть в международных организациях и отношениях).

Взаимодействие уровней и сам их характер требуют особого рассмотрения. Отметим здесь лишь то, что они расположены в политическом пространстве не изолиро-



ванно друг от друга или в какой-либо одной общей плоскости. Визуально схему их взаимосвязей можно представить как голограмму. Микропроцессуальный уровень, которому менее всего присущи собственные политические структуры и отношения, формирует культурный и интеллектуальный человеческий материал, из которого образуются высшие и средние уровни власти, составляет их социальную ткань. Это также уровень обратных связей, массовый общественный уровень исполнения политики. Поэтому он по-своему политичен и связан с политической властью. Подобная топология власти так же, как ее типология, — важная, но непоследовательно разработанная тема политической философии, хотя она не выходит из поля зрения социологии, политических наук и художественного творчества.

Ни центральная власть, ни органы промежуточной власти, которые непосредственно обращены к обществу, не образуют единственной сферы власти. Они организуют и регулируют не инертную, аморфную массу, а активную социальную среду, сложную систему со своими организационными и контрольными механизмами и отношениями власти. Так же, как и другие регулятивные сферы, эта система относительно автономна и одновременно связана с другими аналогичными регулятивными механизмами. Из этих связей политические отношения принципиально ничем, по-видимому, не выделяются. Отношения политической власти на микропроцессуальном уровне проникают во все общественные структуры, где они взаимодействуют с неполитическими видами власти — семейной, сословной, половозрастной, властью педагога и наставника, руководителя («лидера») в различных коллективах и т. д. вплоть до власти одного индивида над другими в межиндивидуальном общении. Если политический характер отношений власти утрачивается по мере ее диффузии в обществе, то в целом вся регулятивно-организационная система микропроцессуальной власти составляет не только культурную или какую-либо иную, но и активную политическую сферу, с которой соотносится центральная политическая власть.

Традиционное и широко распространенное представление об одностороннем, асимметричном характере отношений власти, при которых субъект (носитель) власти выступает как причина властных действий, дискредитировано объективным ходом политической жизни и ее анализом. Отношение власти «побуждение—действие» («управ-

ление—исполнение» или, в терминологии Фрэнда, «командование<sup>34</sup>—подчинение») является двусторонним по двум, по меньшей мере, основаниям: самостоятельности политического объекта и его способности к самоуправлению. Оба эти свойства проявляются не только в сопротивлении власти (давно известный феномен), но и в согласии с ней, и потому направляющее (командное) воздействие власти реализуется как ее взаимодействие с самоуправляющимся объектом (обществом, классом, группой, индивидом).

Самоорганизация управляемого политического объекта эволюционировала во времени и в разного рода последовательно сменявших друг друга исторических формах — от первобытной до крестьянской общины предкапиталистического типа, от общинной и цеховой демократии, производственных и профессиональных общностей различных типов, вплоть до современных профсоюзных, общественных, партийных и других организаций.

Марксизм открыл в самоорганизации общества особые формы — классовую борьбу как движущую силу общественного процесса, в народе он увидел творца истории, в движении масс — самостоятельную классовую силу. Высшей формой политической самоорганизации выступило революционное движение масс, достигшее масштабов мирового революционного процесса и создания собственных институциональных политических организаций.

Возникшие в буржуазном обществе новые формы демократии (при всех ее хорошо известных ограничениях) обрели современную форму в так называемой «демократии участия» — результат борьбы масс за участие в некоторых процессах управления. Завоеванием организованных масс явилось также демократическое право политического протеста, борьбы за гражданские права и экономические требования.

Таким образом, если политические и неполитические централизованные институты власти (макровласти) развивались и совершенствовались, усложнялись и переходили к более гибким, динамичным методам, то аналогичный процесс происходил и на другой, управляемой стороне «властного» отношения. Одновременно с развитием и усложнением всех аспектов жизни общества растет и взаимозависимость обеих сторон этого двустороннего отношения: субъекта и объекта власти. Отсюда, в частности, идеи социал-реформизма, консенсуса, общественного порядка в социологии и социальной философии, общего

блага в политике, политической экономии, идеологии и общественной теории в целом.

Современные кибернетические теории организации и управления показали значение обратных связей в отношениях между субъектом и объектом власти. Наконец, для новейших синергетических воззрений неупорядоченные спонтанные процессы предстали как самоуправляющиеся и саморегулирующиеся. Тем самым микропроцессуальная среда общества со свойственными ей отношениями власти получает объяснение как среда с процессами самоорганизации и саморегулирования.

Очерченная здесь столь бегло новая проблематика политической философии и теории обсуждается как дилеммы организации—самоорганизации, деятельности—самодетельности, рационального детерминизма—вероятностных, стохастических процессов, централизации—децентрализации, сочетания или противостояния государственных—общественных форм и центров власти, этатизации (огосударствления)—деэтантизации.

Сфера микропроцессуального самоуправления — это вся неформализованная жизнь общества, сфера повседневности, где формируются массовые социально-психологические, эмоциональные процессы, складываются те или иные состояния массового сознания. Что они политизированны или могут быть политизированы либо стихийно, либо под воздействием центрального правления, видимо, не может вызывать сомнений. Во время политических мобилизаций общества (в критические моменты его жизни) правящие власти обращаются именно к этой саморегулируемой среде. Самоуправление нередко рассматривается как действенное средство борьбы с этатизмом.

Этантистская модель, пишет Л. Коэн-Танюжи, «начинает проявлять признаки истощения перед лицом множества сочетающихся проблем: экономических и финансовых, технологических, идеологических»<sup>35</sup>. Эти противоречия направляют общество (Коэн-Танюжи имеет в виду «французское общество») к другой модели — саморегулирующегося общества. «В такой модели общество живет независимой от государства жизнью и располагает собственными инструментами регуляции»<sup>36</sup>. «...Саморегуляция, — полагает он, — несомненно отображает большую зрелость и большую самостоятельность гражданского общества, чем государственный способ регуляции, при котором общество живет под опекой, как бы инфантилизирующее»<sup>37</sup>.

Политическая философия отнюдь не чужда утопизму. Утопизм популистского, народнического толка дает себя знать и в апологии самоуправления. Верно оценив самоуправление как средство, Коэн-Танюжи отмечает его историзм. Вся история Франции, подчеркивает он, — это наследие абсолютизма и конфликтов старого режима; революционные теории закона и общей воли, наполеоновская кодификация — все это отнюдь не послужило возвышению права, как часто думают, а, напротив, способствовало подчинению юридизма политике, поглощению права политикой, его интеграции с государством. «Преобладающая во Франции со времен революции концепция права, — пишет Коэн-Танюжи, — превратила его в орудие государственной опеки над гражданским обществом. Право есть эманация государства, освященная суверенностью закона; правосудие, эта общественная служба, интегрировано государственным аппаратом»<sup>38</sup>.

Результатом этатизации права стала деюрисдикция общества, находящаяся в противоречии с теориями служения обществу, всеобщего интереса, идеологии диалога, солидарности и социальной справедливости.

Идея Фуко о юрисдикции, которая монопольно представляет власть как код, язык, инструмент политики, обращена, отмечает Коэн-Танюжи, к анализу монархического института власти как инстанции регуляции, арбитража, разграничения множества феодальных, аристократических проявлений власти и целостной юридической системы монархии. Объединение политической и юридической власти самодержавной и абсолютистской монархией не может рассматриваться нормой современной политики. Восстановление юридического начала на новой основе распределенной власти — путь к сохранению за правом его функции представлять власть, т. е. защищать гражданина и гражданское общество от противоправных и неконституционных действий властей.

В самом деле, диффузная власть, микровласть лишена своего юридического выражения, если не существует демократического механизма обращения этой власти к закону, юридической регуляции. Эта последняя, как полагает Коэн-Танюжи, служит установлению равновесия властей. Действительно, во взаимоотношениях макро- и микровласти (и соответствующих «политик») равновесие, т. е. эффективное и непротиворечивое взаимодействие, необходимы. Сама политика служит наиболее эффективным началом такой регуляции. Но политика государства,

макрополитика, расценивается (и вполне обоснованно — речь идет о политике буржуазного государства) как противоречащая власти «распределяемой» и также диффузной микрополитике и обществу с его историей борьбы за демократию и против засилья государства. Коэн-Танюжи обнаруживает в современном — американском — обществе самоуправление, сложившееся благодаря отделенной от государства правовой контрольной системе. Зablуждение (и притом с апологетической тенденцией) налицо, но сама по себе мысль Коэна-Танюжи затрагивает сразу ряд острых проблем политической власти: отношение власти и закона, их взаимная коррекция, которая производится в интересах общества и отдельного человека, и, следовательно, правовой механизм может оказаться инструментом саморегулирования общества.

Возрастающая сложность общества, продолжающееся развитие демократии, создание новых средств социальной организации, основанной на распределении власти и ее горизонтальной коммуникации, требуют новой, более развитой юридической системы.

Помимо политической власти, в такой системе развита и юридическая власть. Она состоит, помимо судебской власти, во влиянии права и юридической проблематики как способа социально-политической регуляции и во власти совокупности юристов в обществе и государстве. Такое определение сталкивает оба вида власти, и Коэн-Танюжи это признает. «Судейская власть состоит в конкуренции с исполнительной и законодательной, — пишет он, — которые связаны с политикой; юридические профессии могут принимать более или менее важное участие в разрешении конфликтов, волнующих общество, и в определении отношений между сторонами, право может быть более или менее эффективной нормой социальных и экономических регуляций, соревнующихся с деятельностью государства»<sup>39</sup>.

Движение к самоуправлению, как считает Коэн-Танюжи, объективно и аргументируется фактами. Повышение уровня образования и революция коммуникаций бесповоротно осуждают представительную демократию. «Непосредственно информированные, более способные судить о событиях, граждане не желают далее полностью и необратимо делегировать свою суверенность. Не будет ли когда-нибудь мандат представительства сменен мандатом отзыва в любой момент?»<sup>40</sup>. Матрица «новой» (американской!) цивилизации складывается, как считает Коэн-Та-

нюжи, из правовых правил и рынка: с одной стороны, плюралистического, атомизированного общества, которое саморегулируется посредством прав, реализуемых юридическим истеблишментом; с другой стороны, рыночной экономики, управляемой законом спроса и предложения (под надзором антитрестовского законодательства — Коэн-Танюжи все же отчасти вводит регулирование экономики со стороны государства). Но только отчасти. В целом он исключает из ведения государства экономику. Экономическое саморегулирование в сочетании с правовым обеспечивает новые отношения самоуправляемого общества с государством, из-под опеки которого оно выходит. Не государство в его концепции воздействует на самоуправление и контролирует его, а самоуправление должно стать регулятивным институтом, который контролировал бы государство.

Однако только правовые гарантии самоуправления, как его себе представляет Коэн-Танюжи, не могут обеспечить его противостояние государству (Коэн-Танюжи, естественно, мыслит их отношения только как противостояние). Поэтому он и связывает такое саморегулирование с экономическим саморегулированием. «В саморегулирующейся модели, — подчеркивает он, — главный инструмент регуляции общества, параллельно функции рынка в экономической области, это юридическая система, которая определяет соответствующие компетенции и отношения различных агентов, включая государство»<sup>41</sup>.

Так обнаруживается консервативный смысл демократической утопии самоуправления: неоконсервативная (с неолиберальным компонентом) борьба против государственного абсолютизма, аналог борьбы феодального самоуправления с королевским абсолютизмом. Когда-то архаическая синергетика раннего капитализма была своего рода феодальной свободой для торговых, промышленных и финансовых предпринимателей. Эта свобода (*laissez faire*) была естественным элементом рыночных отношений, принуждение скрыто действовало через товарно-денежные механизмы производства и обращения. «Но она же явилась и прямым продолжением его, — подчеркивает он. — Оно, напротив, интегрирует регламентацию, институты, статус и балансирование сил, категорий, которые отличаются от классического контрактуализма»<sup>42</sup>. Поэтому «в военной, политической, дипломатической областях сильное государство — лучший инструмент. В экономике и культуре, к которым теперь переместился решающий

акцент, никакое государство не сумеет заменить динамизма и жизнеспособности общества»<sup>43</sup>.

Коэн-Танюжи — выразитель весьма распространенных идей. В борьбу против буржуазного государства включились сейчас многие — и левые и правые<sup>44</sup>. Апология суверенной власти народа, общественного самоуправления, как известно, сама по себе не нова, как и защита свободы предпринимательства. Этот последний момент сразу меняет тенденцию такой борьбы, так как государство ограничивает (до какой-то степени) деятельность прежде всего крупного капитала. Именно в борьбе частного корпоративного капитала с буржуазной государственной властью находят выражение две противоборствующие тенденции современного государственно-монополистического капитализма. В объективном процессе обобществления, концентрации средств производства, экономической и политической власти настал период, когда государство как конкурент оказывается нежелательным крупному капиталу как феодальной вольнице. Других отношений, кроме абсолютистских регламентаций и насилий, общество не знало. Государственно-монополистический капитализм концентрирует власть и стремится регулировать экономические отношения в силу необходимости предотвратить их кризис.

Суть протеста против этатизма и есть борьба против этого нового абсолютизма, который, как пишет Коэн-Танюжи, сковал общество монополистами, которые могут сообщаться друг с другом только через государство, рынок остается под гнетом регламентированной или контролируемой экономики, которую характеризует центробежная (центростремительная) модель. Эти два движения олицетворяют ее, в отличие от многополюсной и договорной, т. е. более развитой модели.

Развитое самоуправление и сочетание централизованных и децентрализованных механизмов власти, несомненно, наиболее эффективная модель политического и социального, экономического и культурного развития и управления им. Коэн-Танюжи использует и этот аргумент. «Модель договорного общества, — пишет он, — противостоит вполне естественно, по самому смыслу слова, другой основной регулятивной модели — модели общественного договора, глобальному макроконтракту, объединяющему общество в совокупности, чтобы дать начало государству, статьи которого сводятся к полной и абсолютной передаче власти от общества — государству»<sup>45</sup>. Более того, он со-

знает, что сильная политическая государственная власть тоже служит гарантом самоуправления. Но договорное общество — не антитеза общественному договору и не исключает правящей власти, хотя и неэффективной с точки зрения того же капитала. Обвинения в неэффективности национализированных отраслей экономики западноевропейских стран и в «чрезмерном правлении», во вмешательстве в процесс капиталистической рационализации производства — это по существу реакция на неспособность государства справиться с кризисом развития, к которому общество привела капиталистическая экономика под эгидой того же государства. Государство обвиняется, как известно, в расточительной социальной политике, чрезмерных тратах на общественные нужды и во многих других просчетах и дефектах, но особенно в нерациональном ведении хозяйства, которое частный капитал рационализирует жесткими методами замены живого труда техникой, не считаясь с последствиями — безработицей, давлением на человека и на его права и т. д.

- <sup>1</sup> См.: *Байтин М. И.* Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979; *Бурлацкий Ф. М.* Ленин. Государство. Политика. М., 1970; *Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А.* Современный Левиафан. М., 1985; *Косицын А. И.* Социализм и государство. М., 1976; Марксистско-ленинская общая теория государства и права: Основные институты и понятия. М., 1970. Ч. 1; Советское государство в условиях развитого социалистического общества. М., 1978; *Керимов Д. А.* Философские проблемы государства и права. Л., 1970.
- <sup>2</sup> См.: Критика буржуазных политических и правовых концепций. М., 1985; Современная буржуазная политическая наука: Проблемы государства и демократии. М., 1982.
- <sup>3</sup> См.: *Birnbaum P.* Les sommets de l'Etat: Essai sur l'élite du pouvoir en France. P., 1977; *La classe dirigeante française: Dissociation, interpénétration, integration.* P., 1978; *Prévost J.-F.* Le peuple et son maître. P., 1983; *Flumiani C. M.* Power anatomy of the economic forces dominating the business and political world. Albuquerque, 1975. Vol. 1—2.
- <sup>4</sup> *Weber M.* La politica come professione // Il lavoro intellettuale come professione. Torino, 1980. P. 48 e sed.
- <sup>5</sup> *Freund J.* L'essence du politique. P., 1965. P. 247.
- <sup>6</sup> На исконную проблему власти указывает Н. И. Конрад. Он отмечает различие в понимании значительности этих начал и вообще их необходимости. «Началу „архэ“ (власти) как символа необходимости для существования человечества какого-то организованного порядка, регулируемого общеобязательными нормами, противопоставлялось начало „анархэ“ (безвластия) как символа общественного устройства, свободного от всякого принуждения. На рубеже нашей эры римлянин Овидий представлял себе такое общество, названное им „золотым веком“, как время, „когда люди без всяких судей сами, по собственной воле



соблюдают честность и справедливость“» (Конрад Н. И. О смысле истории // Восток и Запад. М., 1972. С. 470).

<sup>7</sup> Этика Никомаха IX, 9. 1169 б 16: Политика I. 1252 а 10 и 1253 а 3. См.: Freund J. Op. cit. P. 247.

<sup>8</sup> Freund J. Op. cit. P. 25. <sup>9</sup> Ibid. P. 36.

<sup>10</sup> Фрэнд очень связан схемой К. Шмитта, для которого политическое единство детерминировано наличием друзей и врагов, «реальностью врага» и функцией политики организовывать с ним политические отношения. В международных отношениях Шмитт исключает единство, пока существует государство: «Пока на Земле существует одно государство, всегда будут другие государства, и не будет одного всемирного „государства“ на всей поверхности Земли и охватывающего все человечество. Политический мир — это плюриверсум, а не универсум» (Schmitt C. Der Begriff des Politischen. Bonn, 1963. S. 54).

<sup>11</sup> Freund J. Op. cit. P. 37.

<sup>12</sup> Ibid. P. 44.

<sup>15</sup> Ibid. P. 42.

<sup>13</sup> Schmitt C. Op. cit. S. 27.

<sup>16</sup> Ibid. P. 292.

<sup>14</sup> Freund J. Op. cit. P. 446.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Lacroix J. Le public et le privé // Cah. Inst. sci. écon. appl. 1961. N 111. P. 13.

<sup>19</sup> Freund J. Op. cit. P. 312.

<sup>20</sup> Poulantzas N. L'Etat, le pouvoir, le socialisme. P., 1978. P. 83.

<sup>21</sup> Ibid. P. 84. <sup>22</sup> Ibid. P. 87.

<sup>23</sup> Freund J. p. cit. P. 259.

<sup>24</sup> См.: Poulantzas N. Op. cit. P. 92.

<sup>25</sup> Ibid. P. 92—93.

<sup>26</sup> Видимо, есть основание отличать эти отношения от отношения «власть—право» (право действий), поскольку признание властью своей правомочности может не быть юридически оформленным.

<sup>27</sup> Один из важных сюжетов политической философии — возможность захвата политической власти террористическими группами и создания деспотических режимов, подобных фашистскому или национал-социалистическому.

<sup>28</sup> Poulantzas N. Op. cit. P. 93.

<sup>29</sup> Ibid. P. 97.

<sup>30</sup> Подобная процедура самолегитимации не случайно служит темой постоянного обсуждения в практической политике и в политической теории, в культуре, в художественном творчестве.

<sup>31</sup> Теократия, санкционированная религией власть, власть религиозных партий — все это хорошо известные и поныне формы идеологического бытия власти.

<sup>32</sup> Poulantzas N. Pouvoir politique et classes sociales. P., 1971. Vol. 1—2.

<sup>33</sup> См.: Hage J. Theories of organization. N. Y., 1980.

<sup>34</sup> Стоит, видимо, отметить, что французский термин «pouvoir» означает также и управление людьми и вещами.

<sup>35</sup> Cohen-Tanugi L. Le choix sans l'Etat: Sur la démocratie en France et en Amérique. P., 1985. P. 5.

<sup>36</sup> Ibid. <sup>40</sup> Ibid. P. 84.

<sup>37</sup> Ibid. P. 6. <sup>41</sup> Ibid. P. 7.

<sup>38</sup> Ibid. P. 62. <sup>42</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid. P. 69. <sup>43</sup> Ibid. P. 6.

<sup>44</sup> См.: Cannac Y. Le juste pouvoir. P., 1983; Prévost J.-F. Op. cit.; Mentré P. Gulliver enchainé. P., 1983; Mine A. L'avenir en face. P., 1984.

<sup>45</sup> Cohen-Tanugi L. Op. cit. P. 10.

# ВЛАСТЬ: ОТНОШЕНИЕ ИЛИ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ?

(реляционистские и системные концепции власти  
в немарксистской политологии)

Е. В. ОСИПОВА

Трактовка власти как отношения между двумя партнерами широко распространена в западной политологии и философии политики. Она учитывает то бесспорное положение, что осуществление власти в любом обществе опирается на общепринятые или юридически закрепленные принципы и ценности, определяющие статус и социальную роль различных индивидов и их групп в системе общественных отношений, а также на организации и учреждения, обладающие необходимым авторитетом и материальными средствами для контроля за соблюдением социальных норм и принципов. Однако в западных концепциях это положение находит лишь частичное отражение. Фокусируя внимание на ролевых отношениях или реляционном аспекте власти, эти концепции акцентируют возможность волевого воздействия одних индивидов и групп на другие. Согласно этому подходу власть понимается как возможность или способность одних индивидов управлять процессом принятия решений на локальном или национальном уровне, несмотря на активное или пассивное сопротивление других индивидов или социальных групп данного общества. Но при этом важнейшая для понимания сущности власти проблема, а именно проблема ее оснований (экономических, социальных, политических и т. п.) понимается весьма узко и неполно.

Анализ властных отношений — важный аспект исследования феномена власти. Однако последний может быть рассмотрен не только как отношение между двумя партнерами, но и как элемент более сложной совокупности взаимодействующих факторов, образующих политическую систему. В данном случае раздвигаются рамки анализа, охватывающего ряд новых аспектов. Западные исследователи, рассматривая власть как компонент целостной политической системы, исходят из того постулата, что главная задача власти состоит в авторитарном распределении ценностей в обществе, идет ли речь о власти как атрибуте

макросоциальной системы, о власти на уровне конкретных социальных систем — семьи, производственной группы, организации — или же о властном взаимодействии индивидов в рамках специфической социальной системы.

Как показывает анализ современных политологических теорий, эти два подхода, раскрывающие разные аспекты содержания и характера власти, оказались в известной степени противопоставленными друг другу. Более того, каждый из этих подходов лег в основу построения особой концепции власти, претендующей на универсальный характер. В первом случае речь идет о реляционистских, во втором — о системных концепциях власти.

## 1. Реляционистские концепции власти

Реляционистская концепция понимает власть как межличностное отношение, позволяющее одному индивиду изменять поведение другого. Эта концепция, по сравнению с другими видами интеракции, в первую очередь обращает внимание на асимметричность властных отношений, рассматривая их как отношения субъекта и объекта власти. Фокусирование внимания на ролевых отношениях или реляционном аспекте власти — характерная черта веберианской традиции, предполагающей возможность волевого воздействия одних индивидов и групп на другие индивиды и группы.

В соответствии с данной концепцией формулируются определения власти. Согласно Р. Далю, власть — это такие «отношения между социальными единицами, когда поведение одной или более единиц (ответственные единицы) зависит при некоторых обстоятельствах от поведения других единиц (контролирующие единицы)»<sup>1</sup>. Дж. Френч и Б. Рейвен понимают власть как «потенциальную способность, которой располагает группа или индивид, чтобы с ее помощью влиять на другого»<sup>2</sup>. П. Блау сохраняет момент принудительности в понимании власти, характерный для М. Вебера, и определяет это понятие как «способность одного индивида или группы осуществлять свою волю над другими через страх, либо отказывая в обычных вознаграждениях, либо в форме наказания и несмотря на неизбежные сопротивления; при этом оба способа воздействия представляют собой негативные санкции»<sup>3</sup>.

Общий момент этих определений состоит в том, что властные отношения интерпретируются в них прежде всего

как отношения двух партнеров, воздействующих друг на друга в процессе интеракции.

В политологии, философии и социологии политики обычно просматриваются три основных варианта теорий реляционной интерпретации власти: теории «сопротивления», «обмена ресурсами» и «раздела зон влияния»<sup>4</sup>.

В теориях «сопротивления» (Д. Картрайт, Дж. Френч, Б. Рейвен и др.) исследуются такие властные отношения, в которых субъект власти подавляет сопротивление ее объекта. Соответственно разрабатываются классификации различных степеней и форм сопротивления.

В теориях «обмена ресурсами» (П. Блау, Д. Хиксон, К. Хайнингс и др.) на первый план выдвигаются ситуации, когда имеет место неравное распределение ресурсов между участниками социального отношения и вследствие этого возникает острая потребность в них со стороны тех, кто их лишен. В этом случае индивиды, располагающие «редкими ресурсами», могут трансформировать их излишки во власть, уступая часть ресурсов тем, кто их лишен, в обмен на желаемое поведение. Теории «раздела зон влияния» (Д. Ронг и др.) концентрируют внимание не столько на отдельных ситуациях взаимодействия индивидов, сколько на совокупности социальных интеракций. При этом подчеркивается момент изменяемости ролей участников интеракций. Если в одной ситуации властью обладает один индивид по отношению к другому, то с трансформацией сферы влияния позиции участников меняются.

В теориях «сопротивления» веберовская идея о том, что власть по своему существу является отношением, выражающимся в применении принуждения и насилия, продолжает оказывать определенное влияние, хотя «пересаживается» на иную теоретическую почву. Так, например, на основе теории «динамики поля» Курта Левина выдвигаются определения власти, предлагающие учитывать силу сопротивления подчиненного. Для определения этой последней в лабораторных экспериментах сравнивалось поведение индивида в условиях, когда его контролирует другой индивид (социальное поведение) с поведением в условиях отсутствия контроля (частное поведение). На основе этих исследований Дж. Френч и Б. Рейвен классифицировали отношения власти в соответствии с природой мотиваций, интенсивностью силы сопротивления и степенью контроля<sup>5</sup>.

Поставив задачу идентификации и систематизации главных типов власти, эти авторы определяют власть в терминах психологического изменения, которое понимается как изменение в поведении, мнениях, отношениях, целях, потребностях и ценностях индивида. Результирующая сила влияния состоит из силы изменения индивида в желаемом направлении и противостоящего сопротивления этому действию. Сила власти определяется как максимальная потенциальная способность одного агента повлиять на другого, т. е. как максимально возможное влияние.

Дж. Френч и Б. Рейвен трактуют основания власти значительно шире, чем Вебер, предлагая следующий их набор: вознаграждение или принуждение со стороны субъекта власти; признание объектом власти законного права ее субъекта предписывать ему определенное социальное поведение; идентификация объекта власти с ее субъектом; наконец, основанием власти может быть знание, которым обладает ее субъект<sup>6</sup>.

Власть, основанная на вознаграждении, возрастает с размером ожидаемого вознаграждения. Пример этого типа власти — прирост производительности труда вследствие ожидаемого вознаграждения, когда параллельно с ростом производительности возрастает конформность по отношению к вознаграждающему, следовательно, его власть. Власть как принуждение основана на ожидании наказания за неконформное поведение. Сила власти в этом случае зависит от угрозы наказания минус вероятность избежания наказания благодаря послушанию. Например, основой принудительной власти может явиться вероятность увольнения, если уровень производительности труда рабочего окажется ниже требуемого. Власть, основанная на позитивных санкциях (вознаграждении), имеет тенденцию возрастать и эволюционировать во власть, основанную на идентификации подчиненного с начальником, власть же, основанная на негативных санкциях (принуждение), ведет к тому, что подчиненный стремится уйти из поля влияния своего начальника.

Законный, или легитимизированный, тип власти основан на признании права одного индивида предписывать социальное поведение другим индивидам. Это признание основывается на традиции, интернализованных ценностях культуры, на принятии данной структуры социальных отношений, предполагающих границы, за которые не может выйти субъект власти. Чувство «долженствования» воспитывается родителями, учителями, религией, этиче-

ской системой, причем в разных культурно-этических системах могут быть приняты разные ценности. В некоторых из них, например, право предписывать поведение другим гарантируется старшим по возрасту. В других — представители одного пола имеют право предписывать поведение лицам другого пола. Основанием власти может быть и принятие правомочности социальной иерархии в группе, организации или обществе. Всеми признается, что, например, судья имеет право взимать штрафы, прораб — раздавать работу и т. д.

Власть как идентификация, или референтная власть, основана на чувстве единения одного индивида с другим, поэтому, чем сильнее идентификация объекта власти с ее субъектом, тем сильнее власть последнего. Как частные случаи референтной власти рассматриваются концепции «престижности» и «референтной группы», т. е. группы, к которой индивид мысленно себя причисляет, членом которой он мечтал бы стать и т. д.

Сила экспертной власти зависит от степени знаний, которые ценятся в данной области. Общий пример экспертного влияния, которое, как правило, имеет ограниченный объем, — принятие советов поверенного адвоката в юридических делах или следование в направлении, указанном дорожным знаком.

Приведенная Дж. Френчем и Б. Рейвеном классификация оснований власти как межличностного отношения позволяет рационализировать последние, способствуя тем самым прояснению этого сложного и недостаточно исследованного социально-психологического отношения. Однако предложенная авторами классификация строится, на наш взгляд, не по единому основанию. В первых двух случаях — это санкции (позитивные и негативные), очевидно имеющие внеиндивидуальное происхождение, хотя и применяемые индивидуально. Традиции и культурные ценности, регулирующие властные отношения, также имеют внеиндивидуальную социокультурную природу, тогда как знание в качестве источника власти является личным качеством самого субъекта власти. Власть как идентификация покоится на позитивной эмоциональной оценке субъекта власти ее объектом, т. е. также имеет личностный источник. Объединяя столь разные по своей природе основания власти, подобная концепция не проясняет ее природу. Роль различных оснований власти не дифференцирована и не взвешена, субординация критериев не произведена. Например, власть организационная и поли-

тическая, которую можно подвести под первый и второй случаи, где речь идет о применении санкций, ставится на один уровень с моральным авторитетом и психологическим влиянием (четвертый и пятый случаи).

Подобный недифференцированный подход весьма характерен для современного западного обществоведения с его тенденцией редуцирования социального к психологическому.

Отождествление власти с влиянием выделяет чисто поверхностные ее признаки. Влияние легко обнаруживается в любом акте межличностного взаимодействия, но это не означает, что в любом случае можно говорить о власти. Являясь категорией политических отношений, власть связана с отношениями более высокого и более существенного ранга — отношениями навязывания своей воли на базе обладания определенными средствами для этого. Влияние же покоится на моральных принципах, обусловленных авторитетом и связанным с ним уважением к субъекту влияния.

В рассмотренной концепции типы власти трактуются как социальное благо, обладание которым обеспечивает властвующему получение от подвластного определенных ценностей, будь то повышение производительности труда, уплата налогов, помощь, желаемое поведение и т. д. Подобные теории можно с основанием отнести к утилитаристским теориям социальных феноменов, основывающимся на том постулате, что человеческим поведением руководит поиск максимальной выгоды или максимального удовлетворения. Однако наряду с этим существуют теории, отрицающие утилитарный мотив власти.

Автор теории «редукции иерархических дистанций»<sup>7</sup> М. Мальдер главным психологическим механизмом власти считает не те блага, которые она предоставляет, а стремление к ней как таковой. Власть, согласно его воззрениям, это такой феномен, следствия которого варьируются в зависимости от степени, а не от природы власти. При равной степени власти следствия будут равными, сколь бы различными ни были основания власти. Поскольку власть приносит удовлетворение сама по себе, то индивиды страстно стремятся к высоким позициям в иерархии власти, встречая на своем пути сопротивление со стороны вышестоящих. При отсутствии эффективного продвижения нижестоящие удовлетворяются кажущимся сближением с вышестоящими, а иногда даже простым воображением, что дистанция, их разделяющая, меньше, чем она

есть в действительности. Эта возможность ложного удовлетворения (через психологический механизм замещения) создает у подчиненных позитивное отношение к вышестоящим. Оно тем больше, чем меньше дистанция, действительная или кажущаяся. Вышестоящие стремятся оттолкнуть нижестоящих проявлениями своей антипатии, которая тем сильнее, чем ближе приближаются к ним нижестоящие. Происходит конфликт, из которого следует, что на тенденцию к сближению воздействуют негативные моменты отталкивания в зависимости от иерархической дистанции. Чем больше дистанция — тем сильнее антипатия вышестоящих к нижестоящим. Поэтому индивид будет иметь больший шанс сблизиться с непосредственным и меньший — с отдаленным начальством. Точно так же индивид будет испытывать тем более сильные позитивные чувства к начальству, чем последнее ближе к нему.

Нельзя отрицать наличия психологических черт личности, обуславливающих «жажду власти». Но, во-первых, известно, что эти черты присущи далеко не всем. Во-вторых, необъяснимо с позиций одного только психологического подхода и сопротивление вышестоящих притязаниям новых претендентов на власть. Властью, особенно когда она наследуется или передается членам семейного клана, зачастую наделяются индивиды, не имеющие ни желания, ни способности к ее отправлению, и активная защита ими своих позиций имеет не личный, а сугубо социальный источник. Интересы семьи, рода, клана, наконец, класса обуславливают в этом случае стремление удерживать власть, а не удовольствие от обладания властью «самой по себе» или «как таковой». Властвующая элита получает власть и стремится ее удержать прежде всего и главным образом благодаря социальным, а не личным мотивам, которые тем сильнее, чем более влиятельны поддерживающие ее силы.

М. Малдер, как и другие его сторонники, не предполагал, что обладание необходимыми для управления личностными качествами, как и само стремление к власти, — лишь одно из условий возникновения института господства, притом не главное и не решающее. Индивиды вступают во властные отношения, уже будучи включенными в определенную систему общественных отношений, обладая преимуществами, обусловленными социально-экономическим положением, занимаемым ими в обществе. Главный фактор политического успеха и отбора «лучших» из числа претендентов на власть — сила тех классов, со-



циальных группировок или групп давления, которые стоят за ними.

Узость, «недостаточность» психологической трактовки власти признается и некоторыми западными учеными. Так, например, Ж. Пуату, приводя результаты социальных экспериментов, цель которых определить природу (утилитарную или неутилитарную) властных отношений между индивидами, пришел к парадоксальному, казалось бы, выводу, что результаты его собственных экспериментов «подтверждают» обе теории. Это свидетельствует, по его мнению, о том, что изучение власти выходит за рамки социальной, а тем более индивидуальной психологии и перерастает в социально-политическое исследование. Нельзя, делает он вывод, определять власть только как межличностное отношение. В полном смысле слова — это понятие политическое, обретающее свое значение в зависимости от различных социальных институтов. Более того, ему кажется плодотворным сближение понятия власти с употребляемым П. Альтюссером и Н. Пулантзасом понятием «идеологического аппарата государства»<sup>8</sup>.

Этот вывод вытекает из констатации того факта, что современная власть использует для своей самореализации не какой-либо один род средств, а весь арсенал политических, социальных и идеологических воздействий, не исключая, разумеется, средств психологического манипулирования массовым сознанием.

Если теории, ставящие в центр внимания исследователя «сопротивление», оказываемое субъекту власти со стороны ее объекта, можно отнести к психологическим по типу объяснения этого явления, то теории «обмена ресурсами» носят социологический характер. Внимание наиболее известного создателя этой концепции — П. Блау — концентрируется на ситуациях, когда взаимность влияния проявляется преимущественно через обмен ресурсами между индивидами или группами индивидов. Неравное распределение ресурсов приводит к тому, что те, кто их лишен и одновременно нуждается в них, находятся в худшей ситуации, чем те, кто ими обладает. Эти последние могут трансформировать свои излишки ресурсов во власть, уступая часть ресурсов тем, кто их лишен, в обмен на желаемое социальное поведение.

П. Блау разработал классификацию обменов в ситуации социального взаимодействия и выделил власть в рамках этой типологии как частный вид обмена. Он различает шесть категорий обмена, варьирующихся в соот-

ветствии с такими характеристиками, как инструментальность (неинструментальность) и симметрия (диссимметрия). Отношения власти определяются им как отношения обмена инструментального и диссимметричного типа. Согласно Блау, индивид имеет власть над другим, когда этот последний постоянно от него зависит в том смысле, что нуждается в определенных благах, которые не может получить в другом месте.

Подход Блау пользуется известным признанием среди западных социологов, подчеркивающих его положительные моменты, якобы состоящие в следующем. В основании власти, согласно Блау, лежит действительный факт неравного распределения ресурсов, что позволяет угрожать подчиненному или даже наказывать его, применяя негативные санкции. Ценным признается также выявление смысла обмена как обмена ресурсами различной природы. Если бы обмениваемые элементы принадлежали к одной категории, существовала бы симметрия обменов, однако именно потому, что ресурсы, о которых идет речь, разного порядка, обмен становится возможным и необходимым. Рациональным признается и положение о том, что власть является функцией зависимости индивида от распределения редких ресурсов, а также положение о зависимости власти от степени заменяемости редкого ресурса, иными словами, от возможности, имеющейся у субъекта власти, найти необходимые ему ресурсы в другом месте <sup>9</sup>.

Д. Хиксон и его последователи развили теорию «социального обмена» П. Блау, дополнив понятие «заменяемости» понятиями «центральности» и «обладания неопределенностью»<sup>10</sup>. Опираясь на работу П. Лоренса и Дж. Лоша <sup>11</sup>, а также на концепцию неопределенности как источника власти М. Крозье <sup>12</sup>, эти авторы утверждают, что подгруппа обладает властью в той мере, в какой она способна овладеть источником неопределенности по отношению к организации, где она выполняет центральную роль и где она трудно заменима. Например, как только все отделы какой-либо организации, находящиеся на разных уровнях, окажутся одновременно взаимно заменяемыми и центральными, распределение организационной власти будет основываться главным образом на способности подгруппы овладеть ситуацией неопределенности. Сторонники этой теории справедливо отмечают, что одного контроля над ресурсами внутри системы недостаточно для возникновения феномена власти. Ресур-

сы, которыми располагает индивид, должны быть желательными и необходимыми для другого, кроме того, возможность распределения ресурсов — только приблизительный показатель отношений власти в организации. Индивид может, располагая ресурсами, нужными для другого, вовсе не использовать их — ни в прямой форме, ни под угрозой. Встает вопрос о мотивах индивида, не желающего мобилизовать ресурсы, а также вопрос о восприятии акторами своих же собственных источников власти, как и тех, которыми пользуются другие.

Западные теоретики, помещая теорию «социального обмена» в акционистские рамки, отдают предпочтение изучению поведения участников социального взаимодействия в зависимости от распределения ресурсов, толкуемого, с нашей точки зрения, недостаточно корректно. Их внимание обычно привлекают три момента: существование ресурсов, их восприятие или осведомленность об их наличии и ожидаемых последствиях их использования, а также способ, с помощью которого происходит переход к эффективной мобилизации ресурсов.

Все эти три момента, хотя и изучаются в определенных заданных обстоятельствах, однако без учета основных тенденций общественного развития, динамики реальных социальных сил, основных закономерностей и особенностей определенного социально-экономического строя. Участники социального взаимодействия получают характеристики только в плане их отношения к распределяемым в данный момент, в данной ситуации ресурсам, без учета источника их получения, их реального веса и значения для общества, не говоря уже об учете исторических перспектив последнего, его социально-политических целей. В силу этого обмен ресурсами предстает как формальная, совершающаяся в социально-политическом вакууме процедура, лишенная конкретно-исторического содержания.

Перечисление и классификация ресурсов — задача, которую ставят перед собой многие исследователи феномена власти, притом не только сторонники реляционных, но и системных теорий. Наиболее характерным определением ресурса является следующее: «Ресурс — это атрибут, обстоятельство или благо, обладание которым увеличивает способность влияния его обладателя на других индивидов или группы»<sup>13</sup>.

М. Роджерс, которому принадлежит данное определение, различает два типа ресурсов, а именно, «инфра-

ресурсы» и «инструментальные ресурсы». Первые — это атрибуты, обстоятельства или блага, которые должны быть в наличии до того, как «инструментальные ресурсы» будут приведены в действие: это как бы предварительные условия, без которых «инструментальные» ресурсы остаются незадействованными; «инструментальные» же ресурсы истолковываются как средства осуществления влияния: они могут использоваться для поощрения, наказания или убеждения. Таким образом, понятие «инфра-ресурсов» вводится для того, чтобы понять, почему в различных ситуациях те индивиды, которые осуществляют власть, мобилизуют (или нет) свои «инструментальные ресурсы».

Существуют и другие попытки классификации ресурсов. Например, А. Этциони предлагает разделить ресурсы на три категории: утилитарные, принудительные и нормативные<sup>14</sup>. Цель его классификации — сопоставить отдельные типы ресурсов со специфическими способами господства.

Использование утилитарных ресурсов (материальных вознаграждений прежде всего) позволяет преодолеть сопротивление другого таким образом, что он соглашается подчиниться воле субъекта власти в обмен на ресурсы, которые ему необходимы. Следствием такой ситуации может быть, в частности, «инструментальная ориентация» рабочих по отношению к работе, т. е. такая ориентация, которая исключает отношение к труду как к творчеству и предполагает трактовку последнего исключительно как источника существования.

К принудительным ресурсам субъект власти прибегает тогда, когда старается изыскать дополнительные принуждения, чтобы еще более ограничить свободу другого. Например, в тех случаях, когда угроза увольнения заставляет подчиненных против их воли все же подчиниться требованиям начальства.

Наконец, через посредство нормативных ресурсов субъект власти старается блокировать сопротивление другого. Он старается вызвать одобрение другого скорее путем изменения его норм и предпочтений, чем объективной ситуации. Нормативные ресурсы могут также воздействовать скрытым образом, заставляя подчиненных принимать «менеджеральные» требования в отношении своего собственного поведения и уменьшая таким образом число ситуаций, которые они могли бы расценить как противоречащие их интересам. Нормативные ресурсы могут

привести подчиненных в такое состояние, когда они больше не осознают своего зависимого положения и когда у них в то же время не оказывается обычных средств сопротивления<sup>15</sup>.

Две первые категории ресурсов позволяют противодействовать сопротивлению подчиненных, воздействуя главным образом на объективную ситуацию, в которой они находятся, тогда как третья категория влияет в основном на формирование восприятия подчиненными своего положения и восходит, таким образом, к субъективному фактору.

Теория «раздела зон влияния» была разработана Д. Ронгом. Обеспокоенный чрезмерным, по его мнению, акцентированием асимметричного характера властных отношений некоторыми социологами, которые рискуют тем самым приглушить реляционный аспект власти, он предложил при оценке природы существующих отношений власти принимать во внимание не каждое действие в отдельности, а рассматривать их в совокупности. «Можно увидеть, что акторы постоянно меняются в своих ролях обладателей и подчиненных власти, — пишет он, — если принять во внимание всю целостность их интеракций»<sup>16</sup>. Нельзя отрицать, пишет далее Ронг, что властные отношения как социальные отношения особого рода асимметричны в том смысле, что обладатель власти осуществляет больший контроль над поведением объекта власти, чем последний над ним. Однако взаимность влияния — как определяющий критерий самого социального отношения — никогда не должна полностью исчезнуть из сферы внимания исследователя, за исключением, может быть, форм физического насилия. В противоположность П. Блау, утверждавшему, что «взаимозависимость и взаимное влияние равных сил указывают на отсутствие власти»<sup>17</sup>, а также Х. Гертю и К. Миллсу, которые писали, что «когда все равны, то нет политики, так как политика требует подчиненных и начальника»<sup>18</sup>, Ронг акцентирует внимание на «корнях» власти — социальном взаимодействии как ее генетической форме. Не отрицая того, что асимметрия существует в каждом индивидуальном эпизоде действия, он подчеркивает тот факт, что взаимодействующие индивиды постоянно меняются ролями обладателя власти и ее объекта. Один контролирует другого в одних ситуациях и сферах поведения, другой — в других. Например, профсоюз контролирует найм рабочей силы, а наниматель диктует время и место работы. Если трактовать

властные отношения исключительно как иерархические и односторонние, подчеркивает Ронг, мы упускаем из виду целый класс отношений между людьми или группами, в которых контроль одного лица или группы над другими в одной сфере уравнивается контролем другого в иной сфере. Разделение сфер между сторонами часто является результатом переговорного процесса, который может повлечь за собой открытую борьбу за власть (например, забастовка против нанимателя, тяжба в коммерческой конкуренции, война между государствами и т. п.). Таким образом, интегральной власти, т. е. такой, в которой принятие решений и инициатива к действию централизованы и монополизированы только одной стороной, противопоставляется интеркурсивная власть, характеризующаяся балансом отношений власти и разделением сфер влияния между сторонами. Интеркурсивная власть существует там, где власти одной из сторон взаимоотношения противостоит власть другой, где налицо процедуры переговоров и совместного принятия решений.

В современных государствах, согласно Ронгу, интегральная власть может быть ограничена разными мерами, например, периодической проверкой действий субъектов власти, периодической переаттестацией их властвующего статуса или их перемещением и заменой, установлением пределов сфер, которые они могут контролировать, и ряда вопросов, которые они могут решать внутри каждой из сфер. Сюда относятся также права отзыва, подачи петиций и жалоб.

Если подобные меры действительно реально применяются, а не являются обычными выхлопными клапанами, подобно конституциям во многих современных государствах, то должны возникать источники власти, независимой от интегральной власти. Другими словами, в обществе должны существовать центры, реально противостоящие интегральной власти, ограничивающие ее. В результате, по мнению Ронга, абсолютного различия между интеркурсивной и интегральной властью не существует.

Ронг указывает на четыре главных способа сопротивления интегральной власти. Объекты власти: 1) могут бороться за установление противостоящей власти, чтобы трансформировать интегральную власть в систему интеркурсивной власти; 2) могут ограничить экстенсивность (число субъектов власти), всеобщность (число сфер влияния) и интенсивность (радиусы воздействия внутри отдельных сфер влияния) власти; 3) могут разрушить ин-

тегральную власть целиком, выйти из сферы ее действия; 4) могут попытаться заменить ее своей интегральной властью.

Если иметь в виду интегральную власть современных государств, то первые три альтернативы, согласно Ронгу, в общем соответствуют усилиям по учреждению демократического, конституционного правления или же ликвидации всякого правления, анархии. Четвертая альтернатива соответствует различным формам политического смещения, таким, как путчи, революции или законодательно урегулированная конкуренция и избирательное соперничество.

Механизмами учреждения противостоящей власти являются инициатива, референдум, привлечение к суду и т. п. Однако в современных государствах, констатирует Ронг, интегральная власть не может быть полностью трансформирована в интеркурсивную из-за существования юридических механизмов самосохранения интегральной власти. В противоположность Герту и Миллсу, как, впрочем, и многим другим политологам и социальным философам, Ронг указывает, что политика — это не только сфера борьбы за власть. Она включает как борьбу за власть, так и борьбу за ее ограничение, сопротивление ей, бегство от власти <sup>19</sup>.

Попытка Ронга выделить и систематизировать способы сопротивления интегральной власти безусловно заслуживает внимания, так же как и общедемократический пафос его рассуждений. Однако очевидно, что основа его рассуждений — констатация плюрализма властей в современном обществе — учитывает только одну из тенденций общественного развития, оставляя в стороне другую — тенденцию к поляризации и усилению государственной власти, характерную для целого ряда развитых капиталистических государств во главе с США.

Реляционный подход, таким образом, охватывает широкий круг теорий от психологических (теории сопротивления) до социологических (теории обмена) и политических (раздела сфер влияния). Но все эти теории имеют некоторые общие черты. Они принадлежат к теории социального действия, в основе которого рациональная мотивация: рационально действующие акторы, обладая специфическими преимуществами (ресурсами), будучи помещенными в организационную сеть принуждений и возможностей их избежать, стремятся по мере возможности достичь своих целей. Авторы этих концепций базируются

только на одном типе социального действия, заимствованного из классификации М. Вебера, а именно рационально-целевом, оставляя без внимания не менее продуктивные с точки зрения типологии власти — ценностно-рациональное, аффективное и традиционное действия.

По сравнению с системным подходом, толкующим власть как безличное свойство системы, у реляционных концепций имеются некоторые особенности, которые заслуживают внимания. Этот тот факт, что индивиды или группы располагают властью только по отношению к другим индивидам или группам, которые единственно и придают смысл власти и делают возможным ее существование в данном социальном отношении. По мнению некоторых исследователей, преимуществом или особенностью реляционных концепций является подчеркивание асимметричной природы власти. По мнению же других, — это недостаток, преодолеваемый, в частности, в концепциях «раздела зон влияния».

Тем не менее реляционным концепциям адресуются целый ряд замечаний. Главное из них состоит в том, что власть представлена здесь как свойство акторов в отношении, а не как свойство самого отношения<sup>20</sup>. Подобная критика распространяется равным образом и на М. Вебера<sup>21</sup>. Если власть составляет атрибут участника отношения, то она истолковывается как его личная способность, а не как феномен, возникающий на базе определенных социальных условий. Этот упрек относится к теориям сопротивления с их психологическим объяснительным принципом. Поэтому положительным моментом других реляционных концепций (теорий обмена, раздела зон влияния) можно считать перенос мотивации вовне индивида, указание на зависимость властных отношений от факта обладания ресурсами. Этим указанные теории выгодно отличаются от трактовки власти как спонтанного выражения личностных качеств индивида. Несомненно преимущество этих концепций по сравнению с субъективно-психологическими объяснениями, заключающееся в переносе акцента на социально-политические факторы власти, поиски ее оснований в особенностях социального положения субъекта власти, в закономерностях политической деятельности и т. п.

Однако приходится констатировать, что при всех попытках нащупать объективные основания власти реляционный подход не решил этой задачи. Концепция распределения и обмена ресурсами, претендующая на роль



теории, якобы учитывающей объективный фактор, не может выполнить данных ее авторами обещаний, поскольку в ней не уточнена сама природа ресурсов, обладание которыми может дать власть. Понятно, что столь различные блага (ресурсы), как, например, знания или собственность, не могут рассматриваться как основания, равным образом продуцирующие властные отношения. Неспособность выделить главную детерминанту власти привела к тому, что читатель получил не более чем обширный перечень способов воздействия одного индивида на другого, не считая ряда рекомендаций относительно выявления в рамках организационных отношений скрытых возможностей обеспечения гармонии классовых отношений, социального порядка и всеобщего согласия.

## 2. Системные концепции власти

Основным понятием системной концепции власти является понятие политической системы. Политическая система рассматривается сторонниками этой концепции как качественно отличная от других систем в обществе. То, что лежит за пределами политической системы, может быть определено как ее окружение. Признание наличия своего рода границ между политической системой и ее окружением Д. Истон называет «центральной идеей» системного подхода к политике и политической власти<sup>22</sup>.

Раз существует окружение, то можно говорить об обменах или переходах, имеющих место между системой и ее окружением. Главная задача политологии, утверждает Истон, состоит в конструировании детальной теории, которая попыталась бы идентифицировать эти обмены и объяснить пути, используя которые политическая система справляется с проблемами, для того чтобы обеспечить постоянство системы.

Единицей политической системы Истон считает взаимодействие. Он пишет: «В более широком контексте исследование политической жизни, отличное от экономического, религиозного или других аспектов жизни, может быть описано как совокупность социальных взаимодействий между индивидами и группами. Взаимодействие является основной единицей анализа. То, что прежде всего отличает политические взаимодействия от всех других родов социальных взаимодействий, — это то, что они ориентированы прежде всего на авторитарное распределение ценностей в обществе»<sup>23</sup>.

Итак, политическая система трактуется как совокупность взаимодействий, осуществляемых индивидами в пределах признанных ими ролей, взаимодействий, направленных на авторитарное распределение ценностей в обществе. Власть в данной трактовке системы выступает как ее безличное свойство, как ее атрибут.

В системной концепции можно выделить три подхода к пониманию власти. Первый истолковывает власть как свойство или атрибут макросоциальной системы; второй рассматривает власть на уровне конкретных систем — семьи, производственной группы, организации и т. п., а третий — как взаимодействие индивидов, действующих в рамках специфической социальной системы. Первый подход связан с именем Талкота Парсонса, а также Д. Истона; второй — с именем Мишеля Крозье; третий получил развитие в работах Т. Кларка, М. Роджерса и других социологов и социальных психологов.

Определяя политику как совокупность «способов организации соответствующих элементов тотальной системы в соответствии с одной из ее фундаментальных функций, а именно эффективного коллективного действия для достижения общих целей»<sup>24</sup>, Т. Парсонс называл власть «обобщенным посредником» в политической системе и сравнивал ее с деньгами, как «обобщенным посредником» экономического процесса<sup>25</sup>. «Мы можем определить власть, — писал он, — как реальную способность единицы системы аккумулировать свои „интересы“ (достичь целей, пресечь нежелательное вмешательство, внушить уважение, контролировать собственность и т. д.) в контексте системной интеграции и в этом смысле осуществлять влияние на различные процессы в системе»<sup>26</sup>.

Власть, согласно Парсонсу, может быть помещена в контекст любого вида отношений — экономических, политических, моральных и др.

Само определение власти Парсонсом позволяет ему сделать акцент на власти как «свойстве системы». Он рассматривает общие цели системы как данные априори, как исходную аксиому, основанную в свою очередь на другой аксиоме — всеобщем согласии.

Экономическая подсистема выполняет функцию адаптации к окружению, политическая — обеспечивает достижение общих целей, правовые нормы выполняют функцию интеграции, а культурная подсистема — функцию поддержания образцов и устранения напряжений.

На мысль Парсонса о том, что политическая подсистема связана прежде всего с достижением общих целей системы, ссылаясь Д. Истон. Сущность политики Истон усматривал, как уже отмечалось выше, в авторитарном распределении ценностей и принятии общеобязательных решений, осуществляемом властью. Политика в этом смысле — принятие и реализация властных решений, касающихся всего общества, решений, связанных с распределением редких ценностей. Политическая система не может не быть авторитарной, поскольку ее критерием является возможность применения негативных санкций (принуждения, насилия)<sup>27</sup>.

Власть осуществляет требования системы, опираясь на соответствующие институты «поддержания власти», которые призваны сглаживать противоречия между требованиями системы, обеспечивать функционирование обычаев и исполнение законов и т. п. Способность власти к авторитарному распределению ценностей и принятию общих решений является условием выживания системы, в противном случае система обречена на перманентный кризис и упадок как не выполняющая своих основных функций.

Акцентирование авторитарного характера санкций — характерная черта концепции Истона, отличающая ее от дальнейших «дисперсных» концепций власти, где она утрачивает принудительный характер и отождествляется с влиянием, авторитетом и т. п. Однако нельзя не заметить, что Истону не удалось разрешить трудности, стоящие перед системными теориями власти, и связанные с определением границ политической системы. Авторитарное распределение ценностей (благ) осуществляется также и в других подсистемах общества, таких, как церковь, предприятие, политические организации и т. п.

Среди попыток усовершенствовать теорию Истона можно назвать кибернетический вариант системной теории власти, разработанный К. Дейчем, который попытался «при помощи кибернетики придать новый смысл старым субстанциональным понятиям власти и государства»<sup>28</sup>. Согласно Дейчу, власть лишь одно из «платежных средств» в политике, применяемое там, где не срабатывает влияние, привычка или добровольное согласование действий. Решающей функцией власти является регулирование групповых конфликтов и осуществление коммуникации внутри системы<sup>29</sup>, в которых принуждение составляет лишь редкий случай. Среди множества средств

осуществления политики, т. е. принятия социальных решений, направленных на достижение определенных целей, находит себе место потенциальное принуждение, т. е. угроза применения негативных санкций. Цели политической системы определяются предельно общо, как обеспечение «выживания», идет ли речь о семье, общине, народе или государстве.

Опираясь на концепцию власти Дейча, западногерманский социолог Н. Луман отмечал, что властью над обществом обладает только политическая система как целое. Ее основу составляет монополия на законные решения, которая гарантируется средствами принуждения. Последние используются в тех ситуациях, когда отказываются другие средства управления и оказывается недостаточной способность системы к разрешению или приглушению конфликтов <sup>30</sup>.

В этой концепции на первый план выдвигается та черта власти, которая обеспечивает возможность социального общения. Власть истолковывается как символическое средство социальной коммуникации, дающее ее обладателю определенные преимущества перед партнерами, например, в выборе наиболее выгодного способа социального действия. Власть, которой обладает один из партнеров, ограничивает возможности другого партнера (или других партнеров) выбирать «поле игры», а в ситуации принуждения и насилия (пограничные ситуации) и совсем исключает выбор.

Роль власти в концепции Лумана сведена до роли одного из обычных средств социальной коммуникации наряду с языком, искусственным и естественным, деньгами и пр. Соответственно история развития человеческого общества рисуется им не как история развития отношений господства и подчинения разного рода, а как история развития межчеловеческих коммуникаций и общения, которые только косвенно приводят к формам господства. И как следствие этого — абсолютизирование одной черты власти и искажение ее сущности.

Второй подход в системной концепции власти (мезоподход) рассматривает власть как феномен, соотносительный с частными системами или подсистемами общества. Французский социолог М. Крозье, например, ограничивает власть рамками социальных институтов и организаций. Его концепция власти выступает как попытка преодолеть «статичность» марксистской трактовки власти, стремление найти некий «общий знаменатель» власти. Решение проб-

лемы, по его мнению, лежит в плоскости усиления динамического аспекта властных отношений. При этом Крозье соединяет в своей теории отдельные положения реляционных концепций с системными.

Углубляясь в «реляционный анализ» отношений власти, Крозье открывает в них элемент переговоров, который, по его мнению, совершенно трансформирует смысл этих отношений. «Власть *A* над *B* соответствует способности *A* добиться того, чтобы в его переговорах с *B* условия обмена были для *A* благоприятными»<sup>31</sup>, — заключает он.

Стремясь преодолеть узость психологической интеракционистской трактовки понятия власти и усилить социально-системный аспект ее анализа, Крозье подчеркивает связь отношений власти с организационными структурами, что позволяет, по его мнению, рассматривать власть не только как отношение, но и как «процесс, неразделимый с процессом организации»<sup>32</sup>. Власть возникает в процессе организации, а процесс организации предполагает возникновение отношений власти, пишет он. При этом формальные и неформальные цели и правила организации выступают по отношению к акторам в качестве «принуждений».

Однако эти цели и правила действуют на акторов не прямо. Чем больше один актер, пользуясь свободой своего поведения, может повлиять на ситуацию партнера, тем менее он сам становится уязвимым и тем более он имеет власти над партнером. Игра состоит в борьбе за то, чтобы оставить себе большую свободу, сделав свое поведение менее предвидимым для противника, чем поведение противника для себя. Роль организационных «принуждений» при этом заключается в косвенном ограничении свободы поведения «игроков»: в отделении секторов, где действие полностью предвидимо, от секторов, где доминирует «неопределенность»<sup>33</sup>.

Власть одного «игрока» в переговорах с другим, таким образом, оказывается зависимой от контроля, который индивид может осуществить над «источником неопределенности», воздействующим на поведение другого в рамках «правил игры», вменяемых организацией. Поскольку различные «неопределенности» имеют различное значение для функционирования организации, то в зависимости от иерархической важности конкретной неопределенности, которую контролирует конкретный актер, будет возрастать его власть.

Крозье полагает, что «открытая» им концепция власти должна совершить переворот в современном обществе. Но он мыслит этот переворот, по существу, как переворот в сознании. «Вся эволюция последних ста лет, — пишет он, — состояла в переходе от царства морали к царству переговоров», что в масштабе общества представляет собой «переход ко взрослому состоянию»<sup>34</sup>.

Развитием «новых переговорных отношений власти» являются, как считает Крозье, «трудовые ситуации» на предприятиях, в которых нельзя легко предвидеть поведение акторов, что благоприятствует формированию «областей неопределенности». В качестве примера таковых может служить область ремонта. Благодаря созданию и тщательному сохранению секретов своей специальности ремонтные рабочие становятся настоящими хозяевами положения в мастерской. Их особая стратегическая ситуация служит Крозье исходным пунктом для вычленения так называемых «отношений параллельной власти». Последние превращаются у него в одну из ключевых категорий при анализе «бюрократической», «заблокированной» структуры современного французского общества. Для трансформации современного капиталистического общества, считает он, достаточно «признать законность использования участниками своих козырей в коллективной игре». Тогда власть имущие превратятся из правителей во «вдохновителей и посредников»<sup>35</sup>.

Грядущие изменения французского общества, согласно Крозье, состоят в трансформации, преобразовании «природы игры» через развитие процессов «коллективного обучения», «открытие» индивидов друг перед другом.

Логика концепции подводит автора к выводу о вечности отношений социальной власти. «Власть нельзя ни ликвидировать, ни национализировать. Она, как головы гидры, появляется во все большем количестве и становится сильнее каждый раз, когда считают, что ее обезглавили»<sup>36</sup>.

Неустранимость отношений власти у Крозье непосредственно вытекает из абсолютизации «ситуаций неопределенности», которая скрывается в «самой необходимости действия». Никогда нельзя учесть всех конкретных деталей ситуации, рассуждает он, следовательно, всегда есть возможность для возникновения «неопределенностей», а с ними и властных отношений.

Ограничивая социальный процесс рамками межличностного взаимодействия, Крозье оказывается не в состоя-

нии избежать замкнутого круга в интерпретации действий личности. Поведение индивида у него основывается на «рациональном расчете» последнего, в его стремлении завоевать социальное влияние или власть. Власть же выступает как некая субстанциальная сущность, имманентная человеческой природе, которая постоянно толкает индивида на социальное действие.

Сосредоточивая свое внимание на мотивах поступков индивида, Крозье сводит анализ человеческой личности и мотиваций ее деятельности только к одной функции — «рациональному расчету» в действиях. Подобная редукция обедняет понимание личности, ведет к идеалистической интерпретации путей выхода из современного кризиса власти.

В теории власти Крозье прослеживается, и это нельзя не признать, очевидная попытка связать понятие власти со структурой «внешней среды», выражающая стремление объективировать трактовку властных отношений. Интерес субъекта, понимаемый как «рациональный расчет», Крозье соотносит с «правилами игры», структурирующими «социальное поле действия», и в первую очередь с «зонами неопределенности».

Но все дело в том, что сама объективность «правил игры» иллюзорна. Совокупность институтов и норм в обществе вовсе не является результатом «переговоров» между рабочим и нанимателем, как это представляется Крозье и другим сторонникам «переговорных» теорий. Эти нормы и институты представляют собой правовое, законодательное закрепление экономических отношений капиталистического государства.

В капиталистическом обществе эти отношения формируются во всех своих проявлениях под определяющим влиянием антагонизма пролетариата и буржуазии. Поскольку «правила игры» фактически являются нормами капиталистического государства, закрепляющего и цементирующего волю экономически господствующего класса буржуазии, то «зона неопределенности» не может служить источником власти, как это считает Крозье. Она может только дать возможность для некоторых ухищрений рабочего в какой-то степени и на какое-то время ослабить степень контроля непосредственного исполнителя воли правящего класса — «мастера». К тому же такие изменения возможны в частных ситуациях и не могут носить перманентного характера. Главное заключается в том, что сути положения рабочего как зависимого от класса капиталис-

тов никакой «рациональный расчет» и никакое приобретенное таким путем «влияние» изменить совершенно не могут.

В итоге Крозье оказывается не в состоянии раскрыть социальную природу политической власти. Он постулирует, что социальное целое складывается в результате взаимодействия индивидов в их борьбе за частную «власть». Но ему не удается раскрыть механизма, показывающего, каким образом при господстве множества «частных волей» взаимодействие индивидов образует некоторую новую социальную целостность. Что вообще констатирует эту целостность в каждом конкретном случае? Что создает систему?

Французский социолог продолжает разработку триединой структуры социального действия, выдвинутой Парсонсом (актор—ситуация—отношение действующего лица к ситуации). При этом он стремится усилить акцент на значении «ситуации» в действии актора. Крозье выделяет «неопределенность» как ведущий, определяющий момент структуры ситуации и пытается социально объективировать «принуждения» ситуации по отношению к актору, которые принимают у него форму «правил игры».

Представители третьего подхода (микроподхода) к проблеме власти — М. Роджерс и Т. Кларк — сосредотачиваются на изучении акторов, действующих в специфической социальной системе<sup>37</sup>. В этом случае в качестве центральных моментов способности индивида влиять на других рассматриваются его роли и статус в системе. Например, власть определяется как «способность (или потенциал) индивидов, обладающих различными статусами, ставить условия, принимать решения и предпринимать действия, которые являются определяющими для существования других индивидов внутри данной социальной системы»<sup>38</sup>.

Попытки понять сущность власти в конкретном социальном контексте делают обязательным рассмотрение позиций индивида в данной специфической социальной системе. Сторонники этой ориентации в системной концепции власти полагают, что изменение социальных ролей, производных от социального статуса индивида, может значительно изменить количество его власти. Роджерс особенно подчеркивает этот момент, который, по его мнению, позволяет преодолеть статичный характер системных теорий власти и рассмотреть властные отношения в динамических терминах<sup>39</sup>.



Нельзя не отметить стремление некоторых западных ученых преодолеть такой существенный недостаток системной теории власти, как ее абстрактность, уточнить и конкретизировать саму претензию на социальность системного подхода. Этой цели служит введение в системную теорию категории ресурсов власти. Так, Роджерс, например, объявляя власть системным феноменом и одновременно способностью индивида или группы, считает необходимым включить в дефиницию власти ссылку на факторы, лежащие в основе этой способности. Таковыми, по его мнению, и являются различные ресурсы, среди которых такие атрибуты власти, как высокий социальный статус, физическая привлекательность, харизма, такие обстоятельства, обеспечивающие власть, как владение политическим учреждением, доступ к влиятельным лицам, гибкий рабочий график, членство в комитете, а также различного рода собственность — здоровье, земля, владение средствами массовой коммуникации и т. п.<sup>40</sup>

В настоящее время западными учеными ассимилированы многие марксистские положения относительно социальной природы власти, ее нерасторжимой связи с обладанием социальными преимуществами, определяемыми местом и ролью в общественной системе, обладанием собственностью, способом получения дохода, его размером и т. п. Отвергая классовый подход как таковой, этого типа исследователи усваивают и применяют его отдельные компоненты. Нельзя не признать важности многих отдельных положений западных ученых, обогащающих представления о социальных механизмах реализации власти и ее социальной природе. Например, нельзя не согласиться с тем, что при изучении власти важны два следующих момента: распределение ресурсов в социальной системе и совокупность ценностей, характеризующих систему. С первым моментом связаны уровень потребностей и способность населения воспринимать влияния. При уровне ресурсов ниже среднего индивиды более подвержены влиянию, в то время как отсутствие каких-либо ресурсов препятствует их участию в процессах обмена в системе. С другой стороны, те, кто обладает избытком ресурсов, обладает и большим влиянием. Это не означает, конечно, что знание о распределении ресурсов может дать представление о том, как, когда и в каком количестве используются ресурсы. Распределение ресурсов отражает лишь уровень подверженности влиянию различных частей системы.

Правомерна и мысль о необходимости различать вертикальный и горизонтальный разрезы структуры власти. Понятно, что на каждом определенном социальном уровне люди различаются по количеству специфических ресурсов. Вертикальные различия дают основание для рассуждений о возможности влияния между уровнями, горизонтальные — внутри данного уровня. Однако нельзя согласиться с положением, что «эффективное влияние более вероятно среди людей одного и того же уровня, чем среди людей различных уровней»<sup>41</sup>. В данном случае со всей очевидностью выступает неправомерность отождествления понятий влияние и власть. Если первое является свойством или результатом общения людей, находящихся на одном иерархическом уровне, то власть характеризуется как раз отношением между «верхами» и «низами» социальной пирамиды, т. е. отражает и выражает отношения господства и подчинения. В отмеченном отождествлении проявляется тенденция такого рассмотрения проблемы власти, которое ведет к утрате самого существенного ее свойства — возможности господствовать, ведет к подмене социальной (классовой) сущности феномена социально-психологическими качествами, проявляющимися в горизонтально-плоскостных отношениях между людьми одинакового социального положения.

Правомерна и мысль о том, что предметы приобретают статус ресурсов в соответствии с ценностями системы. Например, в одной социальной системе ценность спасения (благотворительность, забота о спасении души и т. п.) может оказываться намного выше, чем земные блага, в другой — наоборот. В различных системах различно значение таких атрибутов индивида, как здоровье, родословная, количество детей, религиозность и другие, для определения высоты его статуса.

Но, употребляя понятия власть и влияние как взаимозаменяемые, Роджерс, как и большинство западных политологов, связывает субординацию влияний не с классовой принадлежностью, а с теми или иными социальными ролями в системе, которые, дескать, и определяют позиции с большей или меньшей властью<sup>42</sup>.

Трактуя социальную систему в духе микросистемного анализа (имеются в виду такие системы, как семья, производственная группа и т. п.), он утверждает, что роли индивида определяют его власть. Поскольку различные институты в обществе имеют разный престиж, то высокое положение в престижном институте может давать возмож-

ность большего влияния. Обязанности, связанные с ролями, дают специальные права и привилегии, которые могут стать ресурсами. Наконец, так как взаимозависимость людей в социальной системе представляется в виде субординации, то имеются позиции с большей или меньшей властью. Таким образом, для изучения власти, доказывает Роджерс, необходимо изучение социальной системы, понимаемой как совокупность социальных ролей. Плодотворность системного анализа выявляется и путем изучения изменения власти индивида при его перемещении из одной социальной системы в другую — например, путем изучения его власти в семье и на работе. Поскольку власть зиждется на социальных ролях, знакомстве и других подобных феноменах, она меняется с перемещением за границу данной системы.

Наконец, и в этом состоит предмет особой заботы Роджерса, социальные системы важно рассматривать для того, чтобы понять, почему изменяются структуры власти. Структура власти — не статичный феномен, утверждает он, а скорее образец, который можно изучать как в данный момент, так и в течение определенного периода времени. Динамизм структур власти основывается главным образом на системных изменениях. Нормативные изменения, изменения в престиже институтов, появление «аутсайдеров», изменения в ценностях и т. п. могут изменить не только распределение ресурсов, но и саму природу того атрибута, который в данной системе рассматривается как ресурс. Так преодолевается, по мнению Роджерса, статичность традиционных подходов к власти, выявляется и фиксируется ее динамизм.

Таким образом, резонно настаивая на системообоснованности власти, показывая, что она не является принадлежностью индивида, а необходимо связана с социальной системой, является ее производной, Роджерс в то же время резко разграничивает микро- и макросистемы.

Более того, системные теории упускают из виду наиболее существенную для понимания политики и власти проблематику: насколько политическая система отвечает реальным общественным потребностям, насколько политические решения, принимаемые политической элитой, соответствуют существующим реалиям, способствуют решению насущных общественных проблем в интересах большинства населения, каковы общественные издержки принимаемых решений, приемлемы ли они для народа или нет, и т. п. Отсутствие этих принципиаль-

ных для оценки каждой политической системы проблемой обусловлено игнорированием ее классового характера. Как и в реляционных теориях, в системных теориях, по справедливому замечанию Дж. Теборна, «проблема класса и власти исчезает»<sup>43</sup>.

В трактовке власти как феномена, основанного на множественности ролевых отношений субъекта как участника различных малых социальных систем, несомненно содержится толика динамизма, заключающаяся в возможности рассматривать власть, аккумулируемую индивидом, с точки зрения ролевой структуры его личности как носителя многих социальных ролей, исследование каждой из которых открывает новые аспекты власти. Но истинный динамизм власти как социального феномена, изменение ее классовой сущности и формы можно понять, лишь рассматривая его параллельно с динамизмом самого общества, вытекающим из наличия общественных противоречий, обуславливающих изменения, которые претерпевают сами общественные структуры и формы. Ключ к этим важнейшим моментам жизни общества дает понимание исторических закономерностей, действующих в конкретном социальном контексте.

\* \* \*

Подведем некоторые итоги.

«Понятие власти, которое долгое время доминировало в англо-американской политической теории, слишком широко и туманно, чтобы служить в качестве строго определенного базового понятия. Оно упускает из виду множество средств и целей власти. Грубая сила или угроза ее применения, престиж, авторитет, убеждение, благосостояние, богатство, личное обаяние, красота, харизма, героическая смерть, успех в искусстве или спорте, кротость, альтруизм — все дает „власть“. Даже идеи часто наделяются властью. Более того, индивид может не знать, что он обладает властью и может не использовать ее в личных целях. Понятие власти, хотя и не пригодное для того, чтобы служить базовым понятием политической теории, незаменимо, если его использовать с осторожностью и должной квалификацией»<sup>44</sup>.

Противоречие, заключающееся в приведенном кажущемся парадоксальным высказывании, — очевидно. С одной стороны, фиксируются пустота и неопределенность понятия власти, с другой — утверждается его незаменимость при квалифицированном использовании. Но именно

указанная противоречивость характеризует действительное состояние исследований феномена власти в западной политической науке и философии. С одной стороны, теоретическое разнообразие различных трактовок и определений, с другой — фиксация реальных процессов и тенденций развития современного мира с точки зрения проблемы власти.

Одной из причин такой непоследовательности является отсутствие в западном обществоведении общесоциологической теории, на базе которой можно было бы объяснить феномен власти. Авторитет структурного функционализма — единственной теории, претендовавшей на роль противовеса историческому материализму как такого рода общей теории, — продержался сравнительно недолго.

В исследованиях власти, о которых речь шла выше, как правило, элиминируется классовая природа власти. Власть сводится к чисто техническому инструменту, применяемому независимо от общественных целей и принципов, воплощенных в том или ином общественном устройстве. Такая трактовка власти ведет к недопониманию присущего ей места в общественной жизни, а абсолютизация какой-либо черты или признака власти — к замене вопроса о социально-классовой сущности этого явления вопросом о наборе наиболее характерных черт, присущих власти. Это в равной степени относится к рассмотрению власти в организации (социальной власти) и в обществе (политической власти).

Обобщив многочисленные исследования власти, Р. Даль назвал те общие понятия, которые составили костяк концептуальной схемы исследований власти. Такими понятиями являются: основания власти, исследования которых дают возможность трактовать властные отношения как разновидность причинных отношений, объем или размер власти, интенсивность или сила власти и др. Эти понятия, по мнению Даля, могут быть измерены — выражены точным математическим языком <sup>45</sup>.

Проблема математического выражения различных параметров власти находится за пределами темы настоящей главы <sup>46</sup>. Заметим только, что М. Вебер именно в математическом измерении, вторгающемся в современные исследования общества, видел условие и возможность «расколдовывания» современного окутанного тайнами мира. Надежды, возлагаемые на математическое измерение в социологии, которая якобы может «расколдовать»

мир, сорвав покров с его «тайн», не осуществились ни в его время, ни позднее.

Можно согласиться с констатацией, что, «чем больше проводилось исследований, тем более ускользающим казалось понятие власти»<sup>47</sup>. Но если в теоретическом плане это утверждение вполне справедливо, то в политическом отношении важность, острота и актуальность проблемы власти ни у кого не вызывает сомнений. Проблема власти находится в центре самых жгучих проблем современности, определяя решение проблем мирового развития, сохранения мира, создания нового мирового порядка\*.

- <sup>1</sup> *Dahl R. A. Power // International encyclopedia of the social sciences. N. Y., 1968. Vol. 12. P. 407.*
- <sup>2</sup> *French J. R., Raven B. The bases of social power // Group dynamics: Research and theory. L., 1960. P. 609.*
- <sup>3</sup> *Blau P. Exchange and power in social life. N. Y., 1964. P. 117.*
- <sup>4</sup> См., напр.: *Goetschy J. Les théories du pouvoir // Sociol. travail. 1981. N 4. P. 447—448.*
- <sup>5</sup> *French J. R., Raven B. The basis of social power // Studies in social power. Ann Arbor (Mich.), 1959. P. 155—156.*
- <sup>6</sup> *Ibid. P. 155.*
- <sup>7</sup> *Mulder M. Power and satisfaction in taskoriented groups // Acta psychol. 1959. Vol. 16. P. 192; Mulder M., Van Dijk R., Scutendijk S. et al. Non-instrumental linking tendencies toward powerful groupmembers // Ibid. 1964. Vol. 22. P. 370.*
- <sup>8</sup> *Poitou J. P. Le pouvoir et l'exercice du pouvoir // Introduction à la psychologie social. P., 1973. T. 2. P. 78.*
- <sup>9</sup> *Blau P. Op. cit. P. 97.*
- <sup>10</sup> *Hickson D. J., Hining C., Schneck R., Pennings N. A strategic contingency theory of intraorganizational power // Administrative Sci. Quart. 1971. Vol. 16. P. 219—222.*
- <sup>11</sup> См.: *Lawrence P., Lorsch J. Organization and environment. Cambridge, 1967.*
- <sup>12</sup> См.: *Crozier M. Le phénomène bureaucratique. P., 1964.*
- <sup>13</sup> *Rogers M. The bases of power // Amer. J. Sociol. 1976. Vol. 79, N 6. P. 1425.*
- <sup>14</sup> См.: *Etzioni A. A comparative analysis of complex organizations. N. Y., 1961.*
- <sup>15</sup> *Ibid.*
- <sup>16</sup> *Wrong D. H. Some problems in defining social power // Amer. J. Sociol. 1968. Vol. 73, N 6. P. 674.*
- <sup>17</sup> *Blau P. Op. cit. P. 118.*
- <sup>18</sup> *Gerth H., Mills C. W. Characters and social structure. N. Y., 1959. P. 193.*
- <sup>19</sup> *Wrong D. H. Op. cit. P. 681.*
- <sup>20</sup> См.: *Crozier M., Friedenberg E. L'acteur et le système. P., 1977. P. 56.*
- <sup>21</sup> См.: *Martin R. The sociology of power. L., 1977. P. 35—38.*

---

\* Автор благодарит В. В. Спирidonovu за помощь при написании данной статьи.

- <sup>22</sup> См.: *Easton D.* A framework for political analysis. Chicago; L., 1979. P. 47.
- <sup>23</sup> Ibid. P. 50.
- <sup>24</sup> *Parsons T.* Politics and social structure: On the concept of political power. N. Y., 1969. P. 355.
- <sup>25</sup> Ibid.
- <sup>26</sup> *Parsons T.* Essays in sociological theory. Glencoe (Ill.), 1954. P. 391.
- <sup>27</sup> *Easton D.* The political system: An inquiry into the state of political science. N. Y., 1953. P. 128, 133.
- <sup>28</sup> *Deutsch K. W.* The nerves of government. N. Y., 1963. P. 124.
- <sup>29</sup> См.: Ibid.
- <sup>30</sup> См.: *Luhmann N.* Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie Sozialer Systeme. Opladen, 1972.
- <sup>31</sup> *Crozier M.* La Société bloquée. P., 1970. P. 35.
- <sup>32</sup> Ibid. P. 36.
- <sup>33</sup> Ibid.
- <sup>34</sup> Ibid. P. 41.
- <sup>35</sup> Ibid. P. 42.
- <sup>36</sup> *Crozier M.* On ne change pas la société par décret. P., 1979. P. 52.
- <sup>37</sup> См.: *Clark T. N.* The concept of power // Community structure and decision-making: Comparative analysis. San Francisco, 1968. P. 46.
- <sup>38</sup> *Schulze R. O.* The bifurcation of power in a satellite city // Community political system. Glencoe, 1961. P. 20.
- <sup>39</sup> *Rogers M. F.* Instrumental and infra-resources: The bases of power // Amer. J. Sociol. 1974. Vol. 79, N 6. P. 1422.
- <sup>40</sup> Ibid. P. 1423—1425.
- <sup>41</sup> Ibid. P. 1429.
- <sup>42</sup> Ibid. P. 1431.
- <sup>43</sup> *Therborn G.* What does the ruling class do when it rules? Some reflections on different approaches to the study of power in society // Classes, power and conflict: Classical and contemporary debates. Berkeley; Los Angeles, 1982. P. 227.
- <sup>44</sup> *Brecht A.* Political theory // International encyclopedia of the social sciences. Vol. 12. P. 314.
- <sup>45</sup> *Dahl R.* Power // Ibid. P. 413.
- <sup>46</sup> См. более подробно главу «Власть и мера („точные методы“ в англо-американской политологии)».
- <sup>47</sup> *Eulau H.* Political behavior // International encyclopedia of social sciences. Vol. 12. P. 210.

# ВЛАСТЬ И «ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ»

(поведенческие концепции власти  
в политической науке США)

А. Л. АЛЮШИН, В. Н. ПОРУС

Основные идеи так называемого поведенческого (бихевиорального) направления в политологии<sup>1</sup> были выдвинуты в 20—30-х гг. группой ученых Чикагского университета во главе с Ч. Мерриамом (1874—1953). Значительный вклад в разработку философско-методологических и теоретических основ этой научной доктрины внесли также ученик Ч. Мерриам Г. Лассуэлл (1902—1978) и политолог английского происхождения Дж. Кетлин (р. 1896), близко сотрудничавший с «Чикагской школой». Эти политические мыслители стояли у истоков поведенческой концепции власти, заложили ее фундамент. К их работам мы в основном и будем обращаться в ходе последующего анализа<sup>2</sup>. Наша цель состоит в том, чтобы реконструировать ту исходную модель (модели) власти, от которой они отправлялись в построении своих теорий, и критически проанализировать их существенные, наиболее характерные черты. Но вначале рассмотрим, что нового внес бихевиорализм в буржуазную политическую теорию и методологию в целом.

Заметную популярность среди американских политологов бихевиорализм завоевал благодаря четко выраженной установке на эмпирическое исследование поведения людей в сфере политики. Этим он выгодно отличался в глазах позитивистски и сциентистски ориентированных американских обществоведов, разочаровавшихся в возможностях политических доктрин, разработанных в рамках европейских социально-философских и государственно-правовых традиций XIX в. и характеризовавшихся поверхностным сравнительно-историческим описательством, абстрактным морализмом и спекулятивностью, узким юридическим формализмом. Подвергнув эти доктрины острой и во многом



обоснованной критике, бихевиоралисты предложили программу, которая, как им представлялось, позволяла существенно расширить и обогатить предметное поле и методологию политической науки, выработать более адекватное понимание политической реальности.

Такой реальностью стала считаться вся совокупность проявлений политической системы, ее функций и взаимосвязей. От видения политической жизни сквозь призму нормативно-правовых установлений и абстрактных политических идеалов бихевиоралисты стремились перейти к изучению политического процесса в его многоплановой динамике и взаимосвязи с социальным процессом, а также психологическими мотивами поведения людей. Сфера их анализа распространялась на те группы и организации, которые не вписывались в традиционную, разработанную государствоведами XIX в. схему политической реальности (основой которой был принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную). В фокус внимания бихевиоралистов попадали в первую очередь скрытые, неформальные структуры власти в обществе (группы давления на правительство, пропагандистские центры, гангстерские группировки и т. п.).

Методологическим стержнем программы стал принцип эмпирического редукционизма, заимствованный бихевиоралистами из неопозитивистской философии науки. Согласно этому принципу, фундаментальной предметной областью научно-политического анализа являются эмпирически достоверные факты политического поведения индивидов; научным смыслом обладают только утверждения о таком поведении, которое допускает эмпирическую верификацию; они должны быть отделены демаркационной линией от политической «метафизики», т. е. от утверждений о фиктивных сущностях, какими объявлялись абстрактные политические понятия (сущность государства, суверенитет и пр.), от морально-нормативных оценок политики, суждений о политических идеалах и ценностях (равенство, справедливость и пр.).

Бихевиоральный эмпиризм в политологии, выступавший аналогом программы неопозитивистов по эмпирическому обоснованию науки в целом, имел специфическую «терапевтическую» направленность. Очищение политической науки от метафизики имело целью не только достижение идеала объективного, оценочно-нейтрального знания, свободного от субъективных примесей и верований, но прежде всего — выработку объективных, основанных на

знании самой «природы» политической реальности рецептов для излечения очевидных, остро проявившихся в междоусобные десятилетия социальных недугов. В этом состояла еще одна важная причина быстрого и устойчивого роста популярности бихевиоралистской политологии в США и странах Западной Европы.

Перенесение на политологическую основу методологических образцов, разработанных неопозитивистами в основном на материале естественных наук, имело то важное следствие, что политическая реальность стала трактоваться бихевиоралистами как часть естественной, природной реальности, а политические процессы — протекающими согласно некоторым неизменным, универсальным формам, «регулярностям», устанавливаемым в эмпирическом исследовании. Основания этой формальной устойчивости, повторяемости поступков и процессов были отнесены к природе человеческого индивида, и тем самым была возрождена в своем мировоззренческом статусе имеющая давнюю философскую традицию концепция «естественного человека» в политическом мире. Перед общей политической теорией была поставлена задача: вывести явления политической жизни, объяснить их из естественно присущих человеку свойств, характеристик его жизненного поведения. Обобщения этих явлений должны были составить эмпирические законы, по которым можно исследовать функционирование и эволюцию политических структур общества.

Политический процесс, трактуемый как производный от фундаментальных жизненных характеристик человеческих индивидов, предстал перед бихевиоралистами как актуализация некоторого изначального волевого устремления, придающего политический смысл всякому поведенческому акту. Таким устремлением они считали достижение и использование власти. Стремление к власти объявлялось доминирующей чертой человеческой психики и сознания, следовательно, определяющей формой политической активности человека. Власть — исходный пункт и конечная цель политического действия; политический человек — это для бихевиоралистов человек, стремящийся к власти. В известном смысле вся политическая теория оказывалась учением о власти.

Традиционные, «добихевиоральные» политические учения также рассматривали власть как центральную проблему, однако их трактовка власти не выходила за рамки анализа межинституциональных отношений и иерархии

социального подчинения. Бихевиоралисты значительно расширили содержание этого понятия, приравнявая его к «политическому отношению» в целом. Характерна, например, следующая мысль Дж. Кетлина: «Политическая наука становится равнозначной исследованию власти в обществе, то есть превращается в науку о власти. Это наука о действительной воле к власти и ее рациональной координации в обществе»<sup>3</sup>.

Бихевиоралисты часто называли свою концепцию «реалистическим подходом» или «политическим реализмом». Эта терминология имеет несколько значений. Во-первых, в нее вкладывается тот смысл, что бихевиоралисты поворачивают политологию лицом к человеческому поведению, лежащему, по их мысли, в основе любых политических явлений. В этом смысле реализм поведенческой концепции противопоставлялся «нереалистическим», оторванным от естественной действительности традиционалистским политическим теориям<sup>4</sup>. Во-вторых, реализм политологии ставился в ряд с реализмом естествознания, как его трактовали позитивисты: во главу угла ставятся «реальные факты», исследователь обязан относиться к политическим явлениям абсолютно непредвзято, вне каких-либо субъективно-ценностных предпосылок; напротив, любые ценности, идеалы должны пройти испытание фактами. В-третьих, «реализм» провозглашался как ориентир не только политической теории, но и самой политики, осуществляемой по рецептам и рекомендациям политологов.

В течение двадцатилетнего периода своей эволюции бихевиоральное движение в политической науке США стало господствующим (особенно в конце 50-х — начале 60-х гг.). Его влияние распространилось на многие капиталистические страны, в особенности там, где не было собственных прочных традиций политической теории<sup>5</sup>. Но и в таких странах, как Франция и Англия, где эти традиции были глубокими и давними, бихевиоралистская политология приобрела множество приверженцев<sup>6</sup>. Разумеется, было бы неверно объяснять столь широкое распространение бихевиоральной доктрины одними только ее концептуальными преимуществами (действительными или кажущимися). Несомненной и более важной причиной явилось то обстоятельство, что эта доктрина выступила ответом буржуазной политической мысли на интенсивные экономические и социально-политические изменения, происшедшие в капиталистическом мире середины века. Бихевиоралисты предложили способ теоретического

анализа этих изменений, при котором их негативные, болезненные, кризисные стороны предстали следствиями разлада определенных механизмов «координации», которыми сдерживаются и направляются в легальное, рациональное русло стихийные, разрушительные силы, импульсы, якобы коренящиеся в самой природе человека. Это, с одной стороны, открывало определенную перспективу для диагностирования негативных явлений в политической жизни, их критики с позиции «научно-рационального» анализа, а с другой — отводило эту критику от социально-классовых, социально-экономических причин общественных и политических противоречий. Тем самым бихевиорализм в политологии выполнял, и не без определенных успехов, социальный заказ буржуазного либерализма, заинтересованного в таком развитии политической системы, при котором ее модернизация не затрагивала бы устоев капиталистического общества, но содействовала исправлению, смягчению, «лечению» болезней и пороков этого общества.

История развития этой доктрины обнаружила ее ограниченность, серьезные концептуальные противоречия, практическую беспомощность в решении сложных социально-политических проблем, узость методологических рамок, чрезмерную абстрактность и оторванность от действительного развития политического процесса<sup>7</sup>. Тем не менее бихевиоральные идеи, претерпевая определенные изменения, адаптируясь к меняющейся социально-политической ситуации послевоенных десятилетий, сохранились как ядро политологических концепций, наиболее развитых и распространенных на Западе.

### **1. Власть как «воля к власти» («силовая модель»)**

При первом же знакомстве с концепцией бихевиоралистов обращает на себя внимание характерная деталь — очевидная нестрогость, размытость определений власти, которыми они оперируют. Отчасти это может быть связано с многозначностью английского термина «power»<sup>8</sup>. Теоретики-бихевиоралисты сознательно использовали эту многозначность, размывая грани, которыми отличались различные варианты значений этого термина, до такой степени, что в различных контекстах они употреблялись как синонимы. В то же время в определениях власти постоянно фигурируют и сами эти варианты, и близкие по смыслу

понятия «контроль», «влияние» и др. Определяя эти понятия друг через друга, бихевиоралисты создают обширный, но замкнутый сам на себя круг дефиниций с нечетким, интуитивно улавливаемым полем значений<sup>9</sup>.

Все эти значения, согласно бихевиоралистам, имеют некий центр конвергенции. Стержнем любого «властного» поведения является первоначальный импульс — «стремление к власти», как бы ни трактовалось последнее понятие; например, люди, считает Лассуэлл, могут и не воспринимать свою или чужую деятельность как прямое стремление к власти, а просто хотят чего-либо — выиграть схватку, сделать карьеру, приобрести авторитет, принять и осуществить решение, но за всем этим все же стоит стремление к власти<sup>10</sup>. Власть, к которой устремляется человек, — средство к «улучшению его политического состояния», с одинаковой неизбежностью применяемое всеми людьми, во все исторические времена, в любом обществе, при любом социально-экономическом и социально-политическом строе.

Трактовка власти как средства «достижения лучшего» имеет двойственный смысл: с одной стороны, она выглядит так, будто для человека есть более значительные ценности, чем власть, ради которых собственно и нужно обладать «властью», «контролем», «могуществом» и т. д.; этими ценностями могут быть польза, богатство, наслаждение (утилитаристский арсенал) или свобода, независимость, безопасность и т. п. С другой стороны, очевидно, что, если исходить из контекста рассуждений Лассуэлла, в ряду этих ценностей власть находится на первом месте, а прочие цели, будучи достигнуты, сами становятся условиями и предпосылками власти. Таким образом, власть трактуется одновременно и как цель, и как средство: буквально все политические действия получают интерпретацию в терминах «воли к власти».

Бросается в глаза подчеркнутое желание бихевиоралистов придать понятию власти предельно общий характер, наделить его универсальными свойствами. «Единственное, что присуще всем типам отношений власти и влияния, — пишет Лассуэлл, — это воздействие на политику. То, как проявляется воздействие и на какой основе оно осуществляется, суть преходящие моменты, конкретное содержание которых в определенной ситуации можно установить, лишь изучая реальные воздействия находящихся в этой ситуации субъектов»<sup>11</sup>. Таким образом, любое «воздействие на политику», т. е. всякое действие поли-

тического субъекта, приравнивается к «стремлению к власти». В политике все есть власть, и всякая власть есть политика.

Но политика — сфера социального взаимодействия. Индивид, движимый присущим ему по природе властным импульсом и обладающий определенным потенциалом «политической энергии» (без которой воля к власти была бы бесплодной), встречается в этой сфере с другими, подобными ему индивидами, вступает с ними в коммуникацию по поводу власти. Силовое поле этой сферы, испытывающее определенные возмущения из-за постоянных столкновений и взаимодействий индивидуальных волей, — элементарная модель, на которой основоположники поведенческой доктрины пытались проследить следствия, вытекающие из их исходных допущений. Из нее сознательно устранены все прочие качества и характеристики индивидов, социальные, экономические, культурные и другие мотивы и причины их политического поведения. Только индивидуальные «воли к власти» и их взаимодействия — из этого материала строится вся политическая материя, образуясь как прямой результат столкновений и взаимограничений волей, постепенного нарастания и накопления продуктов их прошлого действия, со временем приобретающих стабильные, устойчивые, институциональные формы.

Принципиальное значение для бихевиоралистов имело утверждение о том, что эти формы нельзя понимать как «гипостазированные структуры», «над- и внесубъектные сущности», якобы наделенные особыми силами и подчиненные особым законам<sup>12</sup>. Институты в обществе, образуясь на основе некоторых социально необходимых функций или общих чувствований людей, представляют собой агрегаты индивидов, но не реальных субъектов, не воплощения «воли какого-то сверхразума, существующего в обществе, или проявления Абсолютного блага»<sup>13</sup>. Это означает, что власть, принадлежащая социальным институтам, должна не объясняться из сущности этих институтов и их деятельности, а выводиться из отношений власти, в которые вступают индивиды. Лишь отправляясь от этого уровня («политических атомов», индивидуальных волей), можно проследить, как путем концентрации, слияния, разъединения, столкновения, борьбы, постоянного балансирования множества индивидуальных сил рождаются и воспроизводятся такие относительно устойчивые формы политической власти, как партии, политические организации

и институты, наконец, государство с его аппаратом и органами власти.

Эта идея бихевиоралистов была направлена против кощепции «исторической школы», сложившейся в США в конце XIX в. (Г. Адамс и др.), рассматривавшей историю общества как поле приложения надындивидуальных безличностных сил, неизменных законов развития общественных организмов, сводящих роль человеческих индивидуумов и факторы субъективного целеполагания к нулю. Для позитивистски ориентированного бихевиорализма эта концепция выглядела антиэмпиристской метафизикой, апеллирующей к фиктивным сущностям. Но в еще большей степени бихевиоралисты противопоставили свои взгляды марксистской теории социальных и политических процессов, по существу выразив тем самым враждебность буржуазного либерализма этой теории, утвердившей объективную историческую неизбежность радикальных социально-экономических и политических изменений, осуществляемых в процессе классовой борьбы пролетариата против господства буржуазии. Бихевиоралисты критиковали марксизм, предвзято и недобросовестно отождествляя его с вульгарным экономическим детерминизмом и историческим фатализмом.

В то же время их доктрина позволяла дать критическую оценку тоталитарных концепций государства фашистского типа, в которых мифологизированные сверхличностные структуры (национал-социалистская партия, раса, государство) превозносились как абсолютные ценности, перед которыми человеческий индивид, личность, обращался в ничто, и от имени которых фашистские фюреры провозглашали свое «право» вершить судьбами народов.

Важным следствием принятых бихевиоралистами представлений о власти был новый (по сравнению с «традиционализмом») подход к вопросу о государственной власти, государственном суверенитете. Для традиционалистов власть была как бы органически, изначально присуща государству, призванному главенствовать над всеми политическими силами общества, воплощая в себе национальное, народное единство общества. Верховность власти государства не оспаривалась и бихевиоралистами, однако они снимали с нее мистический ореол, отказывались от моралистических, априорных трактовок, пытаясь найти «естественное» (и в этом смысле лишенное какой-либо ценностной, субъективистской подоплеки) объяснение ее

происхождения, сущности и функционирования. Бихевиоралисты последовательно исходили из принятой ими модели атомарно-индивидуалистических взаимодействий, объявляя государственный суверенитет механическим агрегатом отдельных волей (способным разрушаться и вновь создаваться по механическим принципам)<sup>14</sup>, необходимым для концентрации власти, плюралистически распределенной в обществе, когда это требуется «для нужд общего блага», «для социальной деятельности» и т. д.<sup>15</sup>

Критикуя традиционалистские воззрения на государство, как на некий от века данный «резервуар» власти, из которого черпают все общественные институты и отдельные граждане, Лассуэлл отвергал также и мысль о том, что природное назначение этого резервуара заключается в обеспечении «всеобщего блага». Эта иллюзия, писал он, приводила к тому, что неспособность государства выполнить эту задачу объяснялась через разлад его организации, дисфункцию аппарата или какие-либо внешние «разлагающие» влияния<sup>16</sup>. Скептицизм Лассуэлла направлялся против абстрактно-моралистской трактовки государства как идеальной силы, воплощенной в деятельности бескорыстных и возвышенных людей, пекущихся о благе граждан. В противовес этой архаичной концепции выдвигалась идея о том, что государственная власть, как и все прочие формы социальной власти, возникает и воспроизводится путем концентрации, слияния, разъединения, столкновения, борьбы и постоянного балансирования имманентных всем политическим субъектам волей к власти.

Основания этих волей бихевиоралистами трактовались по-разному. Например, Лассуэлл делал упор на психологические основания, склоняясь к фрейдизму, а затем — к неофрейдизму. Согласно Лассуэллу, на всех уровнях политической активности ее истоки следует видеть в низменных, эгоистических, часто — иррациональных мотивах (потребность во власти объяснялась как компенсация некоторой духовной и телесной неполноценности; эти психоаналитические идеи, воспринятые, скорее всего, у А. Адлера, выступали как «естественнонаучное», эмпирическое подкрепление поведенческой установки)<sup>17</sup>.

Кетлин, напротив, трактовал политическое поведение с антипсихологических позиций. Психологизм, не без оснований считал он, противоречит изначальным позитивистским установкам на наблюдаемые факты социально-политической жизни и точные количественные методы из-



мерений формальных элементов внешнего поведения <sup>18</sup>.

Но, так или иначе, согласно бихевиоралистам, власть государства (как власть вообще) не должна выводиться из каких бы то ни было моральных или ценностных идей. По мнению Кетлина, в целом совпадающему со взглядами других бихевиоралистов, власть в обществе плюралистично распределена между взаимодействующими политическими субъектами таким образом, что определенные группы настолько преуспевают в этом взаимодействии, что объявляют свою власть общезначимой, обязательной для всех. Тогда-то эта группа и получает возможность объявлять себя (т. е. свою власть) «абсолютным сувереном» (т. е. тем, чего нет в реальности, но возникает как политическая уловка, средство для закрепления достигнутого успеха).

Политическая система общества всегда выступает как особая структура, в которой власть распределена между всеми ее элементами так, что устанавливается определенный баланс сил, стремящихся к власти и достигающих ее. Нарушение этого баланса в сторону чрезмерной централизации власти или, напротив, ее распыления влечет за собой дисфункцию и может привести к распаду политической системы <sup>19</sup>.

Так намечается первый важный ориентир бихевиоралистской концепции власти: она должна изучать условия сохранения оптимального баланса политических сил (или «воль к власти»). Для этого нужно представить, как именно взаимодействуют между собой «атомы политической материи», в каких формах протекает процесс диффузии и концентрации власти в обществе.

## **2. Политические отношения как рынок власти («рыночная модель»)**

Хаос сталкивающихся индивидуальных волей неизбежно упорядочивается, когда в течение достаточно длительного исторического времени из него вычленяются определенные устойчивые способы взаимодействий в сходных политических ситуациях; постепенно эти «типы» складываются в структуру, приобретающую видимые конфигурации и в известной степени теряющую подвижность. Уже начиная с уровня индивидуальных взаимодействий, субъекты власти вступают в определенные соглашения, «сделки», результаты которых фиксируются в нормах, закрепляются в документах, наконец, вопло-

щаются в устойчивых социальных структурах<sup>20</sup>. Цель этих соглашений — достижение власти и того, что она дает стремящемуся к ней политическому субъекту. Поэтому всякое такое соглашение есть одновременно и ограничение «воли к власти», и условие для ее реализации. На основе соглашений возникают социальные институты, система которых образует устойчивую «матрицу власти».

Для бихевиоралистов очевидно, что всякое соглашение имеет определенный смысл, если оно соблюдается соглашающимися сторонами. Выполнение соглашения зависит по крайней мере от двух принципиальных факторов: доброй воли его участников и наличия некоторой внешней по отношению к данному соглашению силы, вынуждающей соблюдать принятые обязательства и грозящей санкциями против их нарушителей. Первый фактор предполагает разумность и моральность устремлений людей, что постоянно опровергается стихийными, до- и противоразумными импульсами человеческой природы. Второй фактор предполагает наличие некоторой власти, как бы существующей еще до того, как первичные властные отношения приобретают устойчивые формы.

Парадокс будет очевиден, если воспользоваться аналогией между картиной политического взаимодействия, изображаемой бихевиоралистами, и игрой.

Стандартная игровая ситуация заключается в следующем: побеждает тот, кто выигрывает по правилам (принятым по соглашению), а стремление нарушить правила, чтобы выиграть незаконно, пресекается санкциями. В политической игре выигрыш состоит в увеличении объема власти (по выражению Г. Лассуэлла, этот объем определяется «участием или возможностью участия в принятии существенных решений»)<sup>21</sup>, открывающего путь к ценностям и благам. Представим ситуацию, когда участники игры будут не просто нарушать ее правила, а стремиться изменить их в ходе игры так, чтобы это изменение повлекло за собой выигрыш одной из сторон, т. е. навязывать играющим правила, выгодные отнюдь не всем из них. Пресечь такие действия можно только извне, обладая властью, превышающей власть и силу всех участников игры. Но если игра универсальна и охватывает всех возможных участников (всю политическую систему), то такой внешней силы просто не найдется. Возможность того, что роль этой силы сыграют рациональные или моральные соображения участников игры, исключается исходными посылками бихевиоралистов.

Отсюда — важный вывод: политическая игра должна быть «самосанкционирующей». Иначе говоря, правила политической активности должны исходить из нее самой, а не навязываться ей извне. Это должна быть саморегулирующаяся система с механизмом, действующим с необходимостью естественного порядка. Идея такого механизма была заимствована бихевиоралистами из американской буржуазной социально-экономической мысли, в которой еще в начале XIX в. глубоко укоренилось убеждение в том, что основным, свободно функционирующим, ничем не ограниченным регулятором всех общественных, в первую очередь — экономических, отношений является рынок. Считалось, что именно рынок автоматически обеспечивает социальную справедливость, равенство возможностей, условия всеобщего процветания; хорошо отлаженный рынок является условием непротиворечивого развития общества в целом.

Политологи-бихевиоралисты распространили эту идею на сферу политических отношений. «Политическая арена становится рынком власти» — в этом афоризме Дж. Кетлина выражена суть всей поведенческой концепции<sup>22</sup>. Власть продается и покупается — и осуществляется благодаря этим отношениям. Правила рыночной торговли: учет спроса и предложения, стремление к выгоде, выравнивание цен и конкуренция продавцов и покупателей — они и только они выступают регуляторами, автоматически (без внешнего принуждения) обеспечивающими функционирование политической системы общества. Политические субъекты активно действуют на рынке власти, пытаясь выгодно использовать имеющиеся у них ресурсы (от природной воли к власти до накопленных запасов, имеющих уже реальный, овеществленный объем), где эти ресурсы и получают общественное признание как таковые.

Разумеется, до сих пор речь шла об «идеальном» рынке, где нет ни злоупотреблений, ни сговора, ни нечестной игры, где действуют «чистые» законы торговли и обмена. Но в реальности (как экономической, так и политической) капиталистический рынок имеет другие характеристики. Свободная конкуренция ведет к социальной дифференциации, обострению внутренних противоречий буржуазного общества. Она превращается в борьбу социальных индивидов, групп, слоев, классов, в которой цель — достижение экономической и политической власти — оправдывает средства, отнюдь не совпадающие с нормами «идеального» рынка.

Обман, нарушение законов, пренебрежение моральными и правовыми нормами, грубое силовое давление, демагогия и шантаж — все это обычная практика «рынка власти». Эти явления, конечно, не могли не замечать создатели поведенческой концепции власти. Так, Мерриам с тревогой отмечал тенденцию перерастания политической демократии США в олигархию. «Экономическая власть, — писал он, — неизбежно стремится перерасти в политическую власть... Те, кто контролирует собственность, обязательно будут стремиться превратить свои доллары в голоса избирателей, свою собственность — в политическую власть»<sup>23</sup>. Бизнес — «диктатор в семье власти»<sup>24</sup>; он похож на империю с ее аппаратом подавления и монархами. «Это неудержимо развивающийся конфликт нашего времени, по сравнению с которым все прочие вопросы выглядят карликовыми в своей ничтожности»<sup>25</sup>.

На первый взгляд в этих высказываниях Мерриама заключено верное понимание природы политического могущества собственнических классов. Но указание на родственную связь между экономической и политической властью играет у чикагского теоретика иную роль. Мерриам видит в «конфликте времени» следствие пагубного несовершенства человеческой природы, из-за которого нарушается чистота проявлений политической жизни, искажается универсальный рыночный механизм власти.

Реальный политический рынок предстает в изображении бихевиоралистов как сфера, в которой царит разгул страстей, социальных пороков и недугов. Это и борьба нелегальных преступных организаций (схватку различных кланов чикагской мафии за власть Мерриам и его сотрудники могли непосредственно наблюдать в родном городе), и политические столкновения групп давления и партий, использующих самые низкопробные средства; в послевоенные годы — это непомерная мощь военно-промышленного комплекса, удерживаемая шантажом и военными угрозами. Слепое, неуправляемое функционирование политического рынка обнаружило его болезненную, иррациональную сущность, как бы воспроизводящую стихийную инстинктивную страсть индивидуальной «воли к власти».

Так для бихевиоралистов рынок власти предстал, с одной стороны, единственно возможной универсальной формой рациональной организации человеческих устремлений к власти, а с другой — в своем реальном воплоще-

нии этот рынок оказывался средоточием кризисных явлений и пороков общества. Бихевиоралисты, однако, не рассматривали это как противоречие своей доктрины. Конфликты, полагали они, возникают из-за несоответствия реальности ее идеальной модели; отсюда — главная стратегическая идея всей доктрины: реальность должна быть исправлена, приведена в ближайшее соответствие с идеалом. Мировоззренческая установка бихевиоралистов в политической теории сводилась к максиме: «понять стихию, чтобы овладеть ею». Это вовсе не означало, что они отказывались от концепции рынка как главной формы существования политических отношений; но этот рынок должен был быть освобожден от поощряемых рыночной конкуренцией патологических крайностей и извращений<sup>26</sup>. Именно в этой связи бихевиоралисты критиковали социал-дарвинистские концепции, обосновывающие «естественность» и «полезность» неограниченной конкуренции на рынке ссылками на биологическую эволюцию, осуществляемую в жестокой борьбе за существование.

### 3. Рынок власти и власть государства

Стратегия политической терапии — исправление недостатков и пороков рыночной стихии в политических отношениях — не могла быть осуществлена без опоры на наиболее устойчивые, рациональные и общепринятые формы власти. Это убеждение бихевиоралистов-политологов вело их к подчеркиванию особой роли государственной власти на политическом рынке.

Отношение основателей доктрины к государству было двойственным: с одной стороны, как уже отмечалось выше, бихевиоралисты остро критиковали миф «органического государства», естественной, изначальной его власти над отдельными гражданами, мудрости и святости «абсолютного суверена»; с другой — именно государство должно было, по их мысли, обеспечить порядок на политическом рынке, соблюдение его участниками рациональных, социально наиболее желательных правил политических игр. Выполнение последней функции предполагало безусловное вмешательство государства в гражданскую и частную жизнь, ограничение индивидуальной свободы политических субъектов<sup>27</sup>. Но ведь именно индивидуальную свободу бихевиоралисты и намеревались уберечь через государственное регулирование рыночных процес-

сов, обнаруживающих тенденцию препятствовать равной свободе каждого индивида, его «самовыражению» и «стремлению к счастью» (по выражениям американской Конституции). Власть государства должна была обуздать власть рыночной стихии<sup>28</sup>. Это столкновение двух родов власти, одна из которых воплощала некий идеал организации, а вторая — иррациональную борьбу страстей, обнажало внутреннее противоречие бихевиорализма как политологической доктрины. «Мы нуждаемся в чем-то большем, чем обычная вера в „невидимую руку“», — писал Г. Лассуэлл<sup>29</sup>, пересматривая установки американского индивидуализма, по которым никто не может лучше судить о собственных потребностях и интересах, чем сам индивид, а результирующая действий во имя частных интересов как бы по мановению «невидимой руки» приводит общество к гармонии и всеобщему процветанию. «Рука», действительно способная преобразовать благо индивидуальной свободы в общественное благо, утверждали бихевиоралисты, — это вполне ощутимая рука государственной власти, которая лучше знает, в чем состоят подлинные интересы граждан<sup>30</sup>.

Государственная власть представлялась бихевиоралистам разумной упорядочивающей силой, стоящей над «политическим рынком» и обеспечивающей его нормальное функционирование. В синхронном разрезе политической структуры общества государство как бы обладает властью до и сверх всякой власти, является всеобщим условием процесса распределения и перераспределения отношений власти в обществе. По существу это означает всеислие государства, установку на его антидемократизм, что, конечно, вступает в противоречие с исходными предпосылками буржуазного демократизма и либерализма, разделяемыми бихевиоралистами. Видимость априоризма государственной власти — именно на этой видимости останавливались буржуазные традиционалисты — исчезает при диахроническом анализе, обнаруживающем конкретно-исторические основания возникновения государственной власти.

Выступать одновременно против всевластия рыночной стихии и против засилья государства оказалось для бихевиоралистов неразрешимой задачей; они склонялись к антидемократическим проектам политической системы, хотя и питали просветительские надежды относительно рациональной и прогрессивной политики государства. Это противоречие рыночной и этатистской линий в идео-

логии буржуазного либерализма, на позициях которого в целом стояли бихевиоралисты-политологи, наиболее типично для их доктрины<sup>31</sup>.

Однако сами основатели доктрины были убеждены в возможности построения «новой модели власти», основанной на непротиворечивом синтезировании экономических, политических и научно-технических факторов взаимодействия между государством и рынком власти<sup>32</sup>. Мерриам выдвинул идею систематического формирования «благоприятных черт» индивидов, таких социальных качеств, какие в наибольшей степени облегчали бы внесение порядка и рациональности в политический процесс. Такая «управляемая эволюция» индивида должна была быть направлена медициной, психологией, биохимией, комплексом научных дисциплин, изучающих процессы наследования психических черт и позволяющих воздействовать на эти процессы<sup>33</sup>.

Подобные идеи развивал и Лассуэлл, опиравшийся на психоаналитические учения о «социальной терапии». Государственная власть, сосредоточенная в руках «ученых-политиков», по замыслу Лассуэлла, должна взять на себя функцию контроля за политическим поведением индивида. Сочетание этих функций обеспечило бы, по его мнению, наибольшую эффективность политического управления. При этом акцентировалась «терапевтическая» функция, которая, собственно, и делает возможным установление тотального политического контроля со стороны государства.

Утопизм лассуэлловской «социальной терапии» особенно ярко выражен в его идее «возвращения власти» к «атомам», конкретным индивидам — членам гражданского общества; разумное правление, освободив эти атомы от бессознательных негативных мотивов (корысть, агрессия, жестокость), как бы вновь передает власть (постепенно, небольшими «порциями») участникам политического рынка, в котором больше не доминируют стихийные, аффективные процессы<sup>34</sup>. Надо отметить, что эта идея отошла на второй план в ходе дальнейшего развития бихевиоралистской политологии, зато мысль о могуществе тотального контроля над поведением, достигаемого с помощью методов манипулятивного воздействия на психику индивидов, нашла весьма широкое распространение и использовалась, например, в буржуазных теориях социальной и политической пропаганды.

Государственная власть, которая по проектам бихевиоралистов призвана внести порядок и рациональную организацию в социально-политический процесс, обуздать стихию человеческих страстей, должна быть реальной, опираться на силу. Но эта сила не должна использоваться для насилия — в этом программном лозунге теоретиков Чикагской школы заключалась квинтэссенция их либерального утопизма<sup>35</sup>. Власть без принуждения, власть как эманация разумного начала, обуздание рыночной стихии исключительно с помощью психоаналитических манипуляций или просветительской идеологии — подобные средства оказались крайне сомнительными в эпоху жесточайших социальных и политических битв XX столетия.

#### **4. Политический рынок как состязание субъектов власти («игровая модель»)**

В «силовой» и «рыночной» моделях политического процесса, предложенных бихевиоралистами, субъекты власти изображены исключительно абстрактно. По сути, над фундаментом их «естественной» воли к власти не возводится никаких построек, индивидуализирующих, конкретизирующих, приближающих к реальности политических взаимосвязей в обществе. Речь шла только об ограничении стихии власти, проистекающих из механического упорядочивания взаимодействий во всеобщей борьбе за власть и постепенном преобразовании этих взаимодействий в саморегулируемые механизмы обмена властью и приравниваемыми к ней ценностями. Однако очевидно, что как бы ни были значительны нивелирующие силы этих механизмов, как бы ни стирали они индивидуальные различия между участниками политического процесса, эти различия, в свою очередь, несомненно оказывают воздействие на работу механизмов распределения и перераспределения власти.

Вступая на политический рынок, субъекты власти располагают не только различными «запасами» власти и не только различными по интенсивности импульсами «воли к власти». Они также различаются своими способностями, умением ориентироваться в динамичных и быстро меняющихся обстоятельствах, большей или меньшей коммуникативностью, гибкостью стратегий, избираемых для достижения своих целей, и т. д. Одни участники этого «со-



стызания» охотно идут на риск, азартно включаются во все новые «игровые» ситуации, другие склонны к перестраховке, осторожной стратегии поведения; для одних стремление к «выигрышу» сильнее любых моральных и юридических запретов, другие отступают перед такими запретами, сообразуя свои устремления со своими возможностями. Политическая мотивация способна приобретать черты игровой психологии. На это обстоятельство обращал внимание Ф. Знанецкий еще в середине 30-х гг. Согласно Знанецкому, борьба за власть мотивируется не только целью приобретения власти как верховного блага, но также своим «игровым» характером, доставляющим особое удовлетворение ее участникам. Часто захватывающий азарт этой борьбы выходит на первый план в кругу политической мотивации, отесняя даже соображения материальной выгоды, какую можно получить с помощью власти. «Страстный участник политической игры, — пишет Знанецкий, — действительно не интересуется идеологиями и политическими программами... Глубокие и искренние идейные стремления мешают успеху в политической игре; поэтому настоящие идейные политики если и участвуют в этой игре, то в виде простых шахматных фигур, передвигаемых опытными, азартными игроками, которые хотя и соблюдают правила, но не думают подчинять игру каким-то отдаленным целям»<sup>36</sup>. Взгляды Знанецкого, одного из основоположников поведенческого направления в буржуазной социологии, непосредственного истока бихевиоралистической политологии, прямо стыкуются с идеями Лассуэлла и Кетлина, дополняют и развивают их.

Исследователь политического процесса, принимающий подобные взгляды, не только вправе, но даже вынужден абстрагироваться от идейной подоплеки борьбы за власть, от реальных сущностных ее причин и факторов, и должен сосредоточиться на игровой стратегии ее участников (с привлечением математической теории игр, психологической теории решений, а также методов кибернетического моделирования для объяснения и прогнозирования целенаправленного поведения субъектов власти в различных социальных сферах и ситуациях<sup>37</sup>. Он последовательно переходит от простых моделей «политической игры», в которых рассматриваются взаимодействия двух или нескольких «игроков» с ограниченным набором игровых стратегий, к более сложным, включающим большое число субъектов, и, наконец, к игровой интерпретации всего

политического рынка как всеобщего «пространства игры». В этой модели «политическая материя» предстает как бы сотканной из «узелков» — бесчисленных столкновений, взаимодействий и дальнейших траекторий отдельных «квантов» политической энергии; игровых ситуаций с открытым, недетерминированным исходом. Политический мир предстает как флуктуационная система, в которой все закономерности, все детерминации имеют вероятностный характер; единственной жесткой и неизменной основой этого мира является человеческая природа, таящая в себе истоки всех импульсов политического поведения.

Этот политический мир — театр, поле игры, где успех или поражение зависят от силы, ловкости, настойчивости, гибкости субъекта, его способности к адаптации и перевоплощению, от актерства, везения, удачи, счастливого случая, дарящего успех. Так он видится участнику этой игры, и такую точку зрения развивают бихевиоралисты-политологи.

Акцентируя роль субъективных качеств, позволяющих рассчитывать на успех в политической игре, и, напротив, нивелируя, сводя к минимуму содержательную сторону этой «игры», игнорируя ее объективные основания, бихевиоралисты предельно формализуют политику и политическое поведение. В «игровой модели», как в «силовой» и «рыночной», вместо анализа процесса возникновения и многообразных социально-исторических трансформаций власти и их причин, коренящихся в законах материального производства, предлагается исследование чисто формальных аспектов властных отношений, инвариантных по отношению к реальному содержанию последних. Конечно, нельзя отрицать, что эти аспекты имеют определенное значение и должны быть подвергнуты научному анализу. Однако этот анализ, если он оторван от изучения системы социально-политических отношений, институциональной стороны политической жизни, ее экономического базиса, остается односторонней абстракцией.

## **5. Идеиные истоки и современное значение поведенческой концепции власти**

Принципиальная методологическая установка бихевиорализма в трактовке власти заключалась в том, чтобы вывести формальную структуру властных отношений из «естественной» сущности человека, доступной исследованию научными методами. Эта установка не была совер-

шенно новой; помимо очевидного родства с позитивистской методологией, ее истоки восходят к социально-политическим воззрениям эпохи раннего капитализма.

Идея естественной сущности власти в XV—XVI вв. противопоставлялась средневековой идеологии, опиравшейся на догматы религии. Отрицание божественного, сверхприродного происхождения власти, святости ее институтов, низведение их до уровня земных, обыденно-жизненных дел, до «грешной» природы человека выступало для мыслителей позднего Возрождения как орудие в борьбе за автономизацию и секуляризацию социально-политического процесса, входило в комплекс основных идей гуманизма. Так, Н. Макиавелли стремился отделить реальную политическую деятельность от любых «метафизических», моральных и религиозных оснований; не имеет значения, утверждал он, какими нравственными или религиозными критериями руководствуется политик; более того, следует предположить, что вовсе не мораль или религия, а скорее побуждения, которые принято считать низменными (корысть, страх, жестокость, утилитарный расчет и пр.), мотивируют его поведение. Однако высокая цель — укрепление государства и его власти, воплощающих разумное начало в человеческом бытии, укрощающих стихию аффектов и разгул иррациональных анархических сил, оправдывает любые средства ее достижения. Отсюда известный лозунг макиавеллизма: «не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо»<sup>38</sup>.

Низменность и иррациональность человеческой природы должны быть преодолены в возвышенности и разумности государственно-политической власти, и не беда, если эта власть для своего укрепления использует как раз то, против чего она направлена. Уже у Н. Макиавелли отчетливо видна эта диалектика двух типов власти: природной, иррационально-стихийной, основанной на грубой силе, с одной стороны, и разумной (в этом смысле — сверхприродной), организующей и упорядочивающей, возвышающей общество над биологической природой — с другой. Обе эти власти неразрывно связаны, и укрепление второй возможно лишь с использованием первой; для победы политического разума допустимо применение средств, отвергаемых самим же разумом.

Еще более остро и парадоксально эта диалектика выражена Т. Гоббсом. Власть как природное могущество человека обеспечивается его силой и умом, а ее примене-

ние подчинено «естественному закону»: «человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни и что лишает его средств к ее содержанию, и упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни»<sup>39</sup>; естественный закон дает человеку право использовать свою власть по своему усмотрению. Поскольку такое право принадлежит каждому человеку по природе, оно превращается в предпосылку «войны всех против всех» и, следовательно, отрицает само себя в качестве права, превращаясь в полное бесправие и угрожая самому существованию человека, противоречит и «естественному закону».

Выход из противоречия Гоббс находил в ином типе власти. Власть государства есть следствие общественного договора, которым раз и навсегда ограничивается губительное стремление людей к осуществлению своей индивидуальной власти. Это власть, отчуждаемая от «естественного человека» и приобретающая самостоятельное («абсолютное», по Гоббсу) значение и существование. Это, в известном смысле, «неестественная» власть, продукт не природных, а сознательно-человеческих установлений; вмешательство коллективного разума в слепую игру бессознательных (немыслящих) природных сил. Действия этого рационального человеческого Космоса могут и должны изучаться в соответствии с принципами, нормами и законами, имеющими не природный, а разумный характер. Однако в то же время именно естественная природа человека, знание этой природы для ее укрощения и подчинения разумной норме является ключом к пониманию самого этого «сверхприродного», договорно-разумного механизма. Эта мысль имеет важнейший методологический смысл, поскольку ориентирует на исследование человеческой природы, стоящей за политической реальностью и особым образом детерминирующей ее.

Эта теоретическая установка, типичная для философов XVII в., выдвигавших концепцию «общественного договора», имела следствием важный вывод: поскольку природа человека полагается вечной и неизменной, а управляющие ею законы — такими же универсальными и абсолютными, как законы механики, то знание этих законов позволит рассчитывать на изменение общества и государства, приведение их в соответствие с этими законами (в случае отклонения от них). Такое изменение понималось как практическая социальная задача<sup>40</sup>. Но решение этой задачи во многом зависело от того, как именно трактовалась природа человека.

И страсти, и разум, и разрушительное, и созидательное начала — эти и другие противоположности присущи человеку по его природе. Следовательно, каждая из них по-своему детерминирует политическую активность и место человека в политическом процессе. Например, по Гоббсу, разум диктует человеку необходимость сознательного подчинения абсолютному суверену, необходимость абсолютной власти государства, распространяемой на всю сферу человеческого поведения. Но в то же время эта власть не распространяется на суждения самого разума; в противном случае абсолютная власть, направленная на обуздание стихии разрушения и гибели, могла бы обратиться и против своих собственных разумных оснований, стать противоразумной.

Духовный мир человека (трактуемый рационалистически), по Гоббсу, должен обладать суверенитетом и автономией; в его неподвластности — гарант существования всякой власти, не преступающей меру, за которой кончаются власть и порядок и наступает хаос всеразрушительной анархии как обратной стороны противоразумного всеислия власти.

Таким образом, уже у Гоббса мы встречаем идеи, согласно которым в природе человека коренятся как свобода, так и принуждение, и добро, и зло, и разрушение, и созидание; политическая жизнь определяется борьбой и взаимной обусловленностью этих начал, их взаимной мерой. Политические процессы, направленные на установление устойчивого равновесия с природой человека, могут протекать в различных направлениях, в зависимости от того, какие именно природные характеристики человека рассматриваются как существенные и определяющие.

Для Ж.-Ж. Руссо человеческая природа, не искаженная ложными ценностями, прививаемыми цивилизацией и политической борьбой за власть, чужда злу и несправедливости. «Естественный человек» благ по своей изначальной сути, но, попадая в тиски «противоестественных» общественных отношений, основанных на угнетении, подавлении свободы, он ввязывается в противную его природе борьбу за власть, условия которой диктуются его социальными функциями, борьбу, изменяющую его духовность так, что преобладающими психологическими чертами человека становятся властолюбие, жестокость, стремление к подчинению себе подобных.

«Справедливость в народе является добродетелью, присущей его положению точно так же, как насилие и тирания в начальниках есть порок, свойственный их положению», — писал Руссо <sup>41</sup>. Руссоизм вел к неизбежному выводу о необходимости социального переустройства в соответствии с лучшими чертами человеческой природы; исправление пороков людей понималось производным от исправления пороков общества.

Дж. Локк, в отличие от Гоббса, не выводил «войну всех против всех» из естественного стремления человека к частной выгоде. «Естественный человек» Локка — это прежде всего участник экономического партнерства, «честной конкуренции», свободно и в равной мере с другими индивидами осуществляющий свое право на обмен благами и услугами. Государственная власть, по Локку, это средство к обеспечению такого гражданского состояния, какое в наибольшей мере соответствует естественной природе человека. Эта природа отнюдь не требует какого-то исправления, напротив, в совершенствовании нуждается именно политическая структура общества. Эта мысль была развита А. Смитом, который видел в стремлении людей к корпоративному экономическому сотрудничеству настолько сильный «естественный» фактор, что он способен «преодолеть сотни досадных препятствий, которыми безумие человеческих законов так часто затрудняет его деятельность» <sup>42</sup>.

«Корни американской политической идеологии, — как справедливо отмечают советские исследователи-американисты, — уходят в европейскую, прежде всего английскую, политическую философию XVII—XVIII вв.» <sup>43</sup>. Однако произрастающие из этих корней политические взгляды основателей доктрины бихевиорализма, сформировавшиеся в иную историческую эпоху, радикально изменившую направление развития капитализма и во многом содержание буржуазно-либерального мировоззрения, обладали не только рядом сходных черт и заимствований у классиков политической мысли раннего капитализма, но и существенно отличались от них. Каковы же этих сходства и отличия?

Подобно теоретикам «общественного договора» XVII—XVIII вв., бихевиоралисты исходят из посылки об автономном индивиде («политическом атоме»), изначально ограниченном набором черт и характеристик, вытекающих из общей всем людям универсальной, «внеисторической» природы, т. е. из абстракции «естественного челове-

ка». Человеческая природа содержит в себе весь многообразный и противоречивый потенциал индивидуального поведения и комбинации взаимоотношений индивидов. В конечном счете она детерминирует всю систему общественной жизни и государственного устройства в любых странах и во все исторические периоды. Ее законы стоят в ряду универсальных и вечных законов природы (бихевиоралисты, ориентируясь на «антиметафизические» установки позитивизма, чаще всего предпочитали говорить о «регулярностях», «устойчивых формах» и «повторяемости»), могут быть познаны и применены для целей оптимального общественного переустройства.

Общим стержнем политологических учений XVII—XVIII вв. и доктрины бихевиорализма является проблема соотношения индивидуальной свободы (проявляющейся также и в борьбе за власть) и государственной власти. Авторы раннебуржуазных учений склонялись к такому решению этой проблемы, когда подчинение индивида социальным институтам власти является средством для ограничения негативной свободы и, напротив, всемерного развития свободы позитивной, а сама государственная власть направлена на реализацию «лучших» (разумных) сторон человеческой природы. Бихевиоралисты отказались от моральной оценки этих сторон, относясь к ним как к естественным; государственная власть, по их мнению, должна выполнять функцию ограничения и контроля, направляющую поток «естественных устремлений власти» в рациональное русло.

Иначе, чем мыслители раннекапиталистической эпохи, бихевиоралисты решают вопрос о том, каким именно образом может выполняться эта важнейшая функция власти. Гоббс, например, считал достаточными внешнюю покорность индивида, соблюдение гражданских законов. Нарушение этих законов должно было пресекаться санкциями государства. Однако власть суверена не распространялась на внутренний мир граждан, и свобода совести и суждения людей декларировалась столь же абсолютной, сколь и необходимость соблюдать юридические законы. Бихевиоралисты в этом отношении пошли дальше: они признали недостаточность внешнего, насильственного правового регулирования, как и неадекватность юридического мировоззрения в целом. По их мнению, поток индивидуальных страстей должен ограничиваться не только юридическими нормами, но и подвергнуться как бы внутреннему регулированию через установление контроля над поведен-

ческими механизмами индивида (в том числе — к чему особенно призывал Лассуэлл — методами манипулятивного воздействия на сознание и бессознательный уровень психики)<sup>44</sup>.

Главной призмой, сквозь которую буржуазная политическая мысль от Гоббса до бихевиоралистов рассматривала феномен власти, являлась проблема взаимоотношения гражданского общества, рынка и государства. Исторически обусловленные трактовки этого взаимоотношения менялись (у Гоббса, например, главная роль принадлежит государству, у Локка — рыночному саморегулированию общества, у бихевиоралистов государство становится главным гарантом нормального функционирования рынка — как экономического, так и политического), но весь анализ власти сосредоточен вокруг центральной для буржуазной политической философии категориальной пары «рынок—государство» (где экономический рынок рассматривается близким аналогом понятия «гражданское общество»); внутри этой пары формируются и предлагаются решения всех основных противоречий социально-политической реальности.

Политология бихевиоралистов в отличие от раннебуржуазных учений о власти не содержит концепций «естественных» и «неотчуждаемых» прав человека, которые закреплялись бы в гражданских законах; нет в ней и тезиса об абсолютном верховенстве суверена (монархической власти у Гоббса, народовластия у Руссо); фактически отсутствует идея «общественного договора». Однако бихевиоралисты наследуют и свободно развивают некоторые важные элементы учений об «общественном договоре», в особенности — идеи Гоббса о «латентном» стремлении к власти, отнюдь не исчезающем с переходом к гражданскому обществу, а продолжающем пребывать во внутреннем мире человека, пробуждаясь и прорываясь в сферу его поведения при способствующих обстоятельствах, а также идеи о благотворном воздействии разумной власти на соотношение негативных и позитивных свойств политических субъектов. (При всей неизменности человеческой природы она, согласно такому взгляду, все же допускает известное совершенствование в том смысле, что условия, в которые поставлен человек в обществе, могут стимулировать проявление одних, положительных, и приглушать, подавлять проявления отрицательных черт его природы.)

У Дж. Локка и А. Смита бихевиоралисты усвоили концептуальную основу политической философии клас-



сического буржуазного либерализма, у Т. Гоббса — идею сильного и активного государства. Идея договора между государственной властью и индивидом трансформируется у них в «рыночную» модель, в которой отношения обмена потенциалами власти осуществляются по образцу товарно-денежных отношений. В этой модели главным соединительным звеном между индивидом и институтами власти становится не однократный, по существу мифический акт передачи индивидом своих «естественных» прав верховной власти, а бесчисленные сделки, монопольные соглашения и постоянное конкурентное противоборство между всеми политическими субъектами — индивидами, группами, организациями, государственными органами, т. е. всеми, кто обладает универсальным политическим товаром — властью, скрепленные их взаимным признанием в таком их качестве и некоторыми основополагающими, общепризнанными правилами «обмена» и «игры». Таким образом, «общественный договор» как бы постоянно воспроизводит себя в масштабе всего общества, предсуществует «нормальной» (т. е. строящейся по образцу рынка) политической жизни в виде некоторых базисных сознательных и психологических установок, искажение которых ведет к вырождению рыночной демократии, превращению ее в тиранию, где власть держится на физическом и духовном насилии, а не на отношениях партнерства и взаимности.

Особое место в доктрине бихевиоралистов получили положения о том, что государственная власть не только регулирует и упорядочивает «рынок власти», но и сама подвержена влиянию стихии этого рынка, в функционировании которого прослеживаются черты гоббсовской «войны», определяющие имманентно-противоречивую природу политической жизни буржуазного общества. По существу, государственная власть в этой доктрине лишается атрибута абсолютности (как это было у Гоббса) и перестает быть лишь мудрым охранителем естественных прав человека (как у Локка); она становится одновременно условием и следствием нормального функционирования политического рынка, подвергаясь опасности быть поглощенной этим рынком и преодолевая эту опасность за счет рационального (научного) отношения к политической реальности, обеспечивающего средства обуздания рыночной стихии.

Таким образом, интеграция индивида и государства как участников отношений власти у бихевиоралистов имеет существенно иной, чем в раннебуржуазных концепци-

ях, характер. Она основана не на «договорных» началах (хотя элементы «договора» между индивидом и государством, по мнению чикагских политологов, всегда присутствуют: консенсус, осознание индивидами своей фактической принадлежности данному государству и признание верховных требований государственной власти), а на общей вовлеченности — хотя и с разными функциями — в действие всеохватывающих рыночных механизмов, непрерывно воспроизводящее, «подтверждающее» государственную и политическую власть.

Отсюда — важнейший для всей бихевиоральной доктрины принцип «распределения власти», ее плюрализации: властный рынок может существовать и функционировать, только если каждый его участник будет иметь доступ к власти и возможность пользоваться ею. Напротив, рынок будет исчерпан и изживет себя, если такая возможность окажется чересчур ограниченной (когда власть монополизирована, узурпирована, становится авторитарной и тоталитарной). Эта идея также восходит к локковской буржуазно-либеральной доктрине разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, но бихевиоралисты развивали ее в ином направлении. Формально-юридическое разделение властей, явно обнаружившее свою недостаточность в роли гаранта против тоталитаризма и монополизации власти (об этом свидетельствовала вся политическая практика империалистических государств, в особенности фашистских режимов), было заменено в их доктрине требованием максимальной, до пределов возможного, плюрализации, дисперсии власти (в чем прослеживается сходство с уравнительными идеями Руссо), идеалом политической жизни как свободной (и от внешнего монополистического давления, и от иррационально-гипертрофированной, не контролируемой сознанием, психически и социально разрушительной «жажды власти»), игры политических сил, взаимодействующих на «политическом рынке».

Мы видим, таким образом, что вопреки позитивистской установке на элиминацию из научного исследования «доопытных», «метафизических» предпосылок бихевиоралисты все же допускали такие предпосылки, и важнейшей из них был восходящий к Гоббсу постулат о стремлении к максимизации собственной власти как естественной, изначальной черте «политического человека». Это психологическое свойство, фактически порождающее всю политическую жизнь, являющееся движущей силой политики,

согласно бихевиоралистам, недоступно наблюдению «само по себе», но может исследоваться косвенно, через наблюдаемые факты поведения и непосредственного взаимодействия индивидов. Эти и только эти факты составляют предмет действительно научного исследования политики.

Сосредоточившись, согласно такой установке, на исследовании непосредственных взаимодействий политических субъектов, бихевиоралисты отказались рассматривать эти взаимодействия как проявления объективных общественных отношений производства, потребления и обмена, учитывать сущностные связи между объективной логикой господства и подчинения в классово-антагонистическом обществе и конкретными проявлениями власти. Отсюда значительный крен всей доктрины в сторону субъективно-волевого мотивирования поведения политических субъектов, участников отношений власти. К. Маркс критиковал взгляд на политику как сферу, порожденную и воспроизводимую волевыми устремлениями людей. Он писал: «При исследовании явлений *государственной* жизни слишком легко поддаются искушению упускать из виду *объективную природу отношений* и все объяснять *волей* действующих лиц. Существуют, однако, *отношения*, которые определяют действия как частных лиц, так и отдельных представителей власти и которые столь же независимы от них, как способ дыхания. Став с самого начала на эту объективную точку зрения, мы не будем искать добрую или злую волю попеременно то на одной, то на другой стороне, а будем видеть действия объективных отношений там, где на первый взгляд кажется, что действуют только лица»<sup>45</sup>. Марксова критика остается актуальной по отношению и к бихевиоральной доктрине власти.

Плюрализм власти, балансирование политических сил, как считают бихевиоралисты, невозможны без рационального согласия сторон, без их взаимного признания в качестве властвующих субъектов. В идеале такой баланс был бы симметричным: один политический субъект властвует над другим ровно в той же мере, в какой последний властвует над первым. Реальные же отношения власти, безусловно, асимметричны, хотя это на самом деле не исключает наличия элементов соглашения, признания власти. Однако бихевиоралисты чрезмерно преувеличивают их значение, что является одним из следствий общего преувеличения роли психологических мотивов и волевых факторов в политическом поведении. «Асимметрия»,

принудительность власти, по сути своей, вытекает из социального разделения труда, объективных потребностей социальной системы и наличия определенных функций социального управления. Ф. Энгельс по этому поводу писал: «...в основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо общественной должностной функции и... политическое господство оказывалось длительным лишь в том случае, когда оно эту свою общественную должностную функцию выполняло»<sup>46</sup>. Именно эти факторы составляют основание, образуют «потенциал» власти, который может реализовываться либо в принуждении, либо — в зависимости от конкретных обстоятельств — в иных формах, не исключающих и элемент добровольности, соглашения.

Конечно, процесс борьбы за обладание политической и государственной властью не может протекать иначе, как воплощаясь в деятельности индивидов. Борьба эта «питается», подстегивается психологическими стремлениями вовлеченных в нее лиц к получению индивидуальной власти, однако ни политическая борьба, ни само существование власти как социального и политического феномена не проистекают из данного стремления, которое всегда выполняет лишь роль «проводника», условия, не всегда даже необходимого.

Аналогия власти с силовым (физическим) взаимодействием, на которой строится «силовая модель», может быть применена к некоторым простейшим ситуациям, когда в противоборство вступают субъекты, в действиях и намерениях которых нет иного содержания, кроме «чистой» воли к власти. Но за пределами таких ситуаций (есть ли они в действительности — это еще вопрос) «силовая модель» теряет свое значение, становится примитивной абстракцией, не проясняющей, а затемняющей суть властных отношений.

Государственная власть оказывается в руках не просто «самой сильной» группы; она переходит к тем политическим силам, которые оказываются способными к пониманию и удовлетворению объективных интересов класса, господствующего в данном обществе. Безусловно, эта закономерность выступает как общая тенденция, имеет вероятностный характер: у власти могут оказаться и случайные, политически бессильные, ничтожные во многих прочих отношениях группы и индивиды, а также организации, партии и т. п., неверно понимающие объективные социальные потребности. Но в масштабах исто-

рического развития в целом она действует как объективная необходимость, в конечном счете определяющая главную линию прогрессивных социально-политических преобразований.

«Рыночная модель» власти, построенная на аналогии между политикой и экономикой, выводимая из абстракции автономного и равного всем другим «товаровладельца» (которая более или менее адекватно отражает лишь действительность раннекапиталистических обществ), также не обеспечивает универсальности и исторической общезначимости бихевиоральной концепции. Если марксистская трактовка взаимосвязи экономики и политики предстает как качественное преобразование экономической борьбы в политическую, выражение классово-экономических, социальных антагонизмов на уровне политической структуры общества и расстановки политических сил, закрепление классового господства в государственной власти, то бихевиоралисты прямо переносят, проецируют «рыночную модель» экономики на политику и государственную власть. На первый план при этом выпячиваются внешние, формальные сходства, а существенные связи политики и экономики, качественные различия в их диалектическом единстве отбрасываются или затушевываются.

Иногда теоретики бихевиорализма используют и марксистскую терминологию классового анализа, но на деле наполняют ее совершенно иным содержанием. Лассуэлл, например, понимает под классами «наиболее широкую совокупность лиц, вовлеченных в деятельность, ставящую их в сходное отношение к образованию и распределению (потреблению) одной или нескольких ценностей»<sup>47</sup>. Классы, таким образом, выступают как группы соучастников в «держании» и потреблении тех или иных благ. Следовательно, «сколько существует ценностей (а их Лассуэлл насчитывает восемь. — *Авт.*), столько же имеется и различных классов»<sup>48</sup>. А поскольку эти ценности исторически и социологически относительны и среди них нет ни одной доминирующей (кроме самой власти), то критерии классового деления приобретают релятивный и субъективный характер. Неизменно лишь одно деление: на «элиту», к которой относятся люди, имеющие достаточно большое (Лассуэлл не определяет какое именно) количество некоторой ценности (блага), и неимущую «массу»<sup>49</sup>. Это деление и является для Лассуэлла определяющим в его анализе социально-политической структуры общества.

Политические революции рассматриваются Лассуэллом, как и многими другими бихевиоралистами, вне качественных социально-экономических сдвигов и преобразований, сводятся к представлению о «круговороте власти», «чехарде» элит, борющихся за власть и использующих в этих целях возникающие дисфункции политического и экономического рынка, массовое недовольство и стихийную «разрушительность» толпы, манипулирующих ею с помощью идеологических символов и пропаганды.

Надо отметить, что такого рода политическое мышление, основанное на восприятии политической жизни как калейдоскопического чередования «игровых» ситуаций, в которых сталкиваются политические силы, не только неадекватно, но и чрезвычайно опасно, в особенности в современном политическом мире. Это субъективистское и волюнтаристское по своей сути мышление. Политик, которому оно свойственно, находится в плену иллюзии, что воля, опирающаяся на силу, способна — при благоприятном стечении обстоятельств — достичь буквально всего, даже изменить ход истории, направив его по собственному произвольному желанию <sup>50</sup>.

<sup>1</sup> От behavior (англ.) — поведение. Бихевиорализм как течение в социологии и политологии следует отличать от психологического бихевиоризма, хотя у них есть сходные черты.

<sup>2</sup> Взгляды бихевиоралистов «второго поколения», среди которых такие известные теоретики, как Р. Даль, Д. Истон, Д. Трумен, рассматриваются в ряде других глав настоящей монографии.

<sup>3</sup> Catlin G. The story of the political philosophers. N. Y.; L., 1939. P. 760.

<sup>4</sup> Непосредственным предшественником «реализма» «Чикагской школы» было «реалистическое» течение в политической науке США, развивавшееся в 90-е годы XIX — начале 20-х годов XX в. (В. Вильсон, А. Лоуэлл, Г. Форд, А. Бентли и др.). Кроме того, «реализм» в политической теории вообще надо отличать от идейно близкого ему, но сформировавшегося позднее (конец 30-х—40-е годы) «реалистического подхода» в теории международных отношений (Г. Моргентау и др.).

<sup>5</sup> Бихевиорализм был, в частности, широко усвоен в Финляндии.

<sup>6</sup> Во Франции эту теорию развивали Ж. Бурдо, А. Лансело, Ф. Гогель и др.

<sup>7</sup> Критический анализ теории бихевиорализма проделан в работах Г. К. Ашина, Ф. М. Бурлацкого, А. А. Галкина, С. А. Егорова, Ю. М. Ледовских, А. А. Федосеева, ряда других советских авторов; чешского исследователя Л. Масопуста. Среди большого числа западных политологов, анализировавших историю и теорию бихевиорализма, отметим Р. Даля, Ю. Фальтера, Б. Крика, Д. Риччи, А. Сомита и С. Таненхауза и др.

<sup>8</sup> Этот термин может означать как власть, так и силу, могущество, энергию, способность и др. Мы будем переводить его как

«власть», имея в виду значительно больший объем этого понятия.

- <sup>9</sup> У Лассуэлла можно встретить около десяти различных определений власти, многие из которых предвосхитили целые направления ее анализа (практически все из указанных в главе «Власть и мера»).
- <sup>10</sup> *Lasswell H.* A note on «types» of political personality: Nuclear, co-relational, developmental // *J. Social Iss.* 1968. Vol. 24, N 3. P. 81—91.
- <sup>11</sup> *Lasswell H., Caplan A.* Power and society: A framework for political inquiry. New Haven (Conn.), 1963. P. 92. (1st ed.—1950). Понимание власти как вида причинения развивалось Р. Далем и др.
- <sup>12</sup> *Lasswell H.* Psychopathology and politics. N. Y., 1960. P. 246—247. (1st ed.—1930.)
- <sup>13</sup> *Catlin G.* A study of the principles of politics. N. Y., 1930. P. 164.
- <sup>14</sup> *Ibid.* P. 439—440.
- <sup>15</sup> *Merriam Ch.* Systematic politics. Chicago, 1945. P. 38.
- <sup>16</sup> *Lasswell H., Caplan A.* Power and society. P. 184—185.
- <sup>17</sup> Это положение теории Лассуэлла было подвергнуто критике со стороны известных западных политологов (Р. Лейн, Ж. Натсон и др.)
- <sup>18</sup> *Catlin G.* A study of the principles of politics. P. 40, 47.
- <sup>19</sup> *Merriam Ch.* Systematic politics. P. 173—177.
- <sup>20</sup> «Власть,— замечает Кетлин,— ...это или индивидуальный контроль одного человека над поведением другого, отношение столь же простое, как сделка, или социальный контроль, осуществляемый коллективно, что можно назвать соглашением» (*Catlin G.* The science and method of politics. Hamden (Conn.), 1964. P. 244—245. (1st ed.—1927)).
- <sup>21</sup> *Lasswell H.* The analysis of political behavior. L., 1948. P. 37.
- <sup>22</sup> *Catlin G.* The science and method of politics. P. 262.
- <sup>23</sup> *Merriam Ch., Gosnell H.* The American party system. N. Y., 1940. P. 261. (1st ed.—1922.)
- <sup>24</sup> *Merriam Ch.* Political power // A study of power. Glencoe, 1950. P. 69.
- <sup>25</sup> *Merriam Ch., Gosnell H.* The American party system. P. 261.
- <sup>26</sup> Здесь прослеживается связь бихевиорализма с идеологией популизма, прогрессизма и «нового либерализма» (30-е годы XX в.).
- <sup>27</sup> Политологи «Чикагской школы», как известно, приветствовали «новый курс» Ф. Рузвельта, включавший определенные авторитарные действия правительства в борьбе против кризиса конца 20-х — начала 30-х годов.
- <sup>28</sup> Весьма характерно, что «новый курс» воспринимался частью американской буржуазии как аналог действий фашистских режимов в Европе.
- <sup>29</sup> *Lasswell H.* Psychopathology and politics. P. 316.
- <sup>30</sup> *Ibid.* P. 197.
- <sup>31</sup> См.: Современное политическое сознание в США. М., 1980. С. 59.
- <sup>32</sup> *Merriam Ch.* Political power. P. 314, 316.
- <sup>33</sup> *Merriam Ch.* New aspects of politics. Chicago; L., 1970. P. 103—106. (1st ed.—1925.)
- <sup>34</sup> *Lasswell H.* Psychopathology and politics. P. 303.
- <sup>35</sup> См.: *Merriam Ch.* Systematic politics. P. 344.
- <sup>36</sup> *Znaniecki F.* Ludzie Terazniejsi a Cywilizacja przyslosci. W-wa, 1974. S. 284.

- <sup>37</sup> Об использовании этих методов см. главу «Власть и мера».
- <sup>38</sup> *Макиавелли Н.* Соч. М.; Л., 1934. Т. 1. С. 289.
- <sup>39</sup> *Гоббс Т.* Избр. соч.: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 155.
- <sup>40</sup> См.: *Философия эпохи ранних буржуазных революций.* М., 1983. С. 545.
- <sup>41</sup> *Руссо Ж.-Ж.* Тракаты. М., 1969. С. 401.
- <sup>42</sup> *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 393.
- <sup>43</sup> Современное полигическое сознание в США. С. 35.
- <sup>44</sup> Впрочем, еще Руссо писал: «Самая неограниченная власть — это та, которая проникает в самое нутро человека и оказывает не меньшее влияние на его волю, чем на его поступки» (*Руссо Ж.-Ж.* Тракаты. С. 119).
- <sup>45</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 192—193.
- <sup>46</sup> Там же. Т. 20. С. 184.
- <sup>47</sup> *Lasswell H.* Power and society. P. 62.
- <sup>48</sup> Ibid. P. 64.
- <sup>49</sup> *Lasswell H.* Politics: Who gets what, when, how. N. Y., 1958. P. 13. (1st ed.— 1936.)
- <sup>50</sup> Среди прогрессивно мыслящих западных политологов нарастает понимание ограниченности «силового подхода» к политике. Так, например, Д. Болдуин, проанализировав парадокс атомного оружия как «нереализуемой силы» и ряд других примеров, показал ошибочность установки на беспрестанное наращивание военной силы как «гаранта» эффективности внешней политики. При этом он попытался использовать и развить ряд конструктивных элементов концепции власти Лассуэлла (зависимость эффективности власти от ситуативного контекста, в котором она используется, взаимосвязанность субъектов властных отношений и др.). См.: *Baldwin D. A.* Power analysis and world politics: New trends versus old tendencies // Power, strategy, and security: A world politics reader. Princeton (N. J.); Guildford, 1983. P. 3—36.



# ВЛАСТЬ И МЕРА

(«точные методы» в англо-американской политологии)

Ю. М. БАТУРИН

## **1. Системный подход к проблеме власти: необходимость, возможности и пределы**

После появления в середине нашего столетия первых работ, предопределивших развитие количественного анализа и измерения власти<sup>1</sup>, резко возрос интерес к этому научному направлению. Началось быстрое продвижение от предельно упрощенных моделей различного рода коллективов<sup>2</sup> (существование власти всегда связано с наличием определенных коллективов) до моделей, в большей степени приближенных к реальности (принятие решений в общинах<sup>3</sup>, законодательные системы<sup>4</sup>, системы корпоративного типа<sup>5</sup> и т. п.).

Существует несколько причин нарастания интереса к системному анализу власти. Попытки моделировать отношения власти имели вполне практическую цель — дать возможность «разворачивать» развитие политической ситуации в направлении, обратном течению времени, т. е. от следствия к причине. Это позволило бы выявлять те факторы и действия, которые способствовали возникновению политических кризисов. После такой ретроспективной проверки, как предполагалось, полученные модели можно будет использовать для «разворачивания» ситуации в будущее время, т. е. обнаруживать кризисные факторы заранее. Системный подход действовал притягательно и в результате своих успехов в самых разных областях естествознания и техники.

Помимо огромного интереса, эти идеи породили и большие разочарования, и серьезные неудачи, и бурные споры. Сегодня системное направление в «кратологии» (науке о власти) переживает своего рода ренессанс<sup>6</sup>. Наша цель — разобраться в принципах, подходах, в существе решаемых проблем, критически переосмыслить наработанный современной западной политологией материал.

Задача выявления ошибок в осуществлении власти, приводящих к политическим кризисам, — даже когда она не формулировалась в явном виде, — существует столько

же, сколько и сама политика. А способы решения этой задачи меняются в зависимости от доминирующего типа политического мышления. Мышление, как известно, складывается из рационально-логического оперирования понятиями, суждениями, умозаключениями, приобретающими вследствие своей общепризнанности характер аксиом, а также примыкающими к ним интуитивными усмотрениями.

В современном мире, где значение точного знания, существенно опирающегося на формальную логику, сильно возросло, рационализм сформировал тип политических мыслителей — идеи которых и являются предметом нашего рассмотрения, — стремящихся буквально все загнать в формулы. Им противостоит другой крайний тип политического мышления (впрочем, его приверженцы, в силу своей многочисленности, считают его отнюдь не крайним, а традиционным, классическим) — мышления только на основании опыта, наития, интуиции.

Крайности, как это обычно бывает, к истине не ведут. Рационально-логическое мышление аналитично, интуитивное суждение синтетично. Но, как отмечал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге», «мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в некоторое единство. Без анализа нет синтеза»<sup>7</sup>.

«Математически мыслящие» политологи подчас стараются полностью изгнать внелогический элемент — идея, являющаяся побочным продуктом огромных успехов кибернетики, системного анализа и вообще процесса математизации наук. Однако признание практики критерием истины означает необходимость выхода за пределы формально-логического. Кроме того, нужда во внелогическом суждении возникает всякий раз, как только мы хотим соотнести с реальными процессами в мире результаты, даваемые математическими моделями, а также аксиоматические положения, на которых строится соответствующий математический аппарат<sup>8</sup>.

Но и «интуитивно мыслящие» политологи, как бы они это ни отрицали, не обходятся без математики. Интуиция есть следствие опыта, накопленного в результате многократного повторения сходных ситуаций. Поэтому незнание законов математической статистики волей-неволей сказывается на стиле мышления, формируя неправильные оценки случайностей и, как следствие, приводят к ошибкам. Например, при интуитивной оценке вероятно-

сти конъюнктивного события <sup>9</sup> точкой, с которой начинается подсознательный отсчет, служит вероятность простого события. Но вероятность осуществления всех этапов конъюнктивного события значительно меньше, чем одного этапа, и потому интуитивно завышается. Этим объясняются, в частности, чрезмерно оптимистичные прогнозы относительно изменений политики США, их отказа от позиции силы — прогнозы, которые широко появлялись и появляются каждый раз накануне встреч на высшем уровне между советским и американским руководителями. Решающими факторами здесь являются соотношение сил на мировой арене, рост и активность потенциала мира, но немало зависит и от степени реализма правящих кругов Запада в оценке обстановки. Между тем они-то как раз и не хотят «трезво оценивать реальности мира... что снижает вероятность крупных изменений в политике господствующих сил»<sup>10</sup>. С дизъюнктивными событиями <sup>11</sup> все происходит наоборот. Малая вероятность элементарного события служит ориентиром, психологическая привязка к которому занижает интуитивную оценку вероятности дизъюнктивного события. Так бывает с ожиданием отрицательного исхода голосования в собраниях, члены которого обладают правом вето.

Было бы полезно найти какую-то «золотую середину» между двумя указанными крайними типами мышления. Надо сказать, что представители точных наук с большей, нежели гуманитарии, готовностью встают на путь, ведущий к «золотой середине». В подтверждение приведем высказывание Д. Пойа, который, в свою очередь, цитирует Жака Адамара. «Я полагаю,— говорит он,— что каждый человек, в том числе и математик-профессионал, предпочтет интуитивное понимание предмета формально-логическим построениям. Жак Адамар — выдающийся математик нашего времени — выразил эту мысль в таких словах: „Цель математической строгости состоит в том, чтобы санкционировать и узаконить завоевания интуиции,— и никакой другой цели у нее никогда не было“»<sup>12</sup>. Со своей стороны, «традиционные» политологи оказываются, как это ни парадоксально, самыми большими «экстремистами»: они либо решительно отвергают математические методы, либо — и о них здесь пойдет речь,— пытаясь стать «святейшей папой римского», строят математические модели политических процессов и рассматривают эти модели как истину в конечной инстанции.

Системный подход выступает в современной науке как частнометодологическая концепция, призванная сформулировать в систематическом виде совокупность методов исследования систем различной природы и тем самым «нащупать» искомую «золотую середину». При этом системный анализ не претендует на решение задач общей, философской методологии (это «внутренняя» задача философии), однако полученное в нем методологическое знание выступает в качестве конкретизации и дальнейшего развития соответствующих разделов философской методологии.

Системная методология начинается с описания проблемы как системы. Проблема с точки зрения теории систем представляет собой совокупность трех наборов элементов:

- 1) множество целей;
- 2) множество свойств проблемы;
- 3) способы, которыми достигается множество целей<sup>13</sup>.

Так, проблема власти описывается множеством целей власти, структурными и функциональными свойствами, а также способами осуществления власти. Формальная концептуализация власти, позволяющая измерять характеристики власти и соединяющая эмпирическое исследование с математической моделью, — важная, но и очень трудная задача, ибо правильному ее решению мешают четыре «проклятия»:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1) субъективность; | 3) неопределенность; |
| 2) размерность;    | 4) размытость.       |

«Субъективность» обусловлена наличием людей в узлах сети власти (отношений власти). Если к сетям власти с их огромным количеством узлов и взаимопереплетений подходить с позиций классического системного анализа, то сведения об их свойствах могут оказаться необозримыми, а структура — в силу большой размерности — не поддающейся анализу. Развитие и функционирование систем власти всегда протекает при той или иной степени неопределенности, которая пронизывает всю сферу властеотношений (неполная определенность внешней среды и внутренних свойств власти, неполная определенность ее целей). Понятие «размытости» — относительно новое понятие, однако, благодаря работам Заде и других<sup>14</sup>, оно уже нашло широкое применение. Размытость рассматривается как промежуточное качество между четкостью, с одной стороны, и неопределенностью — с дру-

гой, причем в предельных случаях размытость переходит в четкость или неопределенность.

«Неопределенность» обычно рассматривается как статистическое понятие. Однако трактовка ее как показателя отсутствия статистического различия (равная вероятность) при выборке или появлении рассматриваемых объектов характеризует лишь одно из проявлений неопределенности. Неопределенность в общем случае бывает качественной и количественной. Качественная неопределенность — ее еще называют неопределенностью границы — характеризует отсутствие различия в пределах рассматриваемых признаков между объективно различимыми элементами. Количественная (внутренняя) неопределенность характеризует отсутствие различия между элементами, находящимися внутри множества. В обоих случаях неопределенность может быть как статистической, так и детерминистской, а в общем случае — комплексной, статистически-детерминированной. Последнее означает, что объективно различные множества или элементы (различие определяется хотя бы тем, что им присваиваются разные идентификаторы) вследствие объективных и субъективных причин в рамках рассматриваемой ситуации распределения власти оказываются не имеющими различия не только в отношении статистики их появления, но и в отношении их свойств, структуры или состава.

Неопределенность и размытость имеют некоторую общность как показатель недостаточности знания, осведомленности, наблюдаемости объектов и явлений. Упрощенно можно представить, что неопределенность — это низшая ступень нашего знания, а размытость — это некоторые дополнительные знания внутри неопределенности <sup>15</sup>.

Таким образом, проблема власти оказывается зависящей от наблюдателя, многомерной, неопределенной и размытой. Это цена, которую приходится платить за применение системного подхода — отнюдь не универсального — к познанию власти, которое требует в идеале собственно-го, адекватного предмету познания аппарата.

Отказ от уплаты этой дани или признание ее катастрофической ведет к преувеличению или, соответственно, к преуменьшению возможностей системного анализа власти, что по существу является особыми стратегиями самой власти. Расчет на системный анализ как на магический инструмент, игнорирование «проклятий» проблемы власти представляет собой «увод в сторону» к изучению некоей псевдовласти, описанной математически и создающей ил-

люзию адекватности власти реальной. При этом обнаружение любых слабых звеньев и промахов власти-модели практически ничем не угрожает действительной власти, которая тем не менее извлекает из проводимого анализа свои уроки. Противоположный случай — принижение системного подхода — означает своеобразное «установление потолка познания», признание непознаваемости власти, что дает ей определенные выгоды.

Необходимо трезво оценивать возможности системного подхода и понимать, что математически строгая постановка задачи и получение численных результатов сами по себе еще не решают всех проблем, возникающих при анализе политической ситуации. Модели, как правило, являются хорошими иллюстрациями, и применение кибернетизированных схем в политике должно сочетаться с содержательным политическим анализом изучаемого феномена. В. И. Ленин писал по этому поводу: «Мы подошли теперь... к вопросу о цифирных схемах и об их значении... Схемы сами по себе ничего доказывать не могут; они могут только *иллюстрировать* процесс, если его отдельные элементы выяснены теоретически»<sup>16</sup>. Вместе с тем, квалифицированно и искусно построенная модель может позволить учесть большинство наиболее существенных факторов, влияющих на окончательный результат, а также достаточно полно отразить основные существующие между ними связи. Поэтому никакие скептические и негативные оценки, даваемые теоретическим и эмпирическим поискам западных системологий власти, не освобождают нас от необходимости аналитического и критического разбора их опыта, чтобы выделить наиболее ценное и наметить пути развития этого направления.

## 2. Власть: категориальный анализ

Системная концептуализация власти, допускающая измерение ее характеристик, существенно зависит от выбираемого понятия и соответствующей меры власти. «Сравнительное исследование... структур власти в сообществах затрудняется отсутствием надежных индикаторов концентрации власти», — пишет Дж. Уильямс<sup>17</sup>. Действительно, большинство попыток измерить распределение власти осуществлялось упрощенно, посредством новых определений власти. В результате измерялось что угодно, только не власть.

Анализ категории власти ведется англо-американскими исследователями по пяти направлениям:

- 1) Власть как характеристика индивидуума (персональная власть).
- 2) Власть как межперсональная конструкция.
- 3) Власть как ресурс (товар).
- 4) Власть как причинная конструкция.
- 5) Власть как философская конструкция.

Каждый из этих аспектов иллюстрирует те или иные стороны понятия власти, а взятые в совокупности они дают более или менее целостное представление о категории власти, по крайней мере в той форме, в какой она используется в политологических и конкретно-социальных исследованиях.

При рассмотрении власти как исключительно персонального атрибута она интерпретируется как взаимодействие индивида с окружением, причем ключевым моментом здесь оказывается мотивация власти. Сущность власти — в самих индивидах<sup>18</sup>. Власть описывается как «исключительно человеческий феномен»<sup>19</sup>, и даже постулируется, что жажда власти заложена в самой природе человека<sup>20</sup>. Как выразился А. Берль, «власть — человеческий атрибут, она не существует без своего носителя»<sup>21</sup>. С точки зрения проявления власти характерным является определение ее как «способности вызывать изменения в своем окружении так, чтобы получать желаемый эффект»<sup>22</sup>.

Что же касается мотивации власти, то она определяется как «предрасположенность к достижению определенного рода целей»<sup>23</sup>. Различаются внутренние и внешние мотивы<sup>24</sup>. Существуют также иные, более частные классификации<sup>25</sup>.

Второй взгляд на категорию власти, когда она рассматривается как межперсональная конструкция, делает ее атрибутом социальных отношений. Эта линия идет от Г. Лассуэлла («Власть есть межличностная ситуация»<sup>26</sup>) и является наиболее популярной<sup>27</sup>. Изучение власти в пределах некоторой социальной матрицы требует, чтобы в первую очередь принимались в рассмотрение изменения, которые индивид *A* мог бы произвести в индивиде *B* вопреки его сопротивлению. Важную роль также играет восприятие индивидуумом *B* индивидуума *A*. Принципиальной является и взаимность отношений власти.

Третье направление трактует власть как товар и опирается на понятие «стоимость». Важно не только обладание ресурсами, но и их ценность для носителя власти.

Одним из первых стал изучать ценность власти Дж. Харсани<sup>28</sup>. Он провел различие между ценой власти *A* над *B* и силой власти *A* над *B*. Под ценой он подразумевал стоимость той части принадлежащих *A* ресурсов, которые нужны ему для влияния на поведение *B*. Сила власти *A* оценивалась стоимостью того, что потребовалось бы *B*, дабы не допустить воздействие, которое желает совершить *A*. Этот подход позволил различать степени власти. Иными словами, если индивиду некоторое воздействие стоит меньше, чем другому, и совершается при этом с меньшим, нежели у второго, сопротивлением, то первый индивидуум обладает большей властью по сравнению со вторым.

Интерес к власти как к асимметричному причинному феномену породил четвертое направление<sup>29</sup>. Его сторонники утверждали, что единственное жизнеспособное определение власти — такое, которое трактует ее как тип причинности. Такая позиция обосновывалась четырьмя аргументами. Во-первых, есть немалое сходство между причинностью и властью (например, и то и другое характеризуют отношения между индивидами и являются асимметричными). Во-вторых, рассмотрение власти как причинной конструкции позволяет избежать тавтологий в определениях, что свойственно ресурсному подходу. В-третьих, взгляд на власть как на тип причинности позволяет использовать широкий диапазон эмпирических методов и статистических процедур. Наконец, причинная теория могла бы подчеркнуть потенциальность власти. Например, «он может причинить» — потенциальная власть, «он причинит» — предсказуемая власть, «он причинил» — актуализированная (реальная) власть<sup>30</sup>.

Рассмотрение власти с философской точки зрения наиболее дифференцировано: обсуждается моральность и аморальность власти, ее ценность, соотношение между властью и ответственностью, влияние социальных норм на декларации о власти<sup>31</sup>. Это, однако, наиболее трудный материал для системного освоения.

Итак, власть как характеристика индивидуума ставит личность в центр проявлений власти и тем самым обуславливает субъективность проблемы власти. Ориентация на взаимодействие с окружением вносит некоторую неопределенность. Межперсональная конструкция власти значительно увеличивает размерность задачи. Все три фактора с новой силой проявляются при ресурсном подходе к власти, который требует введения определенной системы



ценностей. Философские определения власти, снижая неопределенность, вносят в проблему свойство размытости.

Но объединяются ли в рамках системного подхода все эти трактовки власти в единое целостное представление? А если объединяются, то позволяют ли сформулировать операциональное определение <sup>32</sup> власти?

Наиболее употребительными и исходными для различных системных интерпретаций власти являются в буржуазной политологии определения власти, данные М. Вебером и Б. Расселом. «Власть,— писал Вебер,— есть вероятность волевого преобразования социальных отношений субъектом вопреки сопротивлению и независимо от того, на чем основывается эта вероятность»<sup>33</sup>. Несмотря на то, что это определение уже в явном виде использует математическую терминологию («вероятность»), оно малопригодно в качестве рабочей модели в эмпирических исследованиях, хотя и не исключает полностью подобное использование. Б. Рассел в одном из своих экскурсов в теорию власти сказал следующее: «Власть может быть определена как реализация намеченных целей»<sup>34</sup>. Метафоричность данного определения еще более очевидна.

Известные на сегодняшний день определения власти, отмечает Д. Уайт, в большинстве своем метафорического характера, как правило, затрагивают один или несколько атрибутов власти — ее природу, потенции, движущие силы, стоящие за ней интересы. Такого рода определения власти ни в коей мере не могут удовлетворить современных исследователей, пытающихся использовать эмпирические методы <sup>35</sup>.

Долгое время вполне пригодным для эмпирических исследований считалось определение власти, данное Г. Лассуэллом и А. Капланом в их известной книге «Власть и общество». Выглядит оно следующим образом: «Власть есть участие в принятии решений: *A* имеет власть над *B* в отношении ценностей *K*, если *A* участвует в принятии решений, влияющих на политику *B*, связанную с ценностями *K*»<sup>36</sup>. При этом решение есть «политика, допускающая определенные санкции (лишение чего-либо)»<sup>37</sup>, а политика — это «спланированная программа, обозначающая цель, ценности и практические шаги»<sup>38</sup>. С тех пор, однако, трактовка власти значительно расширилась и вобрала в себя такие понятия, как влияние и авторитет. Сегодня типичной для западных исследователей является следующая схема конструирования определения власти:

---

Контроль ресурсов как основание вла- сти	→	Процессы, преобра- зующие основания власти в проявле- ния власти	→	Сеть обобщенных отношений влия- ния как проявле- ние власти
--	---	---	---	--

---

Первый этап касается оснований власти — властеобразующих ресурсов (политических ресурсов). Это требует определения того, что есть «политический ресурс». Хотя попытки дать такое определение редки, выделяются два значения этого термина: «остенсивное» (наглядное) и «телеологическое» (целевое). Ресурсы в остенсивном смысле предполагаются явно выраженными и легко исчислимыми, как, например, деньги, оружие, товары, население и т. п.

Основная проблема здесь состоит в том, что невозможно подобрать для них некий универсальный, «родовой» ресурс<sup>39</sup>. Кроме того, при одних условиях такие ресурсы могут рассматриваться как властные, при других — не иметь к власти прямого отношения. Наконец, то, что является ресурсом для одного, не обязательно оказывается таковым для другого. Эти трудности остенсивного способа определения политических ресурсов склонили ряд исследователей к телеологическому анализу. Они восприняли определение политического ресурса, данное Р. Далем, как «всего, что индивид или группа может использовать для влияния на других»<sup>40</sup>. Это, однако, мало улучшает ситуацию, так как не дает возможности объяснить, кто и почему обладает властью. Все объяснения, которые отсюда можно получить, сводятся к виду: «Х обладает властью, поскольку у него есть то, что дает власть». А это не что иное, как тавтология.

Прослеживание связи власти с определенными ресурсами обусловлено уяснением особой важности прерогативы распределения ресурсов. Отсюда берет начало так называемый «статусный подход» к изучению власти, при котором в системе вычленяются те субъекты, которые обладают статусом, позволяющим им контролировать максимально возможное количество властеобразующих ресурсов. Ключевым моментом здесь является установление того, какие ресурсы в каждом конкретном случае являются властеобразующими и какова должна быть степень контроля их, чтобы можно было говорить об обладании властью. Но если вообще все факторы власти (интересы правящих, обладающих властью социальных — когда речь

идет о политической власти — сил, их идеологические, общественные, ценностные, материальные и прочие возможности) считать ресурсами, то такое слишком широкое техницистское рассмотрение оснований власти размывает, мешает выделить среди них предельное основание — основу власти. Кроме того, властеобразующие ресурсы — это, скорее, средства приобретения, осуществления власти, а не основания. Но если это так, то опять выпадает исходная основа: кто, для чего, с какой целью, над кем осуществляет власть, используя ресурсы (материальные, социальные и проч.). Еще одним недостатком статусного подхода оказывается игнорирование такого использования ресурсов, которое оказывает воздействие на других обладающих подобными ресурсами субъектов.

Завершающий этап связан с разнообразными проявлениями власти. Какой из субъектов будет рассматриваться другими как «обладающий властью»? Если субъект *A* способен достаточно уверенно предопределить результаты воздействий на субъект *B*, тогда *A* есть «обладающий властью» по отношению к *B*. Проявляемым распределением власти в системе субъектов окажется в этом случае некоторая сеть взаимовлияний и отношений «доминирование — подчинение». К иным возможным проявлениям власти западные исследователи относят различные схемы голосования «за» и «против» действий, представляющих интерес для субъекта власти; распределение доступа к информации<sup>41</sup>; распределение времени ожидания<sup>42</sup> и другие формы зависимости одного субъекта от другого<sup>43</sup>. Заметим, что здесь совершается скрытая подмена собственно власти ее артефактами, действиями власти.

Имеется и другой аспект. Субъект *B* оказывается зависимым от субъекта *A*, если *B* воспринимает *A* как обладающего властью по отношению к нему самому. Таким образом, влияние одного субъекта на другого определяется и восприятием некоторой субординации. Конечно, восприятие власти — чрезвычайно важный вопрос, но не он определяет факт власти. Между тем отождествление власти с ее проявлениями весьма популярно среди буржуазных ученых, поскольку подталкивает социолога к сравнительно простому измерению отношений, оставляя в стороне вопрос, *почему* один субъект влияет на другого, т. е. отделив власть от политики.

Это направление породило «репутационный подход» к изучению власти и подход, основанный на схеме принятия решений<sup>44</sup>, при которых лидерами в системе считаются,

соответственно, субъекты, которые имеют репутацию «обладающих властью» или вовлечены в принятие решений и способны учитывать последствия тех или иных воздействий. Предпринимались и попытки объединить указанные подходы <sup>45</sup>. Общий недостаток обоих подходов состоит в том, что в них просто отсутствует проблема того, как, собственно, связаны контроль ресурсов и распределение влияния.

Промежуточный этап увязывает начальный и завершающий. Основания власти преобразуются в проявления власти посредством процессов осуществления власти. То есть происходит трансформация властью ресурсов во влияния. Иначе говоря, ресурсы используются в целях, поставленных властью. Фактически происходит отождествление власти с процессом ее осуществления, что не слишком привлекательно по трем причинам. Первые две из них — методического характера, последняя — по порядку, но не важности — методологическая.

Во-первых, трудно фиксировать способы трансформации ресурсов во влияния. Люди, действуют ли они как индивидуумы или как члены организации, чрезвычайно изобретательны в достижении своих целей. А постоянно изменяющиеся условия порождают все новые возможности, а следовательно, и новые процессы осуществления власти. Если же исходить из условий, связанных со спецификой системы, то это приведет скорее к идиографическому (т. е. определяемому отношениями, содержание которых имеет смысл в данной системе), нежели к номотетическому (т. е. определяемому идеально-типическими формами отношений) объяснению процессов осуществления власти. Но тогда полученные результаты будут обладать значительно меньшей степенью общности, чем желали бы исследователи, а применяемые ими приемы — значительно меньшей универсальностью, чем хотелось бы.

Во-вторых, неясно, как измерить способность субъектов использовать те или иные процессы преобразования. Эта способность имеет свои пределы из-за правовых барьеров в обмене ресурсами, социальных и экономических ограничений, различных механизмов угроз и санкций, изменяющих поведение субъектов. Короче говоря, хотя процессы осуществления власти составляют существенную сторону концепции власти, отнюдь не очевидно, каким образом проводить общую концептуализацию, исходя из полунтуитивного понимания систем субъектов, заложенного в описываемую конструкцию.

И третье. При указанном отождествлении элиминируется чрезвычайно важная связь между властью и ее осуществлением, т. е. то главное, для чего существует власть: для осуществления политики. Осуществление власти — это уже не власть, а ее политика, политика данной власти, ею осуществляемая с целями, ради которых существует власть. Если же считать, что власть осуществляется ради самой власти, то это подразумевает власть как самоцель, что в реальности, как правило, не происходит, если не считать экстремальные случаи чистой бюрократии, деспотии и т. п. Но и то — при всех условиях любое осуществление власти есть политика.

Последовательно проходя все три указанных этапа, западные политологи получают с теми или иными вариациями определение власти следующего типа: «Власть метафорически определяется как способность превращать определенные ресурсы во влияние в рамках системы взаимосвязанных субъектов. Так понимаемая власть есть способность субъекта реализовывать свои интересы в рамках системы вопреки сопротивлению других субъектов»<sup>46</sup>. Видно, что в нем нет указания (и понятно почему) на цели, содержание, средства власти, и — самое главное — нет политики. Конечно, власть можно определить и без политики. Но не политика существует ради власти, а власть — ради проведения политики, и их нельзя рассматривать раздельно. Разумеется, западные политологи заинтересованы в таком раздельном анализе, ибо он избавляет их от необходимости давать ответы на некоторые «трудные» вопросы и позволяет с помощью упрощенной формализации строить модели псевдовласти.

### 3. Системное описание власти

Представители англо-американской школы системного моделирования власти решают свои задачи довольно однородными способами, основанными на некоторых общих допущениях. Перечислим их.

Система субъектов, отношения власти между которыми подлежат описанию, считается состоящей из субъектов, которые по сравнению с субъектами окружающих систем эквивалентны между собой по своей внутренней структуре, т. е., огрубляя, подобны друг другу. Кроме того, принимается, что субъекты данной системы могут реализовывать свои интересы без ограничений со стороны

других систем. Конечно, это известное упрощение, ибо значительная часть ресурсов поступает как раз от окружения, из других системных образований. Однако последним следует пренебречь и считать исследуемую систему автономной, в противном случае сложность задачи возросла бы неимоверно.

Субъект власти социально и психологически существует сегодня, будучи сформирован прошлыми условиями, и оценивает свое будущее с учетом текущих условий. Тем более, что социально и психологически он существует в системе множества других субъектов. Следовательно, распределение власти среди субъектов в любой данный момент времени есть функция а) исторических и текущих условий и б) способности каждого субъекта в сравнении с другими контролировать текущие и отслеживать предыдущие исторические условия. Ключевым моментом здесь оказывается соотнесение каждого из субъектов с остальными субъектами системы, т. е. указание на структурное существование субъекта.

Далее обратим внимание на следующую посылку. «Когда общество находится в состоянии устойчивого равновесия, тогда, вероятно, должно быть тесное соответствие между распределением власти и распределением социальных ценностей»<sup>47</sup>. Стало быть, в данный момент времени, когда система находится в состоянии устойчивого равновесия, можно описать и существующее распределение ресурсов, и структуру сети отношений между субъектами. Такое описание фиксирует лишь статические свойства системы. Но система существует во времени, которое изменяет текущие условия (и превращает их в исторические), что потенциально может повлиять на тех или иных субъектов. Если (еще одна посылка) «субъекты ставят своей целью такой контроль над властеобразующими ресурсами, который улучшает (по крайней мере, не ухудшает) их положение»<sup>48</sup>, то, видимо, каждый субъект будет пытаться контролировать в первую очередь ресурсы, необходимые для регулирования факторов, наиболее воздействующих на него. Такие властеобразующие ресурсы называют значимыми ресурсами. Заметим, что здесь незаметно вкрадывается погрешность — проблему власти нельзя сводить к контролю над властеобразующими ресурсами.

Контроль значимых ресурсов в принципе осуществим двумя способами:

1) через обмен ресурсами (непосредственный способ);

2) через регулирование отношений между субъектами (опосредованный способ).

Разумеется, весьма существенным упрощением оказывается то, что ресурсы надо прежде получить, открыть, добыть, применить. Однако такое упрощение принципиально допустимо, хотя следует иметь в виду, что это не может не сказаться на надежности результатов.

Итак, в некоторый новый момент времени система субъектов будет описываться новым распределением значимых ресурсов и/или новой структурой отношений между субъектами. Ожидаемые изменения в системе при переходе от начального момента времени к новому составляют сравнительную статику свойств системы.

При сделанных предположениях многочисленные подходы, методы, попытки системного моделирования власти, предлагаемые буржуазной политологией, укладываются в общие рамки трех следующих операциональных концептуализаций власти <sup>49</sup> (см. таблицу). Прокомментируем их.

Концептуализация власти как влияния идет дальше традиционной репутационной меры власти, разделяя общее влияние субъекта в некоторой системе субъектов на уровни влияния в пределах структурных подсистем субъектов, а именно внутри сфер влияния. Эта концептуализация отождествляет власть и ее проявление с межсубъектными отношениями влияния. Невозможность выделить контроль ресурсов в этой концептуализации объясняется тем, что система субъектов рассматривается исключительно в статике либо реагирующей на внешние воздействия некоторым неизвестным образом. Сравнительная статика свойств при этом, естественно, попросту отсутствует.

Идя несколько дальше, концептуализация власти как контроля над значимыми ресурсами через обладание ими специфицирует власть как ненаблюдаемый феномен, своего рода «черный ящик», вход которого определяется обладанием значимыми ресурсами, а выход — влиянием в пределах некоторой сферы влияния. Конечно же, речь идет не о том, что сама власть «не знает», что и как она контролирует. Не может уловить, «пощупать пальцами» власть наблюдатель, исследователь. Но он видит и может определить значимые политические ресурсы, от которых, как он считает, зависит распределение власти, а также фиксирует влияния, которые оказывают те или иные субъекты, т. е. устанавливает проявления власти. Данная концептуализация выводит власть из ее оснований и проявлений, не требуя точного описания процессов, посредством кото-

*Три возможных типа концептуализации власти*

	Власть как влияние	Власть как контроль над значимыми ресурсами через обладание	Власть как контроль над значимыми ресурсами через обладание с ограничениями
<b>Исходные для концептуализации характеристики власти:</b> — основания власти — процесс осуществления власти — проявление власти	Нет	Есть	Есть
	Нет	Нет	Есть частично
	Есть	Есть	Есть
<b>Статистические свойства:</b> — смысл различия власти субъектов — основания для распределения власти среди субъектов	Различия в схемах отношений влияния	Разница в комбинациях ресурсов, которыми обладает субъект	Разница в комбинациях ресурсов и схемах обмена между субъектами
	Невыделимы	Обладание ресурсами (возможное как для отдельных субъектов, так и для их объединения)	Обладание ресурсами (возможное как для отдельных субъектов, так и для их объединения), а также косвенные ограничения на использование ресурсов через отношения обмена между субъектами
<b>Сравнительная статика свойств системы:</b> — принцип изменения существующего распределения власти при воздействии внешних факторов	Нет	Обмен ресурсами с целью увеличить обладание теми из них, которые представляют наибольший интерес для данного субъекта	Манипулирование отношениями обмена на такое, что каждый субъект стремится присоединиться к позициям тех субъектов, которые обладают ресурсами, представляющими наибольший интерес для него



рых обладание ресурсами преобразуется во влияние.

Последняя оговорка, безусловно, навлекает серьезную критику. Но не нужно забывать, что построение адекватной математической модели — процесс долгий, весьма сложный и часто осуществляется последовательными приближениями к удовлетворительно работающей модели от довольно грубой простейшей через ряд улучшающих друг друга моделей. Так и рассматриваемая концептуализация обеспечивает существенное аналитическое продвижение вперед, благодаря использованию канонической корреляционной модели, которая обеспечивает исследователя средствами количественной оценки. Кроме того, в такой концептуализации уже имеет смысл сравнительная статика свойств системы, поскольку субъекты оказываются способными изменять степень обладания и контроля ресурсов в зависимости от интересов. Стоит обратить внимание на, пожалуй, чрезмерное упрощение в этой части модели: обладание ресурсами и контроль над ними в реальности определяются далеко не только интересами.

Еще дальше идет концептуализация власти как контроля над значимыми ресурсами через обладание с ограничениями. Здесь также власть рассматривается как «черный ящик» с контролем ресурсов на входе и влиянием в пределах сфер влияния на выходе. Однако контроль ресурсов здесь трактуется более полно: помимо обладания, в него включаются ограничения на использование ресурсов.

Ограниченное, т. е. введенное в границы, использование ресурсов одним субъектом может частично совпадать (пересекаться) с использованием ресурсов в иных границах другим субъектом. Это пересечение по сути определяет отношения обмена ресурсами между субъектами. В этой модели власть субъекта есть степень владения им ресурсами, зависящая от его позиции в сети обменных отношений. Эта концептуализация обладает теми же плюсами и минусами, что и предыдущая. Однако она позволяет сделать эмпирические оценки более точными, поскольку учитывает не только обладание политическими ресурсами и влияние субъектов, но и обменные отношения. Заметим, что ресурсы могут оказаться и неотчуждаемыми от субъектов, т. е. необмениваемыми. Поэтому сравнительная статика свойств при данной концептуализации предполагает, что субъекты будут реагировать на воздействия не столько непосредственно через обмен ресурсами, сколько манипулированием сетью (или сетями) отношений.

Таким образом, набирается четыре типа операционализируемых описаний власти. Наиболее примитивно (а потому даже не включено в табл.) «репутационное» описание, основанное на простейшей мере — репутации данного субъекта среди других. Широко распространенное описание власти как влияния точнее, поскольку в нем субъекты «погружаются» в некоторую структуру. Трактовка власти как контроля над значимыми ресурсами через обладание еще полнее, так как учитывает различия «статусов» субъектов, т. е. их возможности по обладанию различными типами ресурсов. Ближе других приближена к реальности модель власти как контроля над значимыми ресурсами через обладание с ограничениями, описывающая также и различия в схемах обменных отношений.

Из приведенных рассуждений следует, что власть одного субъекта имеет смысл (и может моделироваться) только относительно уровней власти других субъектов. Следовательно, можно выдвинуть следующую гипотезу о критерии выбора модели: та концептуализация власти наилучшим образом будет предсказывать потенциальную степень реализации субъектом своих интересов вопреки сопротивлению других субъектов, которая наиболее полно отразит многоаспектность структурного бытия субъекта власти в данной системе субъектов.

\* \* \*

Модели, которые мы рассмотрели, нельзя «исправить», даже учтя все наши возражения и замечания. Но тем не менее они полезны, потому что они работают. «Проклятье» размерности можно преодолеть декомпозицией проблемы и последующим «сшиванием» полученных решений. После декомпозиции может оказаться, что для анализа какой-то части проблемы нужны именно модели такого типа.

А как быть с оставшимися тремя «проклятьями»? По-видимому, единственный путь здесь — разработка специального математического аппарата. Математические средства, применяемые сегодня в политологии, в подавляющем большинстве случаев были заимствованы из смежных социальных наук, которые, в свою очередь, почерпнули их из естественных наук, прежде всего из физики. Если экономика и социология получили математические методы, так сказать, из вторых рук, то политология — из третьих. Между тем заимствование аппарата из физики вызывает возражение. Оно предполагает скрытое отождествление логической структуры физических и социаль-

ных процессов, рассмотрение социальных процессов как разновидности физических.

Математик предлагает политологу не совсем то, что тому надо. Духу политологии больше соответствовала бы «размытая» теория типа Заде. Идеальная точность, которую предлагает математика, политологу не требуется, ему нужны робастные, т. е. надежные в некотором интервале, результаты.

Теорию Заде восприняла и социология, но политологии этого мало: требуется еще включение в модель наблюдателя. Однако до сих пор не существует таких теорий с адекватным математическим аппаратом. Что это: неизбежное роковое обстоятельство или «просто» результат несуществования математической теории, о которой здесь идет речь и в которой идея приближенности, неопределенности, размытости будет заложена органически; в которой «точное» будет в то же время означать «оптимально приближенное»?

Построение подобной теории (если вообще верить в его возможность) будет очень трудным, но не совсем в том смысле, как бывают трудны математические проблемы типа: доказать или опровергнуть данное утверждение. Видимо, сама ее логическая структура должна сильно отклоняться от общепринятых схем. Возможно, в нашей гипотетической теории придется принять, что каждый объект обладает собственной «точкой зрения», что участие объекта в конструировании другого объекта некоторым образом влияет на первый объект, вызывает в нем какие-то изменения. По-видимому, только идя по этому пути, мы сможем преодолеть существующие «проклятия» системного анализа политики вообще и власти в частности.

<sup>1</sup> См.: *Lasswell H. D.*, *Kaplan A.* Power and society. New Haven, 1950; *Adorno T. W.* et al. The authoritarian personality. N. Y., 1950; *Simon H. A.* Notes on the observation and measurement of political power // *J. Polit.* 1953. N 15. P. 500—516; *Dahl R. A.* Hierarchy, democracy and bargaining in politics and economics: Research frontiers in politics and government. Wash. (D. C.), 1955. P. 45—69; и др.

<sup>2</sup> См.: *Sharley L.*, *Shubik M.* A method for evaluating the distribution of power in a committee system // *Amer. Polit. Sci. Rev.* 1954. Vol. 48. P. 787—792; *Harsanyi J. C.* Measurement of social power, opportunity costs, and the theory of two-person bargaining games // *Behav. Sci.* 1962. Vol. 7. P. 67—80; *Coleman J. S.* The mathematics of collective action. Chicago, 1973; и др.

<sup>3</sup> См.: *Hunter F.* Community power structure. N. Y., 1953; *Dahl R. A.* Who governs? New Haven, 1961; *Patterns of local com-*

- munity leadership. Indianapolis, 1968; *Aiken M., Mott P. E.* The structure of community power. N. Y., 1970; *Laumann E. O., Pappi F. U.* Networks of influence: New directions in theory and methodology for the study of community influence systems. N. Y., 1976; и др.
- <sup>4</sup> См.: *Macrae D.* Issues and parties in legislative voting. N. Y., 1970; *De Swaan A.* Coalition theories and cabinet formations. San Francisco, 1973; и др.
  - <sup>5</sup> См.: *Allen M. P.* The structure of interorganizational elite cooptation: interlocking corporate directorates // *Amer. Sociol. Rev.* 1974. Vol. 39. P. 393—406; *Lustgarten S. H.* The impact of buyer concentration in manufacturing industries // *Rev. Econ. and Statist.* 1975. Vol. 57. P. 125—132; и др.
  - <sup>6</sup> См.: *Burt R. S.* Network data from informant interviews // *Applied network analysis.* Beverly Hills, 1981. P. 133—157; *Siverson R. M., Sullivan M. P.* The distribution of power and onset of war // *Conflict Resolution.* 1987. N 27. P. 473—494; *Power, politics, and organizations: A behavioral science view.* N. Y. etc., 1984; *Frey F. W.* The problem of actor designation in political analysis // *Comp. Polit.* 1985. N 17. P. 127—152; *Frey F. W.* The distribution of power in political systems // *Prepr. for the 13th World Congr. of the Intern. polit. sci. assoc. P., 1985; International political science association.* S. l., 1985; *Cerny P. G.* Structural power and state theory // *Ibid.*
  - <sup>7</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 41.
  - <sup>8</sup> См.: *Фейнберг Е. Л.* Кибернетика, логика, искусство. М., 1981. С. 5.
  - <sup>9</sup> Конъюнктивным называется такое сложное событие, которое имеет место только при осуществлении всех простых событий, входящих в его состав.
  - <sup>10</sup> Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986. С. 12.
  - <sup>11</sup> Дизъюнктивным называется такое сложное событие, для которого достаточно хотя бы одного простого события из его состава.
  - <sup>12</sup> *Пойа Д.* Математическое открытие. М., 1970. С. 313.
  - <sup>13</sup> См.: *Дружинин В. В., Которов Д. С.* Проблемы системологии. М., 1976. С. 73.
  - <sup>14</sup> См.: *Заде Л.* Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976; *Котман А.* Введение в теорию нечетных множеств. М., 1982; и др.
  - <sup>15</sup> См.: *Горский Ю. М.* Информационные аспекты управления и моделирования. М., 1978. С. 7—23.
  - <sup>16</sup> *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 51—52.
  - <sup>17</sup> *Williams J. M.* The ecological approach in measuring community power concentration: An analysis of Hawley's MPO ratio // *Amer. Sociol. Rev.* 1973. Vol. 38. P. 230.
  - <sup>18</sup> *Hillebrand J. J.* Power and morals. Chicago, 1949; *Guardini R.* Power and responsibility: A course of action for the new age. Chicago, 1961; *Votaw D.* What do we believe about power? // *Cal. Manag. Rev.* 1966. N 8. P. 71—88.
  - <sup>19</sup> *Guardini R.* Op. cit. P. 3.
  - <sup>20</sup> *Sampson R. V.* The psychology of power. N. Y., 1965.
  - <sup>21</sup> *Berle A.* Power. N. Y., 1969. P. 60.
  - <sup>22</sup> *Minton H. L.* Power as a personality construct // *Progress in experimental personality research.* N. Y., 1967. Vol. 4. P. 229.

- <sup>23</sup> *Winter D. G.* The power motive. N. Y., 1973. P. 10.
- <sup>24</sup> *Minton H. I.* Power and personality // The social influence processes. Chicago, 1972.
- <sup>25</sup> Power, politics, and organizations. P. 5—7.
- <sup>26</sup> *Lasswell H. D.* Power and personality. N. Y., 1948. P. 10.
- <sup>27</sup> *Martin N. H., Sims J. H.* Thinking ahead: power tactics // Harvard Bus. Rev. 1956. Nov.—Dec. P. 25—36, 140; *Emerson R. A.* Power-dependence relations // Amer. Sociol. Rev. 1962. Vol. 27. P. 31—41; *Dornbusch S., Scott W. R.* Evaluation and exercise of authority. San Francisco, 1975; Power, politics, and organizations. P. 7—10. См. более подробно об этом в главе «Власть и политический реализм» А. Л. Алюшина и В. Н. Пору-са настоящей книги.
- <sup>28</sup> *Harsanyi J. E.* Op. cit.
- <sup>29</sup> *Oppenheim F. E.* Dimensions of freedom: An analysis. N. Y., 1961; *Nagel J. H.* The descriptive analysis of power. New Haven, 1975.
- <sup>30</sup> *Nagel J. H.* Op. cit. P. 8.
- <sup>31</sup> *Rosinski H.* Power and human destiny. N. Y., 1965; *Sampson R. V.* The psychology of power; *Clarck K.* Pathos of power. N. Y., 1974; *Gross G. M.* Organizations and their managing. N. Y., 1968.
- <sup>32</sup> Операциональное определение—определение через последовательность операций, допускающих эмпирическое измерение.
- <sup>33</sup> *Weber M.* Social and economic organization. N. Y., 1974. P. 152.
- <sup>34</sup> Цит. по: *White D. M.* The concept of power: Semantic chaos or underlying consensus? // Prepr. for the 11th World Congr. of the Intern. polit. sci. assoc. Moscow, 1979. P. 8.
- <sup>35</sup> См.: *White D. M.* Op. cit. P. 1—3.
- <sup>36</sup> *Lasswell H. D., Kaplan A.* Op. cit. P. 75.
- <sup>37</sup> Ibid. P. 74.
- <sup>38</sup> Ibid. P. 71.
- <sup>39</sup> *Baldwin D. A.* Power analysis and world politics: New trends versus old tendencies // World Polit. 1979. N 31. P. 164.
- <sup>40</sup> *Dahl R. A.* The analysis of influence in local communities // Social science and community action. East Lansing, 1960. P. 31; *Idem.* Modern political analysis. Englewood Cliffs, 1984. P. 31.
- <sup>41</sup> См.: *Coleman J. S.* Power and the structure of society. N. Y., 1974. P. 65—72.
- <sup>42</sup> См.: *Schwartz B.* Queuing and waiting. Chicago, 1975.
- <sup>43</sup> См.: *Blau P. M.* Exchange and power in social life. N. Y., 1964; *Shils E. A.* Deference // The logic of social hierarchies. Chicago, 1970.
- <sup>44</sup> См.: *Hunter F.* Op. cit.; *Idem.* Top leadership. Chapel Hill, 1959.
- <sup>45</sup> См.: *Dahl R. A.* Op. cit.
- <sup>46</sup> См.: *Freeman L.* Patterns of local community leadership. Indianapolis, 1968; *Laumann E. O., Pappi F. U.* Op. cit.; *Aiken M., Mott P. E.* Op. cit.
- <sup>47</sup> *Burt R. S.* Power in social topology // Social Sci. Res. 1977. Vol. 6, N 1. P. 4.
- <sup>48</sup> *Simon H. A.* Op. cit. P. 502.
- <sup>49</sup> *Burt R. S.* Op. cit. P. 6.

### УСМИРЕНИЕ ВЛАСТИ:

(политическая философия Б. Рассела)

В. В. МШВЕНИЕРАДЗЕ

В современной буржуазной социально-философской и политической мысли не существует какого-либо одного общепризнанного понимания власти, что, разумеется, не исключает сходства в трактовке отдельных признаков или подходах к исследованию вопроса. Разнообразие в интерпретации той или иной проблемы, в данном случае власти, борьба мнений, столкновение методов анализа, дискуссии являются, можно сказать, основным способом существования западной общественной мысли.

Даже беглое описание позволяет представить мозаичность общей картины. Если, например, Б. Рассел определяет власть как производство намеренных следствий<sup>1</sup>, то М. Вебер, хотя и не исключает момент намерения и воли, тем не менее основной акцент делает на реализации власти и понятии сопротивления как атрибута властных отношений. По его мысли, власть предполагает возможность действующего лица реализовать свою волю независимо от основы, на которой покоится эта возможность и вопреки сопротивлению других участников действия<sup>2</sup>.

М. Фуко считает, что власть надо изучать в той точке, где она проявляет себя. Он рассматривает власть в «обществе нормализации» как тесно связанную «решетку» дисциплинарных принуждений, которые включают безостановочное покорение через продолжающиеся и непрерывные процессы, подчиняющие наше тело, управляющие нашими жестами, диктующие формы поведения. Субъекты постепенно, прогрессивно и материально составляются посредством разнообразия организмов, сил, энергий, материалов, желаний, мыслей. Человек, таким образом, является субъектом в двойном смысле: он подвержен контролю и зависимости со стороны других и в то же время связан с собственной самостью своим сознанием и само-

познанием. По мысли Фуко, власть не следует понимать как твердое и однородное господство одного индивидуума над другими или одного класса или группы над другими. Власть не локализуется в каком-либо месте или в чьих-либо руках, она не присваивается как товар или богатство. Она находит свое применение и использование через сетевую организацию, а индивидуумы не только движутся между нитями и ячейками этой сети, но они всегда находятся в состоянии, когда могут и подвергаться влиянию этой власти и осуществлять ее. На властные отношения проливает свет значение непокорности и сопротивления<sup>3</sup>.

Для Р. Даля, с другой стороны, власть — это контроль над поведением, т. е. проблема ставится как «власть над». Свою «интуитивную» идею власти он иллюстрирует следующим образом: «*A* имеет власть над *B* в той степени, в какой он может заставить *B* сделать то, чего *B* не сделал бы в иных условиях»<sup>4</sup>. Х. Арендт в противоположность Дालю отмечает, что власть не есть ответ на вопрос, «кто кем управляет», она не есть собственность индивидуума, но находится в полном соответствии с человеческой способностью не просто действовать, а действовать совместно; следовательно, прежде всего надлежит исследовать систему институтов, в которых проявляется и материализуется власть<sup>5</sup>.

С этой «коммуникационной концепцией власти» выражает несогласие Ю. Хабермас, по мнению которого указанная концепция ведет к изоляции политики от экономического и социального контекста и не способна правильно объяснить множество политических явлений<sup>6</sup>. К Хабермасу, подчеркивающему необходимость стратегического использования власти, близок Н. Пулантзас, который определяет власть как способность социального класса реализовать свои специфические объективные интересы. Его теория основывается на классовой «системе отсчета», на классовой борьбе, происходящей в обществе, разделенном на классы. Эта конфликтная ситуация определяет специфические отношения господства и подчинения в практике классов, что и составляет в сущности властные отношения в обществе, в котором каждый из классов добивается удовлетворения своих интересов<sup>7</sup>.

По теории Г. Лассуэлла власть определяется степенью участия в принятии решения<sup>8</sup>, а для Т. Парсонса власть — это «система ресурсов», с помощью которых достижимы общие цели. Для этого устанавливается согласие между

членами общества, направленное на легитимизацию позиции лидерства, представители которого действуют для достижения целей системы, применяя в случае необходимости «негативные санкции». Власть — это способность выполнять определенные функции в пользу социальной системы, взятой в ее целостности. Авторитет лидерства должен быть основан на всеобщем согласии в понимании принятых норм поведения, которые, в свою очередь, базируются на «ценностях системы». Соблюдение соответствия между целями системы и консенсусом в трактовке ценностей — это единственный незыблемый фундамент власти. Следовательно, «незаконная власть» представляет собой внутренне противоречивое явление и ее действия не могут называться применением власти<sup>9</sup>.

Р. Арон отвергает почти все известные ему определения понятия «власть» на том основании, что они не учитывают психологических и других моментов, являются «формализованным и абстрактными». Их авторы не дают себе труда выяснить семантическое значение таких терминов, как «сила», «власть», «мощь», из-за чего возникает двусмысленность. Общество состоит из множества отношений «приказа и подчинения». Один и тот же индивидуум кому-то приказывает и кому-то подчиняется. В сложной системе социальной иерархии, которая по-разному проявляется в каждой общественной организации, власть представляет собой «межличностное и асимметричное» отношение, подразумевающее проявление свободы выбора. Упрощенно это выглядит так: «некто ходит или разговаривает, или берет на себя инициативу, а другие следуют за ним и слушают». С этого момента, утверждает Арон, власть перестает быть чем-то мистическим, прелестным и демоническим. Как политическое понятие власть обозначает взаимоотношение между людьми. И так как она одновременно обозначает потенциал, а не действие, то можно утверждать, что власть — это потенциал, которой владеет человек (или группа) для установления отношений с другими людьми (или группами), согласными с его собственными желаниями<sup>10</sup>.

Отдельные авторы связывают власть и ее использование с критериями, определяющими благосостояние общества и каждого его члена (Дж. Файнберг)<sup>11</sup>, или вводят новое понятие, например «корпоративная власть» (Дж. Гэлбрэйт)<sup>12</sup>, которая в современных условиях все более усиливается и которой все менее удастся скрываться за различными мифами о якобы суверенности рынка и потреби-



телей, предназначенными для создания у людей иллюзий о бесплодности поиска альтернатив.

Мы назвали лишь часть наиболее распространенных в западном обществоведении теорий власти. Уже одно их перечисление, а другой цели мы в данном случае не преследовали, показывает разнообразие подходов. Некоторые из них являются взаимодополняющими, другие — взаимоисключающими<sup>13</sup>. Известный американский историк политической мысли профессор С. Лукес ставит вопрос — возможно ли совместить различные западные концепции власти в единую теорию и выработать общее определение власти. «Может быть, но я сомневаюсь, — пишет он, — более вероятно, что сам поиск такого определения был бы ошибкой»<sup>14</sup>.

Из вышеизложенного легко заметить, что теоретические конфронтации ведутся не для нахождения кем-либо окончательного ответа и унификации теоретического политического сознания, а как бы подчеркивают необходимость вечного поиска и правомерность наличия разных подходов. В водовороте мнений и взглядов одни как бы оседают, обретая популярность, другие, разделяемые в основном только самими авторами и их немногочисленными сторонниками, остаются малозаметными, третьи вовсе исчезают.

Из распространенных сегодня теорий власти и дискуссий вокруг них подробно остановимся на концепции Б. Рассела (1872—1970). Выбор не случаен. Зрелый Рассел является классическим образцом трезвомыслящего либерального буржуазного идеолога, ученого, занимавшегося наряду со специальными исследованиями анализом именно философских проблем политики: за единичными проявлениями власти он ищет ее общие основания, за внешней эмпирической видимостью старается найти глубинную сущность.

В течение своей довольно длительной творческой жизни Рассел все больше вращался в политику, так или иначе, в теоретической и практической деятельности сталкивался с необходимостью раскрыть систему властных отношений в обществе, найти в них объективные основания и в соответствии с ними определить форму и содержание своей гражданской позиции. Его деятельность мало кого оставляла равнодушным, а его концепция по мере разработки сама как бы постепенно, исподволь становилась составным элементом тех властных отношений, которые она анализировала и правильность которых утверждала. В этом смысле его концепция содержит также исследова-

ние собственных условий возникновения и претворения в жизнь. Ее основное назначение Рассел видел в выяснении подлинных субъективных и объективных целей функционирования политических властных отношений, в которых каждая форма власти должна осознавать, с одной стороны, свою историческую ограниченность, а с другой — освободительную роль.

Этот выдающийся философ, логик и математик сравнительно мало известен в Советском Союзе как политический философ. Между тем его первая печатная работа, изданная еще в 1896 г., была посвящена именно политической проблематике — анализу политики германской социал-демократии. Затем, чередуясь с фундаментальными трудами «Принципы математики», «Философия Лейбница», знаменитой 3-томной «Principia Mathematica» (в соавторстве с А. Уайтхедом), «История западной философии», «Исследование значения и истины», «Человеческое познание: масштабы и границы», другими работами по философии и логике, издаются такие его книги, как «Политические идеалы», «Путь к свободе», «Принципы социальной реконструкции», «Практика и теория большевизма», приобретшая всемирную известность монография «Власть», а также «Новые надежды на изменяющийся мир», «Человеческое общество: этика и политика», «Воздействие науки на общество»<sup>15</sup> и множество других. Учиться у таких оппонентов, как Б. Рассел, по некоторым философским вопросам не возбраняется и марксистам.

Широчайший диапазон научных и политических интересов философа — свидетельство того, что в современном мире ученый-специалист в любой отрасли научного знания не может занимать беспристрастно-нейтральную позицию, самоустраняться от злободневных жизненных проблем, спокойно удаляться из «политики в науку». Наука должна служить общественному и политическому прогрессу человечества — эта безукоризненно четкая позиция Рассела, посвятившего значительную часть жизни активному участию в общественно-политических делах, нашла яркое выражение в знаменитом «Манифесте Рассела—Эйнштейна», в ряде статей и выступлений ученого, особенно в 50-е годы, его интеллектуальных и организационных усилиях по решению коренного вопроса современности — предотвращению ядерной катастрофы. Многие из его мыслей того периода не только не устарели, но приобрели особую актуальность и полновесные права гражданства в наши дни, постепенно воплощаясь, хотя

и с большими трудностями и крайне медленно, в политике государств, международных отношениях. «Мы должны научиться мыслить по-новому, — писал Рассел в 1956 году, — и спрашивать себя не о том, какие шаги можно предпринять для обеспечения военной победы, — ибо таких шагов более не существует, — но: какие шаги можно предпринять, чтобы предотвратить военный спор с катастрофическими для всех результатами»<sup>16</sup>.

Рассел как ученый всегда хранил верность истине, как он ее понимал, а как общественный деятель был искренним и честным перед собственной совестью, старался проявить благоразумие в действиях, приводя их в рациональное соответствие со сложившимися историческими условиями. Он никогда не отказывался от своих буржуазных классовых позиций и до конца дней оставался убежденным антикоммунистом. Но когда ему приходилось для себя решать вопрос о соотношении классового и общечеловеческого, то выход из состояния внутреннего морального конфликта он безошибочно видел в однозначном выборе — приоритете общечеловеческого над классовым. «Лично я, конечно, не нейтрален в своих чувствах и не желал бы, чтобы угроза войны была устранена за счет капитуляции Запада, — признавался Рассел. — Но как человеческое существо я понимаю, что споры Востока и Запада должны решаться так, чтобы это хоть кому-то приносило пользу — коммунисту или антикоммунисту, азиату, европейцу или американцу, белому или черному, — поэтому они не должны разрешаться военным путем. И хотел бы, чтобы это понимали по обе стороны железного занавеса». Мудро предвидя сложность предлагаемого способа решения вопроса, он заключал: «Явно недостаточно, чтобы понимание было проявлено только одной стороной».

Расселу не довелось стать профессиональным политиком, непосредственно принимающим решения. Это обстоятельство, однако, лишь усиливало объективный характер его убежденности в оценке мировых событий. Он одним из первых подчеркнул возрастающую политическую роль науки — общественной, естественной, технической, — и ученых в современном мире, и одним из первых, к сожалению немногих, буржуазных идеологов и политиков сумел подняться над узкоклассовыми интересами, значительно превосходя в этом качестве своих западных коллег. Выступая инициатором и в сущности организатором движения ученых за предотвращение ядерной катастрофы, он основывался на глубоко продуманных и прочувствованных внут-

ренных убеждениях, а идеи, высказанные им еще в середине 50-х годов, нередко занимают основное место в международных переговорах сегодня, в конце 80-х годов.

У Рассела не было сомнений, что основное социально-экономическое и политическое противоречие эпохи — это противоречие между капитализмом и социализмом. Будучи реалистом, он не требовал, чтобы какая-либо из систем отреклась от своих принципов, но он справедливо считал вполне возможным и необходимым отказаться от старых стереотипов в понимании взаимоотношения между политикой и войной, чтобы положить конец враждебным отношениям между блоками. «Правительства по обе стороны железного занавеса могли бы, не теряя лица, признать, что война не может являться продолжением политики». Он полагал, что для выполнения главной задачи, а именно устранения войны из жизни общества, следует обеспечить две вещи: во-первых, великие государства должны осознать, что их цели, какими бы они ни были, недостижимы посредством войны; во-вторых, как следствие универсальности такого осознания — подозрения каждой из сторон, что другая готовит войну, должны утихнуть.

У трезвомыслящего буржуазного философа не было иллюзий об идеологической совместимости капитализма и социализма. Он не выдвигал фантастических, граничащих с демагогией зряшных требований об идеологическом слиянии или прекращении идеологической борьбы. Идеологические цели должны достигаться идеологическими средствами. Глубоко осознавая реальности политической и идеологической ситуации в мире, существующий факт «очень реальных конфликтов между интересами», он выступал против крайностей и настаивал на некоторых изменениях в идеологических оценках, на том, что «необходимы определенные поправки к идеям, ярыми сторонниками которых были до сих пор как коммунисты, так и антикоммунисты». При этом «не надо будет отказываться от мнений насчет того, какая система лучше, или отказываться от партийной политики внутри наших стран. Но все должны признать, что пропаганду своей точки зрения следует вести с помощью убеждения, а не силы». Рассел сам был убежден, что в век ядерного оружия война как средство решения международных вопросов должна быть абсолютно исключена: «В войне с использованием водородной бомбы не может быть победителей. Мы можем жить вместе или погибнуть вместе».

Главную опасность Рассел видел не в одновременном существовании на одной планете социализма и капитализма, а в проявлении имперских амбиций, в попытках достижения той или другой стороной мирового господства, нарушении взаимозависимых властных отношений, в мечтах о создании «мировой империи, которые сегодня несколько не реальнее самых диких оптимистических утопий». Призывая к отказу от «жестокой борьбы за власть», он основную политическую задачу сегодняшнего дня видел в «сокращении национальных вооружений. Пока они остаются на теперешнем уровне, отказ от власти не будет искренним».

Чтобы в полной мере оценить позицию Рассела как ученого, следует обратить особое внимание, что, выступая против борьбы за власть на международной арене, он тем самым бросил исключительно смелый вызов всей буржуазной политологии от Гоббса до наших дней. Западная политическая мысль традиционно основывалась на казавшемся ей незыблемым тезисе о том, что внешняя политика любого государства — это не что иное, как борьба за власть. Классическую формулировку этого тезиса мы находим у известного американского политолога, основателя знаменитой «Чикагской школы» политического реализма Г. Моргентау. «Международная политика, — пишет он, — как и всякая политика есть борьба за власть. Какими бы ни были конечные цели международной политики, власть всегда является непосредственной целью. Государственные деятели и простые люди могут ставить перед собой задачу достижения в конечном счете свободы, безопасности, процветания или самой власти. Они могут определять свои цели в понятиях религии, философии, экономики или социального идеала. Они могут надеяться, что этот идеал будет материализован с помощью собственной внутренней силы, путем божественного вмешательства или через естественное развитие человеческих отношений. Но где бы они ни боролись за реализацию своих целей посредством международной политики, они будут это делать через борьбу за власть»<sup>17</sup>.

Суждения Моргентау не следует понимать в смысле оправдания борьбы за власть. Он лишь констатирует то, что считает объективно существующим и что задолго до него неоднократно подчеркивалось и стало расхожей общепринятой концепцией. Рассел начисто отбрасывает позицию стороннего наблюдателя, слепого следования догме, сухого регистратора событий. Он доказывает

неприемлемость выраженной в концепции практической политики, опровергает обоснованность этой концепции и самую возможность ее разумной реализации.

При этом он не ограничивался лишь теоретическим доказательством общегуманистических постулатов, но предложил конструктивные подходы, указывая, в частности, что следует созвать всемирную конференцию, которая обсудит невоенные способы разрешения споров между государствами. Кроме основной проблемы о сокращении вооружений, на всемирной конференции предполагалось обсудить круг вопросов, которые по сегодняшней терминологии относятся к «третьей корзине», чтобы с общего согласия была достигнута свобода, особенно свобода путешествий, свобода распространения книг и газет, и уничтожены препятствия для свободного обмена мнениями. Это необходимо для того, чтобы «человечество поняло, что является одной семьей». Он отмечал новую, необычайно усилившуюся роль ООН в урегулировании международных конфликтов и необходимость широкой пропаганды антимилитаристских идей, которая должна носить сугубо конкретный характер, доходить до каждого отдельного человека. Искоренение войны — нелегкое дело, отмечал Рассел. Но более всего, пожалуй, мешает пониманию ситуации расплывчатость и абстрактность слова «человечество». Люди никак не могут понять, что опасность грозит им самим, их детям и внукам, а не какому-то туманному «человечеству».

Вера в силу разума человека, возобладание общечеловеческих идеалов, ценностей и интересов над классовыми, в торжество науки и человеческой политической и жизнеутверждающей воли к самосохранению непрестанно питали оптимизм Рассела, его надежды на будущее. С этим, исполненным колоссальной жизненной силы призывом, он и обратился к мировому сообществу: «Огромный научный потенциал, затрачиваемый на производство ядерного оружия, заставит пустыни цвести и прольет дождь над Сахарой и Гоби. С избавлением от страха воспрянут новые силы, человеческий дух воспарит и вновь станет творческим, а ужасы, таящиеся с древнейших времен в глубинах сознания, постепенно исчезнут... Но эту надежду необходимо хранить».

Безупречная прогрессивная политическая ориентация Рассела, особенно ярко выраженная в 50-х годах, его неустанный, часто самоотверженное отстаивание общечеловеческих идеалов, логическая последовательность и яс-

ность мысли, математическая точность суждений, филигранная отточенность политических формулировок — все это явилось не сразу, а в результате длительной эволюции, на которую заметное влияние оказали и бурное, богатое разнообразными событиями время, в которое он жил, и особенности социально-экономического, политического, идейно-духовного и культурного развития Англии конца XIX и почти двух третей XX века, и собственный многостороший жизненный опыт, и специфика полученного воспитания и образования, а также личное дарование, врожденная внутренняя активность и некоторые другие черты биографии.

Здесь представляется целесообразным кратко остановиться на периоде воспитания будущего философа. Поясним это. Учеными, как известно, не рождаются, ими становятся. Важнейшим компонентом процесса становления ученого является формирование его личности, психического склада, мировосприятия, интеллектуальной направленности, которые вырабатываются в семье, школе, проявляются в первые годы самостоятельной активности. Этот период в жизни каждого человека составляет важнейшее и даже определяющее условие его дальнейшей трудовой и творческой деятельности. Для раскрытия концепции необходимо раскрытие авторской личности, а не апелляция к выхваченным цитатам, как это нередко делается. Подлинно научные, достойные внимания и подлинно авторские концепции, особенно обществоведческие, возникают не просто «из головы», а из всей жизни ученого. Приходят на память слова Ленина, что не мозг мыслит, а *человек* с помощью мозга. Целенаправленное обращение к биографии того или иного ученого, хотя и может показаться отходом от «чистого» исследования его идей и концепций, на деле является необходимым компонентом именно исследовательского процесса. Ученого невозможно отделить от его личности, а творчество от его жизни.

Жизненный путь Рассела не был усеян розами. Рано лишившись родителей, отличавшихся свободой суждений, он остается на попечении деда, лорда Джона Рассела, премьер-министра Англии при королеве Виктории. В состоятельной семье, неуклонно следовавшей ригористическим традициям викторианской эпохи, под респектабельным видом внешнего благочестия царил душный атмосфера аскетического пуританизма, жестко регламентированной религиозности, замкнутости, ханжества. Вспоминая детские годы, Рассел позже отметит, что его

одинокчество было настолько невыносимо, что он не раз находился на грани самоубийства. Чрезмерные старания напичкать голову мальчика разнообразными религиозными идеями возымели обратное действие: уже подростком он стал сомневаться в истинности теологических доктрин, а вскоре и вовсе перестал верить в бессмертие души и существование бога. Появившись в раннем возрасте, свободлюбивый, критический и в чем-то даже еретический дух, приверженность к ясности и доказательности суждений, внутренняя честность в жизненных установках — эти черты не покидали Рассела до самой смерти.

Поступив в 1890-м году в Кембриджский университет, где он изучал философию и математику, и как бы вырвавшись из викторианской патриархальности на свободу, Рассел сразу же включается в общественно-политическую жизнь, одним из первых вступает в Фабианское общество, активно выступает против Англо-бурской войны и, не боясь обвинений в антипатриотизме, публикует пацифистские статьи. Хотя в последующие годы, будучи преподавателем университета, интенсивно работает над исследованием специальных философских и логико-математических проблем, он не прекращает общественно-политической деятельности.

Важной вехой в эволюции политической философии Рассела явилась первая мировая война. Она «потрясла» его, заставила пересмотреть жизненную ориентацию, по-иному расставить акценты на тематике исследований. Усиление пацифистской деятельности дорого обходится: исключают из университета, сажают в тюрьму<sup>18</sup>. Но Рассел непреклонен. Он последовательно проводит линию на сохранение тесной связи теоретических исследований с выдвигаемыми реальной жизнью актуальными проблемами. Если в свое время он отдал дань британскому неогегельянству и платонизму, то отныне уже не мог оставаться на позициях академизма и абстрактных рассуждений. «Когда началась война, — писал Рассел, — я... знал, что должен выступить с протестом, каким бы тщетным он ни оказался. Им было поглощено все мое существо. Как приверженца истины национальная пропаганда всех враждующих стран повергала меня в состояние тошноты. Как приверженца цивилизации меня страшила перспектива возврата к варварству»<sup>19</sup>.

Рассел приветствовал Октябрьскую революцию. В 1920-м году он приехал в Россию, но покинул страну разочарованным. Он дважды арестовывался — за пацифизм



и в связи с организацией кампании за ядерное разоружение; второй раз в возрасте 81 года. Он трижды безуспешно выдвигался в английский парламент.

Слава также не обошла Рассела. В 1907 году он избирается в Королевское общество, в 1949 г. становится членом Британской академии, а в 1950-м году — лауреатом Нобелевской премии по литературе. За ним прочно закрепляется имя «одного из блестящих представителей рационализма и гуманизма, бесстрашного поборника свободы слова и свободы мысли на Западе»<sup>20</sup>, «социального реформатора». Биографы Рассела отмечают его сходство с Вольтером по массовости читательской аудитории, блистательной и изящной прозе, восхитительному чувству юмора.

Непосредственный очевидец двух мировых войн, множества экономических кризисов, нескольких революционных потрясений, разрушения колониальной системы британского Содружества наций, свидетель начала ядерно-космической эры, человек, переживший смену множества кабинетов у себя в Англии и других странах, Рассел хорошо понимал, что стержневым вопросом как международных, так и внутригосударственных отношений является вопрос о власти, прежде всего регулировании политических властных отношений. «Только осознавая факт, что именно стремление к власти представляет собой причину той деятельности, которая является единственно важной в общественных отношениях, можно правильно объяснить историю, как древнюю, так и современную»<sup>21</sup>. Желая как можно сильнее подчеркнуть первостепенную важность понятия власти, Рассел прибегает к аналогии, сравнивая системы категорий естественных и общественных наук: «Фундаментальным понятием в общественных науках является власть, в том же смысле, в каком энергия является фундаментальным понятием физики»<sup>22</sup>.

Хотя эта аналогия стала объектом критики со стороны его западных коллег, она многое проясняет в концепции власти Рассела, и прежде всего в его методологии исследования. Он не сводит власть к какому-либо одному из ее проявлений, для чего было бы достаточно чисто эмпирического описания внешних признаков властных отношений, но как философ старается проникнуть вглубь, выяснить взаимоотношение общего и отдельного, сущности и явления, формы и содержания, раскрыть власть как некоторую объективную закономерность общественных и индивидуальных отношений, придающую динамизм

социальному организму. «Законы социальной динамики, — пишет он, — являются законами, которые только и могут быть определены в терминах власти, но не в терминах той или иной формы власти»<sup>23</sup>.

Власть как таковая, не чистая ли это абстракция? Нет, напротив, она и есть то общее, которое реально существует в каждом отдельном проявлении власти, придает властным отношениям характер объективной закономерности. Вместе с тем это общее является и понятием, полученным в результате обобщения отдельных форм функционирования власти, и в силу этого понятием, которое, будучи конкретизированным, способно глубоко раскрыть встречающееся в реальной жизни богатство и многообразие властных отношений, их взаимозависимость, взаимопереходы различных форм. Такой методологический подход позволяет избежать абсолютизации какой-либо одной формы власти и сделать власть предметом строго научного анализа. Вновь обращаясь к аналогии с физикой, Рассел подчеркивает, что «власть, подобно энергии, следует рассматривать как постоянный переход из любой одной формы в другую, и делом общественных наук должен стать поиск законов таких преобразований. Попытка изолировать любую из форм власти... служила и служит источником ошибок с серьезными практическими последствиями»<sup>24</sup>.

Разрабатывая свою концепцию власти, Рассел проделал титанический труд, собрав колоссальный материал по политической истории различных обществ, начиная с древнекитайского и вплоть до современных, изучил множество теорий от конфуцианских до марксистских, а также многочисленные факты из политической жизни, формы власти в традиционных и современных политических системах. Сделанные им основные обобщения отличаются глубиной, наблюдательностью и широким спектром. Они касаются структуры власти, ее мотивов, характеристики индивидуальных и коллективных носителей, организации, форм осуществления, политических, экономических, этических, философских, юридических и психологических условий функционирования властных отношений. Каждая из этих сторон проанализирована достаточно глубоко. Через всю концепцию красной нитью проходит резкое осуждение злоупотреблений властью, необходимость выработки конкретных мер по ее обузданию, усмирению.

Коль скоро целью исследования власти является не только раскрытие ее особенностей, но и поиск путей по ее укрощению, то складывается впечатление, что Рассел

трактует власть как принуждение. Это и так и не так. Здесь мы подходим к важнейшему исходному пункту, без которого сущность его концепции не может быть правильно понята: выяснение проблемы взаимоотношения между властью индивидуума и властью организации (школа, корпорация, партия, государство). Вспомним его формулу: «Власть может быть определена как производство намеренных результатов. Это, таким образом, количественное понятие... *A* обладает большей властью, чем *B*, если *A* достигает множества намеренных результатов, а *B* лишь немного»<sup>25</sup>. Другого общего определения власти у Рассела нет, хотя имеются указания на многочисленные признаки, которые характеризуют разные ее аспекты.

Из приведенной формулировки следует, что власть понимается как свойство действия индивидуума и что она никак не связана с принуждением. Напротив, *A* и *B* действуют как бы назависимо друг от друга, в самом определении они никак не сталкиваются. Но только в этом определении и выглядит власть нейтральной. Все остальные рассуждения у него связаны с раскрытием противоречивой природы индивидуальных и общественных властных отношений. Возникает вопрос: почему Рассел не дает какого-либо всеобъемлющего определения, которое адекватно отражало бы его взгляды? Не трудно предположить, что он не только не ставил перед собой подобной задачи, но специально избегал ее постановки, чтобы показать: одна-единственная дефиниция, какой бы полной она ни была, способна лишь создать иллюзию исчерпывающего определения сущности такого сложного понятия, как власть. Это сделать невозможно, но в этом и нет необходимости. Поэтому Рассел начинает (но не завершает) с описания на феноменологическом уровне самого простого, понятного и массовидного проявления власти, когда каждый обладающий волей индивидуальный субъект сознательно стремится к достижению некоторой цели для получения предполагаемых результатов своих действий. Тем самым подчеркивается естественный характер власти, без которой не может обойтись ни отдельно взятый живой деятельный индивидуум, ни нормально функционирующее общество, всегда нуждающееся в устойчивом порядке отношений и некоторой субординации. Зло не в самой власти.

Кроме того, как выдающийся логик он прекрасно знал, что понятия можно определять по-разному, не только с помощью обозначения ближайшего рода и видового отличия,

но также с применением аналогии и путем перечисления признаков. Последний прием, к которому весьма интенсивно прибегает Рассел, раскрывает многогранность и многослойность власти. Одной из частей проблемы является индивидуальный аспект власти: власть над индивидом и власть индивида. Первая осуществляется несколькими способами: прямой физической силой; с помощью поощрения или наказания; воздействием на сознание человека для выработки нужного мнения и создания у него определенных привычек (например, посредством военной или иной муштры). Рассел называет это «голой властью». Вторая имеет более широкий диапазон действия и включает, во-первых, власть над другими людьми, достижение которой обусловлено как естественными стремлениями человека к власти и славе, так и психологическими его особенностями, а во-вторых, власть над природой, «нечеловеческими формами жизни»<sup>26</sup>.

Каждый человек, по Расселу, изначально наделен двумя связанными, но не тождественными страстями — стремлением к власти и славе. Обе страсти ненасытны и бесконечны. Эти импульсы человека нередко замечались, но не изучались глубоко. Между тем человеческие страсти и индивидуальные наклонности играли в политической истории важнейшую роль. Поэтому «человеческий мотив» должен быть включен в исследование «причинных законов» развития общества, так как «страстное желание является главным мотивом, производящим изменения, которые должна изучать общественная наука»<sup>27</sup>. Рассел не утверждает, что человеческая страсть к власти и славе является единственным главным законом, объясняющим социально-политический процесс. Но, исследуя одну часть властных отношений, а именно индивидуальную мотивацию, он стремится раскрыть «психологию власти», которая в индивидуальном измерении может пролить свет на психологию лидерства.

Тип индивидуального субъекта власти и способа, которым он пользуется для ее достижения, зависит во многом от структурных и системных особенностей господствующих политических властных отношений, а также исторических условий. Их различие, по мысли Рассела, может происходить в двух планах. С одной стороны, это функционирующей политической режим — военный деспотизм, диктатура, теократия и плутократия, а с другой — режим власти, порожденный, например, наследственной (королевской или царской) формой правления, либо демокра-

тей, либо войной. Во всех случаях, однако, психологическая природа индивидуальных субъектов играет существенную роль, особенно в обществах, где отсутствуют такие социальные институты, как аристократия или наследственная монархия. В условиях свободной состязательности, когда «власть открыта для всех», вероятнее всего, что ее получит тот, кто более всего ее желает; эти люди от обычных отличаются исключительным властолюбием. Ни один лидер не может рассчитывать на успех, если он не исполнен чувства радости от власти над окружающими его сторонниками и последователями. Подлинный лидер, особенно в политике, всегда обладает исключительной самоуверенностью, которая не только проступает на поверхность, но глубоко укоренена в подсознании. Некоторых наиболее крупных лидеров выдвигает революционная ситуация. В качестве примера Рассел приводит Кромвеля и Ленина, которые в трудное для своих стран время проявили беспредельное мужество и уверенность в своих силах. Это сочеталось с признанием за лидерами здравых и убедительных суждений, что обеспечивало поддержку ближайших сподвижников.

Хотя любовь к власти — один из самых сильных мотивов, однако она довольно неровно распределена между людьми и часто бывает ограниченной многими другими страстями — к науке, покою, удовольствиям. Таким образом, если характер одних содержит в себе потенциальные черты лидера, то у других любовь к власти бывает недостаточно сильно выражена. Эти люди вряд ли могут оказывать влияние на ход событий. Страсть к обладанию властью, к славе, вера в собственные силы и другие черты у робких и застенчивых существуют в скрытом виде, что, в свою очередь, расширяет поле действия импульсов к власти у сильных, наглых и самоуверенных. Одни всегда стремятся командовать, другие — подчиняться. Между этими двумя крайностями располагаются огромные массы обычных простых людей, которым нравится командовать в некоторых ситуациях, а в других — подчиняться лидеру.

Есть, наконец, четвертый тип людей, имеющих мужество отказаться от подчинения и не имеющих особого желания кем-либо командовать. Они с большой неохотой вписываются в действующую социальную структуру, почти никогда не соответствуют ее требованиям и поэтому разными путями ищут для себя убежище. Это заблуждение: одинокой свободы не существует.

Читатель легко заметит необычность классификации Расселом людей по критерию устремления к славе. Для него не существует, например, уничижительного толкования понятия «карьерист», ибо каждый человек в той или иной степени подвержен карьеризму, открыто или скрытно стремится к карьере. Это вполне укладывается в схему Рассела: власть как производство намеренных результатов. Подобные действия естественны для человека, его жизненной ориентации и самосохранения. Но такой ход мысли многим, особенно умудренным жизненным опытом, может показаться банальным, находящимся на поверхностном уровне обыденного сознания. Это не так. Признавая важную роль исторических условий для появления политического лидера, следует подчеркнуть и другую сторону — стремление лидера к власти, независимо от того, какие мотивы движут им, личные или общественные. Указания лишь на объективно сложившиеся исторические условия без учета индивидуальных психических черт политического субъекта не проясняют полностью проблему лидерства. Если же это указание превращается в расхожий стереотип политического сознания, то проблема запутывается окончательно. Нередко сама личность использует исторические обстоятельства, чтобы стать лидером. С другой стороны, человек может обрести положение лидера без наличия исторических условий. Но не бывает лидеров без их стремления к власти.

В концепции Рассела качества индивидуума находят свое преломление в структуре власти организации, которая, хотя и обладает собственными особенностями, законами, но не может быть правильно понята без ее взаимовлияния с множеством специфических черт личности как индивидуального субъекта власти. Типологическая характеристика отдельных личностей в терминах власти неполна. Надо принять во внимание также власть организации. Только на стыке двух форм власти — индивидуальной и организации, — в точке их соприкосновения, которая может отличаться как гармонией, так и непримиримой борьбой, проявляется имманентная сущность власти как таковой. Именно в этом средоточии и может существовать реально, хотя это и не обязательно, такое свойство власти, как принуждение.

Большинство коллективных форм деятельности, в которых находят выражение властные отношения, возможны лишь в том случае, когда они направляются некоторой организацией (корпорация, партия, государство и т. п.),

с более или менее упорядоченной системой управления. Упорядоченность неизбежно предполагает неравенство властей. Более того, любая организация порождает неравенство, и оно имеет тенденцию скорее к расширению, чем к сужению. Как отмечает Рассел, «в человеческом сообществе всегда существовало неравенство в распределении власти... Это частично обусловлено внешними причинами, частично же причинами, которые должны быть найдены в человеческой природе»<sup>28</sup>.

Размышления Рассела подводят к пониманию особенностей взаимодействия индивидуума и любой общественной организации. В самом деле, каждый человек наделен неповторимой психикой, играющей немаловажную роль в его отношениях с организацией. Будучи носителем уникальных черт, — а они могут быть достаточно устойчивы, — он не просто интегрируется в организационную систему, но привносит в нее свои особенности. Поэтому и организация не остается неизменной. Чем больше степень власти индивидуума, тем большие изменения возможны в организации. В итоге это данное сочетание выступает в виде диалектической закономерности единства и борьбы противоположностей; не только организация «делает» личность, но и личность — организацию.

Убедительны рассуждения Рассела, когда он старается учесть объективные моменты и субъективные мотивы в функционировании политических систем. В первом случае психология с таким же основанием исключается из социальной динамики, с каким неизбежно предполагается во втором. Даже демократически избранное правительство является тем не менее правительством. Его существование не продиктовано какими-либо психологическими требованиями («не имеет ничего общего с психологией»); но оно должно существовать, чтобы коллективное действие было успешным и целенаправленным. С другой стороны, уже своим существованием оно с необходимостью вносит в общество определенную иерархию, при которой «некоторые люди отдают распоряжения, а другие им подчиняются». Сам факт, что основанная на субординации иерархия оказывается возможной и что она иногда выходит за пределы тех внутренних необходимостей, которые обусловлены объективными требованиями нормально функционирующей организации, это, по Расселу, «может быть объяснено только в понятиях индивидуальной психологии»<sup>29</sup>. Именно здесь заложены потенциальные возможности нарушения демократии, злоупотребления властью.

Не во всем, на наш взгляд, с Расселом можно полностью согласиться, особенно с категоричностью его высказываний о значении индивидуальных психических черт находящихся у власти личностей. Демократия, диктатура, деспотия суть не только и не столько характеристики лидера или даже правительства, сколько в целом политической системы. Изменение правительства далеко не всегда изменяет систему, как правило отличающуюся большей устойчивостью. Опыт политической истории показывает, что раз созданная и достаточно укрепившаяся система нередко интегрирует, «поглощает» правительство, объективно определяя формы правления и содержание деятельности государственной власти.

Конечно, возможность проведения правительством активных конструктивно-положительных или деструктивных действий ни в коем случае нельзя преуменьшать. Когда между системой и правительством возникает антагонизм, то последнее, обладая достаточно широкими полномочиями управления, способно в определенных условиях начать и успешно завершить системные преобразования. Для этого нужны и политическое единство руководящей силы, и широкая поддержка народа, учет его исторических, политических и национальных традиций, и научно разработанная теоретическая концепция, четко и строго предусматривающая поэтапность, с обозначением реальных результатов на каждом этапе, и способность к преодолению неизбежно возникающих тормозящих тенденций. Исключительно важна продуманная постепенность в регулировании всего движения, разумное сочетание количественных и качественных изменений, реформы и революции.

Любые политические преобразования в обществе происходят путем борьбы, разрешения противоречий и связаны с большими или меньшими моральными, материальными и другими издержками. История свидетельствует, что наименее болезненным путем движения скорее является путь постепенных реформ, количественных изменений, подготавливающих условия для революции, качественного скачка, чем противоположный — от революции к реформам, требующий, как правило, высокой цены, не только моральной и материальной, но нередко и в человеческих жизнях.

Однако нельзя не согласиться с Расселом в том, что для правильного понимания властных отношений в обществе не следует уповать лишь на объективные закономерности



системы, игнорируя психологию личности. Это особенно важно сегодня, так как до последнего времени при господстве у нас некоторых идеологических стереотипов она явно недооценивалась. Казалось, что если появление в качестве лидера той или иной личности объяснять исторической необходимостью, то тем самым личность якобы получала наиболее адекватную оценку. На самом же деле при таком подходе происходит не оценка личности, а наших собственных представлений о ней, причем представлений выхолощенных, оторванных от реальной жизни, иллюзорных, скудость которых обычно «восполняется» хорошо действующей официальной пропагандой, которая вместо живого, обладающего психологическими особенностями человека рисует абстрактного мессию, ниспосланного людям объективной необходимостью, созданной историческим детерминизмом. Обращение к мировой философско-политической мысли, в частности к взглядам Рассела, позволяет более широко посмотреть на личность индивидуального политического субъекта и полнее оценить его роль в истории.

Когда лидер пользуется поддержкой научно и технически хорошо развитой организации, общества, то он, по Расселу, перестает нуждаться в ораторском искусстве, как было в древнее время, и обретает в современных условиях «механическую власть», т. е. власть, основанную на достижениях научно-технического прогресса. «Я уверен, — писал Рассел еще в 1938 году, — что механическая власть имеет тенденцию к порождению новой ментальности, которая делает более важным, чем в прошлые века, нахождение способов контролировать правительства»<sup>30</sup>. Из-за технического развития общества демократия начнет испытывать различные новые трудности, но ее сохранение становится более важным, чем прежде. Человек, обладающий колоссальной механической властью, если он неконтролируем, легко может возомнить себя богом. Рассел недвусмысленно определяет свое понимание «нового менталитета», т. е. нового мышления, его роковую альтернативность и гуманистическое предназначение. «В прошлом люди продавали себя дьяволу, чтобы добиться магической власти. Сегодня с помощью науки они добиваются этой власти, а обстоятельства принуждают их стать дьяволами. У мира не может быть надежды, пока власть не укрощена и не поставлена на службу не той или иной группе фанатичных тиранов, а всему роду челове-

ческому... наука сделала неизбежной альтернативу: либо все должны жить, либо все должны погибнуть»<sup>31</sup>.

В буржуазно-демократических обществах политическая власть традиционно принадлежит людям, не относящимся ни к интеллигентам, ни к мудрецам, ни к хорошим администраторам-управленцам. Это обстоятельство, по Расселу, обусловлено историческим изменением отношения между властью и знанием, при котором роль знания неуклонно падала. Объяснение сводится к следующему. В далеком прошлом знание и мудрость всегда служили основанием власти, более того, власть и ученость отождествлялись. Странно, но такое восприятие власти сегодня наиболее велико в самых диких племенах. Оно постепенно убывает по мере поступательного движения цивилизации. Развитие и распространение образования многих ученых мужей лишило возможности обладать властью. Лишь в отдельных сообществах некоторые мудрецы еще имеют власть, которая, впрочем, не идет ни в какое сравнение с той властью, которой обладали в свое время египетские жрецы или ученые-конфуцианцы в древнем Китае.

Дело в том, говорит Рассел, что научное знание сегодня открыто для всех, оно не окутано тайной, которая заставляла бы каждого благоговеть перед ним. Раньше уважение к ученым, как правило, относилось не столько к их подлинному знанию, сколько к предполагаемому обладанию магической властью. Развитие науки развеяло веру в магию и уважение к интеллигенту. Поэтому современный политик не испытывает острой необходимости в глубокой учености. Если он хочет преуспеть, то должен обрести доверие «своей машины», т. е. политического истеблишмента, и постараться «поднять энтузиазм у большинства избирателей». Он должен быть страстным, самоотверженным, смелым. Мудрость вполне замещается способностью убеждать людей в том, что надежды и цели, которые лелеет большинство, достижимы.

В этих рассуждениях, частично верных, безусловно несколько упрощены и проблема лидерства и процесс достижения власти. В политической литературе западных стран в последние годы довольно детально разработана типология способов общения лидера с массой, существуют многочисленные разработки, посвященные электорату, личным чертам лидера, его харизме, учету общественного мнения, особенностям избирательного механизма. Правда, Рассел не ставит своей задачей всестороннее освещение вопроса, но он игнорирует в данном случае такие карди-

нальные стороны, как экономическая политика страны, безопасность нации, материальное благополучие народа, уровень развития демократии, политической культуры, разрешения глобальных проблем и некоторые другие, которые сегодня выдвигаются на первый план и в значительной степени определяют характер «обратной связи»: отношение массы к лидеру.

Что касается эволюции отношения власти и учености, то некоторые черты подмечены им довольно метко. Когда победу обеспечивает машина, пишет Рассел, то после такой победы именно машина господствует над лидером, навсегда лишая его реальной власти.

Существует, по Расселу, еще одна, наиболее опасная форма индивидуальной власти — теневая: власть льстецов, интриганов, доносчиков и людей, стоящих в тени, но держащих в своих руках нити управления. Наличие такой власти пагубно отражается на обществе. «В любой большой организации, — отмечает он, — где лидер обладает значительной властью, находятся менее заметные люди (мужчины и женщины), которые имеют силу влияния на лидеров посредством личных методов»<sup>32</sup>. Эти люди любят власть больше, чем славу. Они всегда предпочитают не выходить на авансцену. Их сила особенно велика при наследственной власти, но сравнительно незначительна, когда власть выступает как вознаграждение за личные достоинства. Даже в современных формах государственной власти «теневые» индивидуумы располагают реальной властью именно в тех отсеках, которые обычному человеку представляются окутанными тайной. Наиболее важные из них — финансы и внешняя политика. Документы и материалы, удостоверяющие их колоссальную власть, скрыты и не предаются гласности. От всего этого страдает общество: «Система, предоставляющая большую власть льстецам, или людям в тени, но с нитями управления в руках, в целом не является системой, которая могла бы способствовать обеспечению общего благосостояния»<sup>33</sup>.

Атрибутивными свойствами властных отношений в организации служат такие неотъемлемые аспекты, как политика, право, экономика, пропаганда. Все они в конечном счете продуцируют власть и одновременно способствуют ее сохранению. Каждый из них, взятый в качестве относительно самостоятельной области деятельности, способен вырабатывать специфические способы принуждения и насилия, которые не являются объективно необходимыми

для их нормального функционирования. Важную роль в реализации этих способов играют индивидуальные черты политических деятелей. Властные отношения, будучи широко разветвленной сетью различных организаций и человеческих взаимоотношений в них, несут на себе не только печать пороков индивидуумов, но и организаций. Ни один тип организации, ни одна форма власти не являются безупречными; каждый раз требуется принятие специфических мер (законодательных, моральных, пропагандистских, воспитательных и т. д.) для нивелировки постоянно возникающих негативных последствий.

Пример современной политической демократии показывает, что она неспособна обеспечить гуманистическое качество власти, устранить злоупотребления и гарантировать политическое равенство. «Качества демократии, — пишет Рассел, — негативны: она не обеспечивает автоматически хорошего правительства, хотя и предотвращает от некоторых пороков»<sup>34</sup>. Реальная проблема, с которой здесь сталкивается Рассел, это противоречие между необходимостью наличия субординации в управлении обществом и его разделением на большинство и меньшинство. Он критически отмечает, что современные общества основаны на плутократии, но, к сожалению, избегает использования классового анализа при характеристике политических систем. Между тем именно здесь и требуется классовый подход, который способен прояснить сущность плутократии, построенной как раз на имущественном неравенстве. По его мнению, интересы меньшинства и интересы большинства непримиримы. «Вся история показывает, — констатирует он, — что, как и следовало ожидать, на меньшинство нельзя полагаться, что оно якобы будет заботиться об интересах большинства»<sup>35</sup>. Симпатии Рассела на стороне большинства; он прямо заявляет, что должно быть установлено правление большинства.

Понятия «большинство» и «меньшинство» могут выступать в разных измерениях. Если меньшинство — это политически преследуемые религиозные, этнические и другие группы населения, то их интересы и права надо безусловно отстаивать: «Защита меньшинств, поскольку она совместима с установленным порядком правления, является существенной стороной обуздания власти»<sup>36</sup>.

Важнейшей задачей демократического общества является охрана индивидуальных прав и свобод гражданина. Человек всегда испытывает давление со стороны власти организации, но если в качестве последней выступает

государство со своей разветвленной системой карательных и правоохранительных органов, то необходимость обуздания власти выдвигается на первое место, ибо от ее злоупотреблений, имеющих обычно самые неожиданные и разнообразные проявления, страдает прежде всего гражданин. Когда возникает противоречие между человеком и обществом, индивидуумом и властью организации, то ошибки в решении вопроса недопустимы. Оправдание невиновного должно представлять не меньший общественный интерес, чем осуждение виновного. Если, например, полиция допустит ошибку, она должна быть привлечена к строгой уголовной ответственности. В частности, для обуздания власти правоохранительных органов существенно, чтобы «признания никогда, ни при каких обстоятельствах не принимались за свидетельства»<sup>37</sup>. Должны быть найдены объективные данные, могущие служить неопровержимыми уликами.

Исследуя экономический аспект власти организации, Рассел ведет любопытную полемику с Марксом и марксистами, во многом соглашаясь с первым и подвергая критике вторых. Суть ее сводится к следующему. Маркс отмечал, что невозможно достичь уравнивания власти в обществе только с помощью политики, если экономическая власть останется монархической или олигархической. Экономическая сила должна быть в руках государства, а само государство должно быть демократическим. Современные марксисты, по Расселу, восприняли только одну половину учения Маркса и отбросили требование о демократическом характере государства. Они, таким образом, и экономическую, и политическую власть сконцентрировали в руках олигархии, которая оказалась более мощной и более способной к тирании, чем любая прежняя олигархия. «И старомодная демократия и новомодный марксизм ставили целью обуздание власти. Первая потерпела неудачу потому, что была только политической, второй — потому, что был только экономическим. Без сочетания обоих аспектов не может быть и речи даже о приближении к решению проблемы»<sup>38</sup>.

Напомним, что Рассел писал эти строки в конце 30-х годов. Он одним из первых на Западе выдвинул критические аргументы против марксизма, заявляя об устарелости учения Маркса и его неприменимости к условиям современного капитализма. Буржуазные политики и идеологи широко использовали эту критику, абсолютизировали и детализировали ее, пошли значительно дальше Рассела,

но не в смысле доказательности и убедительности, а совсем в другую сторону — к апологетике капитализма. Козыряя тезисом об «устарелости Маркса», они отбросили всю его критику капитализма, заботясь не столько об обоснованности своих собственных суждений, сколько об изображении буржуазного образа жизни как неизбежного общественного устройства, обеспечивающего расцвет демократии и экономического благополучия.

Иное дело Рассел. Серьезный ученый высказывал критические замечания в адрес Маркса и марксистов, потому что не во всем был с ними согласен. Но он никогда не использовал этой критики, которая к тому же всегда была достаточно осторожной, для апологетики капитализма, его политики и экономики, часто служивших предметом резкой критики с его стороны. Проследим за мыслью Рассела. Отмечая, что марксизм доказывает возможность обуздания произвола экономической власти путем экспроприации капиталистов, установления государственной собственности на землю и капитал и создания государства рабочих, он одновременно высказывает и согласие, и глубокое предостережение. «Я хочу недвусмысленно заявить, — пишет Рассел, — что считаю эту аргументацию обоснованной, если она будет гарантирована и конкретизирована. В противном случае, при отсутствии таких гарантий и конкретизации, я считаю ее очень опасной и, вероятно, настолько вводящей в заблуждение тех, кто ищет освобождения от экономической тирании, что они обнаружат, что по невнимательности установили новую тиранию, более крутую и более ужасную, чем любая из ранее известных»<sup>39</sup>.

Таким образом, по Расселу, имеются веские доводы в пользу установления государственной собственности на землю и национализации больших экономических организаций. Эти доводы представляются ему как частично технические, частично политические. Если взять, например, энергетическую систему, то даже любое консервативное правительство может пойти на национализацию. С технической точки зрения это выглядит как движение к социализму, на деле же ведет к усилению политической роли государства. Благодаря техническому прогрессу современные экономические организации имеют тенденцию к росту, сращиванию и расширению своих масштабов. Неизбежным следствием этого является то, что политическое государство либо должно брать на себя экономические функции, либо отречься от них в пользу частных

предприятий, достаточно сильных, чтобы осуществлять контроль. Если государство не возьмет верх над ними, оно станет их марионеткой, а они станут реальным государством.

По мысли Рассела, ошибка марксистов состоит в том, что они отождествляют такие понятия, как «собственность» и «контроль», не научились за отдельными капиталистами видеть современные корпорации и, следовательно, разделение функций собственности и контроля. Даже когда говорят, что государство принадлежит трудящимся, это не меняет существа дела, ибо экономическая власть сегодня является скорее прерогативой правительства, чем собственности. Важной личностью является тот, кто контролирует экономическую власть, а не тот, кто обладает частью номинальной собственности.

Некоторые обобщения, сделанные Расселом в конце 30-х годов и касающиеся отношений собственности и экономической власти в капиталистическом государстве, представляются верными и сегодня. Так, например, обладание акциями какого-либо современного капиталистического акционерного общества для большинства трудящихся акционеров страны является чисто номинальным и никак не обеспечивает реального контроля и власти. И прав оказался Рассел, когда, отмечая тенденции развития корпораций, высказывал предположение, что «в любой большой корпорации власть меньше распылена, чем собственность, и несет с собой сначала политические преимущества, которые затем могут стать источником богатства неопределенных размеров»<sup>40</sup>. Если проводить аналогию между государством и корпорацией, как это делает Рассел, нельзя не согласиться с его выводом, что гражданин в этих условиях также становится бессильным против государства.

Однако с того времени, когда писал Рассел, в экономике капиталистических государств, равно как и в мировоззренческих связях в целом, произошли и происходят изменения, многие из которых носят радикальный характер. Начиная с 50-х годов почти каждое десятилетие капиталистическая экономика испытывала существенные перемены, связанные в том числе с такими противоположными тенденциями, как национализация и денационализация, приватизация и создание транснациональных корпораций и т. д. Эти процессы происходят и сегодня, когда обобществление производства достигло современного уровня, а экономическая деятельность в национальном и миро-

вом масштабе организуется сравнительно небольшим числом крупных корпораций.

Экономисты-марксисты, особенно в последние годы, внесли значительный вклад в научный анализ государственно-монополистического капитализма, исследование роли и места национальных и транснациональных корпораций. Критикуя марксистов, Рассел не ссылается на какие-либо труды, которые подтверждали бы его мнение. Можно предположить, что в ряде марксистских работ того периода содержалось упрощенное представление о различных формах деятельности капиталистической экономики и буржуазного государства. Не менее логичным представляется и другое допущение: многие действительно глубокие теоретические марксистские исследования не были ему доступны, как недоступны они были и нам. Рассел полностью обошел экономические исследования В. И. Ленина и тем самым не избежал примитивизации марксизма.

Ключевой позицией Рассела, вполне созвучной марксизму, является признание существенной роли демократии для реализации необходимого контроля над государственной собственностью и экономическим предпринимательством с тем, чтобы они соответствовали интересам всех граждан общества. Его занимает вопрос о том, каким образом демократию сделать более эффективной. Он достаточно четко выражает свою поддержку введению общественной собственности и строгому контролю над промышленностью и финансами, но считает, что эти меры создают лишь необходимые, но недостаточные условия для обуздания власти. Должны быть обеспечены «более тщательная и далеко идущая демократия», значительно большие гарантии от «официальной тирании», широчайшая гласность, свобода пропаганды, которая превысила бы ту, чем может быть удовлетворена «модная, чисто политическая демократия». Без контроля власть превращается в деспотизм. Кроме того, чтобы власть в какой-либо одной организации, например в государстве, не породила зло деспотизма в его крайней форме, внутри самой организации эта власть должна быть разделена, а подчиненные группы наделены большей автономией.

Широкая пропаганда и агитация, по Расселу, должны быть направлены, в рамках закона, на привлечение к судебной ответственности официальных лиц, которые превышают свою власть или злоупотребляют ею. Правительство не должно иметь возможности утверждать свое «вечное пребывание у власти» путем запугивания, фальсифика-



ции результатов выборов или других методов. И, напротив, не должно существовать наказания, официального или неофициального, для любой хорошо обоснованной критики находящихся у власти видных политических деятелей.

В концепции Рассела большое значение придается психологическим («наиболее трудным») условиям обуздания власти. Раскрытие психологии власти включает в себя анализ таких индивидуальных и социальных явлений, как страх, отчаяние, разные виды «насильственных коллективных волнений», часто слепо ведущих людей за лидером, который, пользуясь привилегией массового доверия, утверждает себя в качестве тирана. Одним из условий сохранения демократии является предотвращение условий, порождающих социальное возбуждение, воспитание людей в духе, исключающем появление склонностей к подобным настроениям. В противном случае неизбежно возникновение двух крайностей — «дикого догматизма», когда всякое новое, идущее вразрез с общепринятым мнение вызывает деструктивные социальные и политические последствия, и фанатичного экстремизма. Обе они ведут к нарушению спокойствия и стабильности, которые необходимы для нормального развития общества. Особенно опасны экстремисты, как правило пренебрегающие гуманными отношениями между людьми. Если их не остановить силой, то они сами используют силу против других. «Коллективное возбуждение, включающее безразличие к боли и даже к смерти, — отмечает Рассел, — для истории не является необычным. Там, где оно существует, свобода невозможна»<sup>41</sup>.

Коллективная истерия, по мнению Рассела, облегчает ведение войн и порождает различные деспотические диктатуры. «Война — главный стимулятор деспотизма... Предотвращение войны является поэтому существенной частью нашей проблемы (проблемы власти. — В. М.), я бы сказал, наиболее существенной. Я верю, что если однажды мир будет избавлен от страха войны, независимо от формы правительства или экономической системы, при которых это произойдет, со временем откроются пути для укрощения свирепых правителей. С другой стороны, всякая война, особенно современная война, способствует установлению диктаторских режимов...»<sup>42</sup> Таким образом, война у Рассела выступает как крайняя форма уродливого выражения власти и одновременно как средство для создания

условий, неизбежно предполагающих разрушение нормальных властных отношений в обществе.

От определения власти через раскрытие ее философских оснований, выяснение политических, экономических, военных, пропагандистских и психологических условий ее функционирования, обнаружение причин злоупотребления властью и способов ее укрощения, осуждение различных форм принуждения, из которых наиболее варварским является война, — такова логическая структура концепции власти Рассела и исторический путь его собственной политической эволюции. Многие идеи этой концепции легли в основу дальнейших теоретических исследований, а одна из них — о необходимости в современных условиях полного освобождения человека от войн — явилась наиболее плодотворной и в практически-политическом отношении, ибо отвечает коренным жизненным интересам человечества — сохранению цивилизации.

<sup>1</sup> См.: *Russel B. Power. L., 1985 (first published in 1938). P. 25.*

<sup>2</sup> См.: *Weber M. Economy and Society. Berkeley, 1978. P. 941—948.* В западной политологической литературе последних лет появилось введенное американским политологом Д. Болдуином понятие «парадокса нереализованной власти», ситуации, когда явно более мощное государство проигрывает конфликт слабому. Используя это понятие, профессор политической науки государственного университета Флориды Дж. Рей пишет, что оно обозначает неудачу мощного государства в преобразовании своих «ресурсов власти в актуальную власть», и иллюстрирует это следующими примерами: «Соединенные Штаты не выиграли войну во Вьетнаме из-за того, что они не хотели оказаться плохими победителями или по крайней мере в такой степени, как это сделал Северный Вьетнам. Подобно этому и Советский Союз так долго возится с подавлением оппозиции в Афганистане потому, что он просто не приложил достаточных усилий для выполнения задачи» (*Ray J. Global Politics. Boston, 1987. P. 165.*)

<sup>3</sup> См.: *Foucault M. Disciplinary Power and Subjection // Power. N. Y., 1986. P. 229—242.*

<sup>4</sup> *Dahl R. The Concept of Power // Behavioral Science. 1957. N 2. P. 201—215.*

<sup>5</sup> См.: *Arendt H. On Violence. L., 1970.*

<sup>6</sup> См.: *Habermas J. Hannah Arendt's Communications Concept of Power // Power. P. 75—93.*

<sup>7</sup> См.: *Poulantzas N. Political Power and Social Classes. L., 1973. P. 104—114.*

<sup>8</sup> См.: *Lasswell H., Kaplan A. Power and Society: a Framework for Social Enquiry. New Haven, 1950.*

<sup>9</sup> См.: *Parsons T. On the Concept of Political Power // Proceedings of the American Philosophical Society. 1963. P. 232—262.*

<sup>10</sup> См.: *Aron R. Macht, Power, Puissance: Prose democratique ou poésie demoniaque? // European Journal of Sociology. 1964. Vol. 1. P. 27—51.*

- <sup>11</sup> См.: *Feinberg J. Harm to Others*. N. Y., 1984.
- <sup>12</sup> См.: *Galbraith J. K. The Anatomy of Power*. L., 1984.
- <sup>13</sup> Взаимоисключение подходов и взглядов касается не только отдельных проблем, но затрагивает подчас и целые отрасли знания. Крайне нигилистическую позицию по отношению к академической политической теории занимает профессор политической науки Нью-Йоркского государственного университета Дж. Гуннел, посвятивший солидную монографию исследованию путей преодоления политического отчуждения и «преодолению» вместе с ним и политической теории. Он ставит целью политическую теорию прежде всего столкнуть лицом к лицу с нею же самой и демифологизировать всю затею. «Эти мифы, — пишет он, — включают веру в то, что канон классических текстов, по крайней мере от Платона до Маркса, действительно составляет историческую традицию, которая объясняет настоящее; что эпистемология раскрывает природу научного и общественно-научного объяснения и обеспечивает основу научного исследования и познания; что философия и политическая теория могут открыть и ясно сформулировать трансцендентальные основания политических суждений; что политика есть нечто большее, чем обычная форма человеческого действия, или имеет некоторую существенную черту, которая объясняет ее и придает ей ценность; и что академические рассуждения о политике эквивалентны политическим рассуждениям. Взаимосвязь этих мифов и вызвала то, что я называю отчуждением политической теории» (*Gunnell J. Between Philosophy and Politics*. Amherst, 1986. P. 1).
- <sup>14</sup> *Lukes S. Introduction // Power*. P. 4.
- <sup>15</sup> Труды Б. Рассела в оригинале, изданные в Лондоне в издательстве Unwin: *German Social Democracy*. 1896; *The Principles of Mathematics*. 1903; *The Philosophy of Leibniz*. 1900; *Principia Mathematica* (with A. N. Whitehead). 3 vols. 1910—1913; *History of Western Philosophy*. 1945 (русский перевод: *Рассел Б. История западной философии*. М., 1959); *An Inquiry into Meaning and Truth*. 1940; *Human Knowledge: Its Scope and Limits*. 1948; *Political Ideals*. 1917; *Roads to Freedom*. 1918; *Principles of Social Reconstruction*. 1916; *The Practice and Theory of Bolshevism*. 1920; *Power*. 1938; *New Hopes for a Changing World*. 1951; *Human Society in Ethics and Politics*. 1954; *The Impact of Science on Society*. 1952.
- <sup>16</sup> Здесь и далее, если не указан источник, цитируются переводы работ Рассела 50-х годов, опубликованные в ж. «Вопросы философии» (1988. № 5. С. 131—136).
- <sup>17</sup> *Morghentau H. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. N. Y., 1967. 4th ed. P. 13.
- <sup>18</sup> Английский политолог А. Марш и западногерманский профессор политической науки М. Каазе приводят любопытное свидетельство целеустремленности и настойчивости Рассела в отстаивании своих пацифистских взглядов даже после того, «когда Бертран Рассел был избит антипацифистскими бунтовщиками, разогнавшими его митинг, который выражал протест против всеобщей воинской повинности во время первой мировой войны» (*Barnes S. H., Kaaze M. et al. Political Action*. L., P. 87).
- <sup>19</sup> *Russel B. Portraits from Memory*. L., 1956. P. 27.
- <sup>20</sup> *The Encyclopedia of Philosophy*. N. Y., 1967. Vol. 7—8. P. 235.
- <sup>21</sup> *Russel B. Power*. L., 1985. P. 9.

<sup>22</sup> Ibid. P. 10.

<sup>24</sup> Ibid. P. 10.

<sup>23</sup> Ibid. P. 9.

<sup>25</sup> Ibid. P. 25.

<sup>26</sup> Рассел подчеркивает, что «главная причина изменений в современном мире — это возросшая власть над материей, чему мы обязаны науке» (Ibid. P. 25).

<sup>27</sup> Ibid. P. 11.

<sup>31</sup> Ibid. P. 24.

<sup>28</sup> Ibid. P. 12—13.

<sup>32</sup> Ibid. P. 33.

<sup>29</sup> Ibid. P. 13.

<sup>33</sup> Ibid. P. 34.

<sup>30</sup> Ibid. P. 23.

<sup>34</sup> Ibid. P. 187.

<sup>35</sup> Ibid. В иной плоскости оценивает власть организации и возможности злоупотребления властью американский профессор политической науки Г. Макконнелл. Он анализирует малые группы и ассоциации, имея в виду не только самостоятельные социальные образования, но и руководящие группы политической элиты. «Использование власти частичными группами и ассоциациями, как вне своих пределов, так и внутри себя, носит глубокий отпечаток узости организации. Как в свое время было замечено еще Мэдисоном (президент США с 1809 по 1817 г.— В. М.), чем меньше само общество, тем мельче стороны и интересы, его составляющие; чем меньше эти стороны и их интересы и ограниченно пространство, в котором они действуют, тем легче они объединяются и сообща выполняют свои планы притеснения. Будучи слишком далекой от мыслей по обеспечению гарантий свободы, равенства и забот о народных интересах, организация политической жизни в малых образованиях стремится принудить людей к конформизму и дискриминации, к выгоде элиты и исключить общие ценности из имеющих реальную силу политических соображений» (McConnell G. Private Power and American Democracy. N. Y., 1966. P. 6).

<sup>36</sup> Russel B. Power. P. 188.

<sup>37</sup> Ibid. P. 192.

<sup>40</sup> Ibid. P. 196.

<sup>38</sup> Ibid. P. 194.

<sup>41</sup> Ibid. P. 201.

<sup>39</sup> Ibid. P. 152.

<sup>42</sup> Ibid.

# МАССА И ВЛАСТЬ

(политическая антропология Э. Капетти)

Л. Г. ИОНИН

Широкое участие народных масс в управлении обществом и принятии политических решений, развитие конституционных и юридически-правовых гарантий личности — необходимые основания для демократического развития общества. В странах капиталистического Запада на имя демократических претендуют политики самых различных направлений, демократическими именуются самые разные способы политической организации общества, самые разные политические режимы. Кардинальный вопрос заключается в том, в какой степени народные массы являются субъектом политического действия и в какой степени эти действия отражают потребности и интересы масс? Если широкие массы оказываются объектом манипуляций со стороны правящего класса, находящегося у власти правящего слоя или группировки, какая бы идеология ни помогала в этом обмане народных масс, нельзя, разумеется, говорить о демократической политике. С другой стороны, наличие массового базиса политики само по себе еще не позволяет характеризовать политический режим как демократический: он может быть авторитарным, тоталитарным, террористическим, антидемократическим режимом и тем не менее в большей или меньшей степени опираться на массы, либо введенные в заблуждение демагогией властителей, либо поддавшиеся действию «стадного чувства», того, что называют «инстинктом толпы». В таких случаях, разумеется, речь идет не о народных массах (ибо представление о народных массах предполагает социально структурированное, дифференцированное единство), а о «массе» как таковой, представляющей собой огромное число изолированных, отчужденных человеческих индивидуумов.

На такого рода массе основывалась политика фашистских лидеров. Такая масса легко поддается психологическому заражению, в ней преобладают настроения то

фанатической самозабвенной храбрости, то панического страха. Такой массой легко манипулируют опытные демагоги — «вожди». Ее можно назвать «абстрактной массой», ибо составляющие ее индивиды, входя в массу, как бы лишаются содержательных социальных, профессиональных и т. п. характеристик.

Соотношения власти и абстрактной массы, способы их взаимодействия оказываются совсем иными, чем в случае массовой демократической политики. Несмотря на то, что феномен такого рода масс известен давно, научный анализ ее политического поведения и функционирования осуществлен далеко не достаточно. Можно назвать имена Г. Лебона, Фр. Ницше, Х. Ортеги-и-Гассета, посвятивших ряд своих работ изучению этого явления. Однако события европейской истории XX в., в первую очередь явление германского фашизма, свидетельствуют о необходимости его более пристального исследования.

Соотношение власти и того, что мы назвали абстрактной массой, стало предметом исследования крупного европейского писателя, социального философа Элиаса Канетти<sup>1</sup>. Главной его работой в этой области стал философско-социологический трактат «Масса и власть», та же проблема ставилась им в различных эссе, романах, драмах.

Несмотря на то что в тексте книги «Масса и власть» отсутствуют ссылки на факты и обстоятельства новейшей истории, политическая актуальность проблем, которые ставит и пытается разрешить Канетти, распознаются читателем безошибочно. Канетти начал сбор материалов для своего трактата в 1943 году — в разгар второй мировой войны, и нет сомнения, что причиной тому было желание понять особую природу взаимодействия массы и власти в германском фашизме. Но не только. Замысел Канетти значительно шире. Как можно объяснить многочисленные факты появления в истории все новых и новых фигур героев-завоевателей, черпающих свою силу и власть в спонтанных на первый взгляд действиях масс, покоряющих массы и использующих их для достижения собственных целей? Европейская история XX века, по его мнению, не может быть объяснена без обращения к предшествующим векам и эпохам исторического развития.

Канетти закончил работу над «Массой и властью» в 1960-м году. Но уже тогда выход в свет подобной книги мог быть расценен не только как попытка объяснения прошлого, но и как предостережение по отношению к будущему. Угроза ядерного уничтожения планеты застав-

ляет гораздо более остро ощутить опасность еще остающихся жизнеспособными и сегодня политических тенденций, выявленных Канетти в предшествующей истории. «Самые сумасшедшие мечтания прежних властителей, для которых выживание было страстью и мукой, сегодня кажутся жалкими. История обрела вдруг, если смотреть на нее из сегодняшнего дня, скромный и приятный лик. Как долго это длилось в прошлом и как мало можно было уничтожить на этой земле! Сегодня между решением и действием пролетит лишь мгновение. Что Чингисхан! что Тамерлан! что Гитлер! — по сравнению с нашими возможностями — жалкие подмастерья и халтурщики»<sup>2</sup>. Так пишет Канетти в эпилоге своей книги.

Угроза, о которой он говорит, реальна, но не фатальна. Анализ Канетти отношений массы и власти, т. е., по сути дела, политических отношений, несмотря на кажущийся пессимизм, пронизан антифашистским, антимилитаристским, гуманистическим пафосом. И, несмотря на то что Канетти явно не удастся дать исчерпывающее объяснение главных закономерностей политического развития, книга «Масса и власть» (как и некоторые другие его работы, на которые мы будем ссылаться далее) помогает глубже понять некоторые важные черты современного мирового политического процесса формирования различных доктрин государственного терроризма и в немалой степени способствует единению гуманистических сил мира в борьбе за общечеловеческие ценности.

## **1. Феноменология массы и власти.**

### **Вопрос о методе**

Главной методологической задачей для Канетти является обнаружение в человеческой природе изначальных феноменов, на основе которых организуются «институты» власти и массы. Методология эта весьма расплывчата, но определенные «правила метода» все же имеются: избегать неосознаваемых предпосылок, скрытых в применяемых понятиях, не связывать разрозненные явления в сомнительные целостности, не доверять тому, что не может быть дано непосредственно<sup>3</sup>. Это своеобразная описательная феноменология, избегающая понятий, поскольку последние контрабандой вносят всегда нечто чуждое, не осознанное и не признанное самим мыслителем.

Так, Канетти пишет: «Для подлинного понимания этого феномена (власти. — Л. И.) необходимы новые

средства. Их нужно искать, добывать и применять всюду, где только возможно. Метод такого исследования еще не мог возникнуть. Строгость специальных дисциплин в этой области обнаруживает себя как суеверие. От них ускользает именно то, на чем следует сосредоточиться. Нерасчлененная целостность самого феномена — вот высшая предпосылка<sup>4</sup>. И в другом месте: «Я чувствую, что всякое понятие, которое я налагаю на вещи извне, их каким-то образом скрашивает и изменяет, и потом уже их нельзя воспринять такими, какими я их пережил и осмыслил»<sup>5</sup>.

Канетти с очень большим подозрением относится к философским и социологическим системам, теориям, понятиям. Те же познавательные средства, которыми оперирует он сам, всегда сохраняют в себе элемент наглядности и самоочевидности: это понятия-образы. Масса, например, может рассматриваться как «круговая» (пространственная форма — стадион), «двойная» (мужчины и женщины, живые и мертвые, противоборствующие стороны на войне) и т. п. В результате Канетти приходит к крайне формальным, т. е. лишенным психологической и социологической определенности, но в то же время непосредственно, наглядно воспринимаемым понятиям-образам. Оказывается, что именно эти формальные характеристики массы определяют ее специфику.

Цель Канетти, конечно, не состоит просто в разработке классификаций, понятий-образов, они служат лишь средствами феноменологического анализа явлений массы и власти в истории. Материалом для анализа выступает у Канетти четыре типа источников: 1) собственные автобиографические «переживания феномена массы»; 2) мифы; 3) сообщения историков; 4) письменные свидетельства душевнобольных. Основной материал открывается в первом из названных типов источников. Так, описывая сожжение восставшими рабочими Вены здания окружного суда в июне 1927 г. и расстрел рабочих полицией — всему этому он был непосредственным свидетелем, — Канетти добавляет: «Это было 46 лет назад, но возбуждение этого дня до сих пор сидит глубоко во мне. На своем собственном теле я пережил, что это значит — быть рядом с революцией... С тех пор я точно знаю ... что происходило при штурме Бастилии. Я стал частью массы, я полностью растворился в ней и не испытывал ни малейшего желания сопротивляться тому, что она предпринимала. Меня лишь не покидает удивление, как я в тогдашнем моем состоянии



смог уловить конкретные детали того, что разыгрывалось у меня перед глазами»<sup>6</sup>.

В этом описании — ключ к его феноменологическому видению и ответ на вопрос, в каком опыте он открывает исторически универсальные феномены поведения массы. Точно так же Канетти «видит» и миф. Нет ничего более чуждого его подходу, чем сравнительный анализ мифов. Каждый миф — Канетти неоднократно писал об этом — должен переживаться как истинное свидетельство мировосприятия отдаленных культур и народов; дело не в том, чтобы реконструировать логику формальных структур мифа, волшебной сказки; задача — обнаружить антропологические универсалии, составляющие «реальность» мифа.

Третья группа источников — исторические свидетельства — интересует Канетти лишь в той мере, в какой в них отсутствует интерпретация описываемых событий. Ценнее всего свидетельства о какой-либо культуре представителей других, чуждых ей культур (Ибн-Батута о Китае, Аль-Бируни об Индии и т. п.); в этом случае описываемые явления выступают антропологически отстраненными, а потому лишены характерных для культурных «самоотчетов» умолчаний о нормально-повседневном, т. е. о том, что сам автор воспринимает как само собой разумеющееся и недостойное особого упоминания.

Следует упомянуть также о стремлении Канетти-писателя к проведению художественных экспериментов на социальном, межличностном, экзистенциально-биографическом уровнях. Эта черта роднит его с Кафкой, Свифтом, со всей утопическо-антиутопической традицией западноевропейского романа. Здесь художественное изображение приходит на помощь философско-социологическому<sup>7</sup>.

Уже этого краткого разбора методологии Канетти вполне достаточно, чтобы ответить на вопрос, как он приходит к отождествлению изначальных феноменов массы и власти. «Центральный феномен» массы означает утрату того, что Канетти называет «страхом перед касанием». Человек инстинктивно сторонится прикосновения к другому. От этого страха он освобождается только в массе. «Это единственная ситуация, — пишет Канетти, — когда страх преобразуется в нечто противоположное. Тесная масса, где одно тело прижато к другому, плотна также и в своем духовном строении, ибо человеку неважно даже, кто на него „давит“, так как человек включен в массу и прикосновение его уже не страшит. Здесь все равны друг

другу. Никакие различия не принимаются во внимание, даже различия полов. Тот, кто ко мне прижимается, таков же, как и я сам. Я ощущаю его так же, как себя самого. Все оказывается как будто происходящим внутри единого тела»<sup>8</sup>. Поэтому, говорит Канетти, всякая образовавшаяся масса стремится стать еще плотнее: ее цель — полностью освободить индивида от страха касания. Чем теснее люди прижаты друг к другу, тем в большей безопасности они себя чувствуют, тем меньше они друг друга опасаются. Иначе говоря, становление массы ведет как бы к «снятию» индивидуально-психологических закономерностей, масса начинает жить собственной жизнью, закономерности существования которой имеют совсем другой характер, чем индивидуальное поведение.

Здесь нужна оговорка, чтобы отделить идеи Канетти о массе от распространенных ныне концепций массового общества, представленных именами Ортеги-и-Гассета, Рисмена и др. В последних речь идет о массах индивидов, психика и поведение которых сформировались идентичным образом. «Онтология» массового общества глубоко индивидуалистична. По точному выражению Рисмена, масса в массовом обществе — это «толпа одиноких». По Канетти же, масса занимает иное место в «иерархии бытия». Это — своеобразная форма совместного человеческого существования, обладающая своими, ей лишь свойственными жизненными проявлениями. Укажем на основные из них.

Возникновение массы может быть преднамеренным либо случайным (собрание, начинающаяся демонстрация, группа зевак и т. п.). Это могут быть собравшиеся вместе пять, десять, двенадцать человек. Но если масса возникла, пишет Канетти, она хочет существовать и далее. «Стремление к возрастанию — это первое и главное свойство массы. Она захватывает любого, кто в пределах ее досягаемости... Естественная масса — это открытая масса: ее рост ничем не ограничен. Домов, дверей и замков она не признает; все, что заперто, подозрительно для нее... Открытая масса существует, пока растет. Ее распад начинается, как только она перестает расти»<sup>9</sup>.

Противоположностью открытой массе выступает масса замкнутая или закрытая. Если для открытой массы характерен рост, то для закрытой — постоянство. У нее есть граница. Закрытая масса четко ограничивает себя определенным пространством, например залом для собраний. Граница делает невозможным нерегулируемый прирост,

но она же затрудняет и распад массы. Она же охраняет массу от внешних враждебных воздействий. «Особенно важна для закрытой массы возможность повторения. Перспективой нового соединения ободрает она себя при каждом новом распаде. Здание существует, существует именно ради нее, и поскольку оно продолжает существовать, всегда имеется возможность собраться снова. Это ее пространство, и даже в час отлива своей пустотой оно напоминает о времени прилива»<sup>10</sup>.

Это — лишь самые первые, исходные моменты анализа массовых процессов у Канетти. Для него важно то, что, как «центральный феномен» массы — утрата страха касания, — так и дальнейшие моменты жизни массы наглядны и самоочевидны, могут быть непосредственно пережиты каждым человеком, а не являются понятийными конструкциями.

Такого рода феноменологический, т. е. беспредпосылочный, апеллирующий к непосредственному переживанию, подход ведет Канетти к определенного рода содержательным выводам. Методология оказывается чревата определенными последствиями для теории. Дело в том, что именно нерефлексивное, происходящее на инстинктивном уровне соединение индивидов в массу ведет к формированию того, что мы назвали выше «абстрактной массой». Сколько-нибудь развитая социально-теоретическая рефлексия здесь исключается спецификой самого подхода. А ведь без такой рефлексии политически и социально активные массы вряд ли могут возникнуть. Так что с самого начала Канетти кладет в основу своей концепции представление о массе определенного рода — об абстрактной массе. Такой массе противопоставляется и определенного рода идея власти, которую Канетти выводит также из феноменологии переживания власти.

«Центральный феномен» власти, по Канетти, конкретен и нагляден; это — триумф выжившего. «Момент выживания (*des Überlebens*) есть момент власти. Ужас при виде мертвого разрешается удовлетворением при мысли о том, что мертв не я сам. Мертвый лежит, а выживший стоит. Как будто бы произошло сражение и будто бы человек сам сразил того, кто сейчас мертв. В деле выживания каждый враг другому, и по сравнению с этим элементарным торжеством любая боль невелика. Важно, однако, что выживший один противостоит множеству мертвых. Он видит себя одиноким, он чувствует себя одиноким, и когда речь идет о власти, которую он ощущает в этот

момент, то нужно всегда помнить, что именно из его единственности, а только из нее, вытекает власть»<sup>11</sup>. Если момент власти есть момент выживания и если ощущение власти, избранности тем сильнее, чем оно чаще, то получается, что в подножии власти не стоят, но «лежат» массы, и это — массы мертвых. Приращение этой массы усиливает власть. Герой превращается в великого героя, оказывается богоравным по мере возрастания массы тех, кого он пережил, лежащих в подножии его славы. Канетти иллюстрирует его положение, которое кажется ему бесспорным, мифами и историческими преданиями, апеллирует к чудовищным преступлениям фашизма, и не сразу понятно, то ли он «модернизирует» Чингисхана или Александра Великого, то ли «архаизирует» Гитлера. Скорее всего, он наблюдает эти отделенные тысячелетиями друг от друга исторические моменты как проявления одного и того же исторически универсального феномена власти.

В размышлениях Канетти о природе власти (так же, как в его идеях о природе массы) трудно отделить теоретическое осмысление от образного, метафорического схватывания проблемы. Во всяком случае, метод здесь также порождает ограниченное понимание самого феномена — власть сводится, во-первых, к непосредственности переживания власти (а в случае, например, представительного правления, в различных бюрократизированных формах осуществления власти эта непосредственность отсутствует) и, во-вторых, к специфической форме этого переживания — к торжеству победителя. Ясно, что этим не исчерпывается феноменология власти. Здесь было бы целесообразно говорить о господстве (причем тоже в узком, специфически ограниченном понимании этого термина). Представление же о власти должно учитывать и возможность творческой преобразовательной активности в соответствующих политических формах. У Канетти этого нет. В результате оказывается, что его представление о власти чрезвычайно узко, и эта «узость» имеет антропологическое основание. За феноменологией прячется антропология. Канетти исходит из своеобразного представления о «человеке властвующем», главным жизненным стимулом и целью которого является «триумф выживания». Тот факт, что феномен власти (в своей собственной специфической трактовке) Канетти рассматривает как универсальный исторический феномен, лишний раз свидетельствует об антропологическом происхождении его идей. Поэтому, если бы понадобилось определить жанр

этого философско-социологического трактата, можно было бы назвать его трудом в области политической антропологии. Политическая антропология — это учение о человеке как источнике и объекте власти. Этим определением описывается специфика политической философии Канетти. Но именно антропологическая ориентация его подхода, хотя и позволяет вскрыть ряд новых и интересных закономерностей, проявляющихся в отношениях власти, существенно ограничивает, суживает понимание власти и политики, не дает возможности схватить эти явления во всей их полноте и многообразии, не позволяет выявить их действительную специфику, понять тенденции и направления их исторического развития.

Короче, Канетти берет власть в одном из ее аспектов — в аспекте непосредственности, и выдает этот важный, но не исчерпывающий явление аспект за сущность власти.

## **2. Власть в действии. Приказ и смерть**

Но каким же образом масса живых людей соотносится с таким явлением, как власть, каким образом и насколько эффективно власть способна воздействовать на массу? По мнению Канетти, власть воздействует через приказ и угрозу смерти. Каждый приказ делится на две составные части: в нем всегда есть «толчок» и есть «жало». Толчок — это побуждение к действию, а именно: к действию согласно приказу. Жало остается в том, кто выполнил приказ. Если приказ функционирует нормально, т. е. согласно ожиданиям, то жала не видно; оно сидит глубоко, человек о нем даже не подозревает. И вместе с тем оно постоянно и неизменно. «В нем сохраняется содержание приказа; его сила, дальное действие, ограниченность — все запечатлевается навсегда в то мгновение, когда отдан приказ. Могут пройти годы и десятилетия, прежде чем эта глубоко проникшая и сохраняющаяся часть приказа вдруг обнаружится при малейшем намеке на соответствующую приказу ситуацию. Важно, что ни один приказ не минует бесследно; он никогда не выполняется ради себя самого, он сохраняется навсегда»<sup>12</sup>. Вместе с ним сохраняется и угроза, которой лишь и живет приказ.

Власть эффективна в том случае, когда приказ достигает цели, когда за ним постоянно маячит угроза смертью. Воздействуя на массу, власть вызывает два массовидных феномена: массовый страх и массовое бегство.

Каково их содержание? Страх массы — это не паника, когда каждый озабочен спасением собственной персоны. Масса движется организованно, в определенном избранном направлении. Если в панике каждый выступает изолированно, а потому ощущает опасность в наибольшей степени, массовое бегство дарует каждому из индивидов ощущение безопасности. Он вливается в массу и живет не своей собственной, а ее жизнью.

В этом — своеобразие приказа, обращенного ко многим. Цель его — создать из многих людей единую массу. Иногда это удается сделать, не возбуждая массового страха и бегства; иногда оказывается достаточным жертвы. Так или иначе, «призывы ораторов, побуждающие массу двигаться в определенном направлении, выполняют именно эту функцию и могут быть истолкованы как приказ ко многим. С точки зрения массы, которая, возникнув, стремится сохранить себя как единство, такие призывы полезны и необходимы. Искусство оратора состоит как раз в том, чтобы в лозунгах и призывах соединить и выразительно подать все то, что помогает возникновению и сохранению массы. Он буквально создает массу и поддерживает ее жизнь своими приказами. Если она живет, то неважно, что он потом от нее потребует»<sup>13</sup>. Приказ, таким образом, создает из множества индивидов массу и подводит ее под руку политика. Так власть паразитирует на массе. Источником власти является страх каждого отдельного индивида; в массе он ищет укрытие от страха. В массе вместе со страхом он утрачивает и ответственность за свои деяния.

Конспективно изложенные здесь соображения Канетти ведут к ряду важных заключений. Прежде всего, следует упомянуть об ответственности индивида за свои поступки. Канетти не называет имен, не ссылается на конкретные обстоятельства, но когда он пишет о том, что под воздействием приказа люди совершают чудовищные античеловеческие акции, а потом, будучи поставлены лицом к лицу с их результатами, твердят: это не я сделал! — то читателем легко распознаются преступления, их исполнители и политический режим фашистской Германии. Действительно, говорит Канетти, возникает естественное сомнение: а мог ли этот добропорядочный гражданин совершить немыслимые злодеяния, которые ему приписываются? Но проходит еще ряд свидетелей, опознают виновника в лицо, сомнения исчезают, и вопрос становится казалось бы неразрешимой загадкой. Однако Канетти на-

ходит ответ. Хотя приказ давно исполнен, жало его, как инородное тело, продолжает существовать в бессознательном опыте исполнителя. Оно чуждо ему, как чужд был сам приказ; и он рассматривает себя как жертву, отказываясь признавать вину за совершенные поступки. При этом ощущение невинности тем больше, чем более чужд ему был сам выполненный приказ. Это — искреннее ощущение невинности, более того — искреннее восприятие самого себя как жертвы приказа, жало которого до сих пор гнездится в теле. И это тем более страшно, что при возникновении новой, схожей с предыдущей ситуации жало приказа побудит к тем же самым действиям. Искреннее ощущение невинности не дает возможности выработать психологическую защиту. Образно говоря, оно лишает возможности «вынуть» жало.

Размышления Канетти об этой «банальности зла» позволяют схватить некоторые социально-психологические механизмы перерождения вполне невзрачных учителей, юристов, механиков и т. п. в нацистских «фюреров», причем перерождения, не захватывающего остальные, вполне обыденно-человеческие стороны их личности. «С какой бы стороны ни посмотреть, — пишет Канетти, — приказ в своей компактной завершенной форме, какую он приобрел сегодня в результате долгой истории, является одним из опаснейших элементов совместного человеческого существования. Надо иметь смелость противостоять ему, пошатнуть его господство, надо найти пути и средства освободить от его воздействия большую часть человека»<sup>14</sup>. Таким образом, способность человека сопротивляться выполнению приказов становится мерой его свободы. Полностью освободиться невозможно, ведь приказ приходит не столько извне (по отношению к сознанию), сколько изнутри, вызывается и определенными телесными состояниями: приказ как бы «отпечатан» в них. Поэтому Канетти пишет о необходимости освобождения «большей части человека» как социальной личности. Нужно ли говорить о том, что, будучи сосредоточенным на феноменологии человеческого существования, Канетти не видит иной возможности освобождения, чем освобождение «изнутри», путем осознания угрожающей опасности. Человек должен обрести моральную силу невыполнения приказов. «Только выполненный приказ оставляет... свое жало. Кто отклонил приказание, тот не хранит в себе жало. „Свободный“ человек — тот, кто научился отклонять приказ, а не тот, кто освобождается от жала лишь впо-

следствии. Однако тот, кто слишком долго тянет с таким освобождением, или вообще не осиливает его, тот — без сомнения, лишен минимума свободы»<sup>15</sup>.

Но как возможно освобождение от уже глубоко сидящего жала выполненного приказа? Оно может произойти лишь путем «обращения», перевертывания изначальной ситуации. Жало остается тем же самым, но ситуация превращается в противоположную, роли меняются: тот, кто отдавал приказ, теперь исполняет его. Полнее всего освобождение происходит в массе. Масса может обрушиться на одного человека, отдававшего приказы: солдаты, убивающие офицера. Масса — группа, сословие, класс — может обрушиться на многих противников: «Обращение, направленное против многих, разрушает самое тяжелое жало»<sup>16</sup>. Но в чистом виде массовое обращение происходит в восстании против высшей власти. Верховный властитель — источник всех возможных приказов. Он — последняя инстанция смертных приговоров, так что в его особе воплощена сущность приказа. И когда восстание удастся, оно неизбежно завершается казнью короля. «Тем самым удаляется высшее, всеохватывающее жало, которое кажется воплощающим в себе все приказы...»<sup>17</sup>. Однако обращение оказывается временным. «Удаленное» жало не дает «иммунитета» по отношению к приказам новой власти. Мы снова возвращаемся к умению отказываться или уклоняться от исполнения приказа как к единственному источнику свободы. Если «момент власти» — это момент триумфа выжившего, то эта ситуация потенциально воспроизводится в любом отношении власти и массы, ибо приказ, обращенный ко многим, это все равно приказ, т. е. в конечном счете угроза смертью. Соотношение потенциального и реального «моментов» власти — предмет многих размышлений Канетти. В концентрированной форме эта проблема обсуждается им в написанном в 1971 г. очерке «Гитлер по Шпееру», оригинальном опыте анализа социальной психологии фашизма. Можно сказать, что в нем сплетаются воедино все линии мышления Канетти о власти и о массе\*.

В этом очерке говорится об архитектурных планах Гитлера, осуществить которые пытался близкий к Гитлеру архитектор Шпеер, по чьим воспоминаниям Канетти пытается осмыслить психологию гитлеризма. Как уже говорилось, существует два главных средства удержать

---

\* См. русский перевод: Социологические исследования. 1986. № 4.



массу от распада: ее возрастание и ее постоянное воспроизводство, или повторение. Гитлер, которого привела к власти масса, был, по выражению Канетти, «эмпириком массы, каких мало было в истории», и он знал эти средства. Шпеер проектировал по его приказаниям гигантские стадионы, соборы, парадные площади. Так, «Куппельсберг» должен был вмещать в 15 раз больше людей, чем собор св. Петра в Риме, улица парадных шествий должна была иметь в ширину 120 метров и быть в два с половиной раза длиннее Елисейских полей, которые в Париже венчаются Триумфальной аркой, высота которой — 50 метров; триумфальные ворота, запланированные Гитлером, должны были быть 120-метровой высоты. Примеров такого рода множество. Подобная архитектура должна была создать в глазах массы иллюзию бесконечного возрастания; периодические шествия с их знаменами, музыкой и т. п. должны были создать иллюзию непрерывного существования массы.

На триумфальных воротах Канетти останавливается особо. Они не только должны были в два с лишним раза превзойти арку, поставленную в честь военных триумфов Наполеона; на них должны были быть выгравированы имена 1,8 миллиона немцев, погибших в первой мировой войне. Политическое значение этого сооружения ясно: это отказ признать поражение в первой мировой войне и обещание побед, которые превзойдут победы Наполеона. Но еще важнее ее символическое значение, которое подчеркивает Канетти: «Ворота, задуманные навечно, должны были состоять из твердого камня. Но в действительности они состояли из материала, неизмеримо более ценного — из 1,8 миллиона мертвых. Имя каждого павшего будет врезано в гранит. Им будет оказана честь, но они окажутся собранными воздино теснее, чем любая возможная масса. Именно это гигантское число конституировало триумфальные ворота Гитлера. Это были мертвые не его собственной, задуманной и планируемой им войны, но мертвые первой войны, в которой и он участвовал вместе с ними. Он их пережил... Они были его массой, когда у него не было другой, они помогли ему прийти к власти; без мертвых первой мировой войны не было бы его самого»<sup>18</sup>.

Здесь очень точно выражено содержание «момента власти»: масса мертвых и масса живых должны были как бы соединяться в моменты торжественных шествий, ведущих к триумфальным воротам. Для Канетти Гитлер —

тот самый патологический случай, который обнажает явления, в норме не замечаемые. Дальнейший ход войны, безнадежное сопротивление до конца, сопровождаемое мистической верой Гитлера в окончательную победу, — все это свидетельствует о том, что Гитлер ощущал себя непобедимым до тех пор, пока возрастала масса мертвых — тех, кого он пережил, — причем с обеих сторон.

Изложенные соображения Канетти носят крайне формальный, абстрактный характер. Виной тому — антропологическая ориентация его политической философии. «Герои» его тонких анализов как бы вовсе не обладают конкретными социальными характеристиками. А ведь эти конкретные характеристики играют отнюдь не последнюю роль в обосновании приказов, их восприятии, готовности им следовать или их отклонять.

Представитель массы у Канетти — «человек вообще», своего рода «человеческий механизм», как бы не обладающий собственным отношением к миру. Отсюда и сомнительность успеха осуществления призыва Канетти к выработке в человеке моральной силы, готовности к невыполнению приказа. Это, по сути дела, призыв к выработке в каждом человеке способности к гуманистической рефлексии. Этот благородный призыв вряд ли может быть реализован «напрямую» — от антропологически фиксируемого человека вообще к человеку как носителю высших моральных ценностей. В каждом конкретном человеке проявления высших моральных ценностей опосредуются воздействием ценностей, диктуемых его классовой принадлежностью, конкретной социальной ситуацией деятельности. Не учитывая эти конкретные социальные моменты и характеристики, Канетти обедняет собственный анализ. Ему трудно ответить на вопрос, как сочетались в политических манипуляциях фашистских лидеров и в сознании исполнителей человеконенавистнических приказов действия, основанные на проявлении универсальных антропологических закономерностей, в какой мере на них влияли конкретные классово обусловленные побуждения и интересы.

### 3. Антропология и политика власти

Должно ли вышесказанное означать, что «гитлеры» являются и будут являться в истории с фатальной предопределенностью? Для того чтобы выяснить слабые и сильные стороны ответа, который Канетти дает на этот

вопрос, нужно детальнее остановиться на его концепции человека, т. е. на его философско-антропологических представлениях.

Возникновение человека, выделение его из животного царства имеет своей причиной, по Канетти, его необычайную способность к превращению. Превращение (*Verwandlung*) — это способность становиться другим, или, если воспользоваться языком современной социологии, принимать роль другого. Эта способность не сводится к подражанию; подражать могут попугаи и обезьяны. Но в подражании реализуется лишь внешнее сходство походки, жестикуляции, звуков и т. п. Сам же подражающий при этом несколько не изменяется: «можно было бы сказать, что подражающий не знает того, кому он подражает; он не пережил его изнутри»<sup>19</sup>.

Подражание — лишь первая ступень превращения, вторая его ступень — притворство (*Verstellung*). Имея враждебные намерения, притвориться другим — это ранняя и важная форма превращения, свойственная, правда, власти во все эпохи ее существования, вплоть до самых современных. Парадигматический пример: охотник подкрадывается к животному, набросив на себя шкуру животного того же вида. Он объединяет в себе сразу два образа: он одновременно враг и друг, и его поведение до определенного момента определяется обоими его, противоречащими друг другу качествами. Притворство — это переходная форма от подражания к полному превращению. Но властителю полное превращение недоступно до тех пор, пока он осознает себя таковым. «Он может иногда счесть необходимым скрыть, спрятать свой подлинный, внушающий ужас облик. Для этого он прибегает к маскам... но никогда он не в состоянии изменить свой внутренний образ, свою природу»<sup>20</sup>. Если развитие человечества связано с реализацией человеком возможности превращений — а это, согласно Канетти, именно так и есть, — то тип властителя оказывается неполным, ограниченным человеческим типом.

Окончательный этап превращения Канетти зовет фигурой. Образец здесь — фигуры египетских богов (человек с головой сокола или человеческая голова на львином теле), фигуры тотемных животных. «Фигура» — это двое в одном: человек в кенгуру и кенгуру в человеке (как у туземцев Австралии)<sup>21</sup>. С точки зрения Канетти, самый зрелый этап превращения исторически оказывается самым ранним. Подражающий животному и притворяющийся

животным древний охотник, являясь сам собой, одновременно является животным. Именно этот феномен зафиксирован в мифах и тотемах как факт неограниченной свободы превращений. Но здесь нет никакой мистики: «Важно уловить, — пишет Канетти, — что фигура начиналась со сложного — не с простого, и что в противоположность тому, что мы считаем фигурой ныне, процесс превращения одновременно оказывается выражением его результата»<sup>23</sup>. Неограниченная возможность превращений предполагает возврат к мифическим временам человечества и одновременно полное разворачивание человеческих потенций в будущее. Именно такое будущее, согласно Канетти, должно сделать человека бессмертным. Ибо, воплощаясь в «фигурах» творчества, человек продолжает свою жизнь в веках. Это не вполне метафора: слово «бессмертие» здесь — не условное обозначение. Сколь ни неясен Канетти в этом пункте, но настойчивый поиск им ускользающего смысла слова «бессмертие», нежелание прибегать к религиозной мистике или к метафорическим обозначениям типа «социальной памяти» позволяют разглядеть в его работах нечто подобное развитию идеи прижизненного метемпсихоза. Творец «превращений» будет жить вечно не в том образе, который он «создал», а в том, который он «прожил». Так, древний охотник, убив кенгуру, оставался жить другой половиной своего существа, другой своей «фигурой». Перевоплощаясь, творческая личность создает себя как сложное единство и живет далее, оставляя сброшенные оболочки.

Эти мысли Канетти выражают древнейшую мечту человечества — мечту о победе жизни над смертью. Многие препятствия стоят на пути к будущему, открывающему человеку возможности полной реализации проекта «вечной жизни». Одно из них — «специализаторский» характер современной культуры и цивилизации. Бесконечная и все углубляющаяся специализация — это тенденция, противоположная тенденции к превращениям. Здесь Канетти, отправляясь от совсем иных посылок, чем марксистские, приходит к сходным с марксизмом выводам. В одном из интервью, подчеркивая отличие своей антропологии от марксистской, например, в вопросе о роли труда в происхождении человека, он вынужден был признать, что его тезис о разворачивании человеческих потенций и отрицательной роли всевозрастающей специализации близок к марксистскому пониманию будущего человека<sup>23</sup>, т. е. к марксистской идее о гармонически развитой личности

человека будущего. Теоретически этот тезис обоснован совсем иначе, не намечены конкретные меры снятия разделения труда, но все же в значительной степени представления Канетти о будущем человечества имеют прогрессивный характер. Споря с марксизмом о прошлом и путях к будущему (и, отметим, будучи недостаточно четким, недостаточно конкретным в этом споре), он во многом соглашается с ним относительно образа этого будущего, во всяком случае в том, что касается развития личности.

Другое препятствие — закон смерти. Едва ли не главным противником Канетти оказывается фрейдизм во всех его вариантах <sup>21</sup>. Суть этого столкновения — в различных подходах к проблеме смерти: фрейдовская мистика смерти, сладострастие смерти, воплощенное в представлении об инстинкте смерти, вызывает у Канетти яростный отпор. Он — «рыцарь печального образа», борец против смерти, сомневающийся в победе, но не перестающий бороться. Канетти не желает признавать смерть как закон природы. Человек не всегда был смертным, т. е. смертным в нашем сегодняшнем понимании; в мифические времена свобода превращений предполагала бессмертие. Не только само бессмертие затерялось в тупиках истории, но даже и вера в него. Смерть стала восприниматься как естественный закон, Фрейд лишь подчеркнул и усилил эту тенденцию; смерть из необязательной стала неотвратимой, а под пером Фрейда из неотвратимой превратилась в страстно желаемую. И это приращение обязательности смерти имело роковые моральные последствия. «Смерть, — пишет Канетти, — была бы не столь несправедливой, если бы не отягощала нас заранее. Для каждого из нас, даже наилучшего, всегда есть оправдание, ибо, что бы он ни совершил, тяжесть поступка не будет отвечать тяжести этого заранее объявленного приговора. Нам приходится быть злыми, ибо мы знаем, что умрем. Мы были бы еще злее, если бы заранее знали, когда» <sup>25</sup>.

В драме «Пронумерованные» Канетти ставится мысленный эксперимент: воссоздается картина общества, где каждый с рождения знает дату своей смерти. Именно из этого знания должна неизбежно следовать тоталитарная структура власти. Не-естественное (т. е. смерть) возводится в ранг естественного закона; рождается идеология «выживания», отягощающая и дезориентирующая моральное поведение. Если связать знание о неизбежности смерти с приказом, который толкуется Канетти как в конечном счете угроза смертью, то смерть, которая несомненно

является одной из ключевых антропологических универсалий, оказывается существеннейшим измерением политики (политического сознания, политического действия и т. д.).

Борьба Канетти против смерти, отказ признать ее естественным законом (а именно на это ориентирована антропология Канетти) — это одновременно борьба против властолюбия, воплощенного в страсти к выживанию. Борьба против смерти — это также борьба против замыкания человека в односторонности, против опасной тенденции к специализации, за неограниченную свободу человеческих превращений. Именно в этой плоскости лежит разрешение (в рамках системы Канетти) проблемы соотношения политики и антропологии. Политический тип как тип властителя представляет собой в таком случае неполный, ограниченный человеческий тип. Человек, стремящийся к власти и практикующий власть в отношении массы, хотя и был характерен для прошедших эпох, продолжает существовать и поныне, готовый в любой момент вновь выйти на авансцену мировой истории.

#### 4. Гуманизм и антимилитаризм Канетти

Несмотря на гуманистическую ориентацию антропологии Канетти, груз на чашах весов оказывается неравным: мрачное прошлое «перевешивает» довольно абстрактно представляемое будущее человека. Этот факт осознает и сам Канетти. Отсюда и ощущение пессимизма на страницах его работ. В этом смысле Канетти при всем своеобразии его социально-философских идей оказывается типичным буржуазным мыслителем-гуманистом.

В эпилоге к «Массе и власти» он говорит, что книга вообще, а глава о «выживающем» в особенности вызвала протест и несогласие: слишком глубокий пессимизм, ощущение безысходности она порождала. Разве естественно то, что человечество оказывается обреченным на вечное повторение ужасов войны, а история — не чем иным, как «взаимодействием массы и власти в силовых полях смерти», по выражению одного из критиков?

Но не пессимизм и фатализм были «тайным двигателем» мысли Канетти. Да, говорит он, «выживающий» — главный герой книги, но не преодолению его и не смирению перед ним она служит. К сожалению, реалистические книги наполнены не только положительными героями. «Мое намерение — вспугнуть его (выживающего. — Л. И.)

во всех убежищах, изобразив его таким, каков он есть и был всегда. Как герой, он был прославлен, как властитель — почитаем, но в сути своей он оставался тем же самым. Именно в наше время, среди людей, для которых столь важно понятие гуманизма, он пережил самые чудовищные свои триумфы. Он не вымер, и он не вымрет, пока мы не обречем силу ясно видеть его, как бы он ни переодевался, какое бы величие и славу он ни излучал. Выживание — это наследственная болезнь человечества, его проклятие и, возможно, его гибель»<sup>26</sup>. Это зыбкое словечко «возможно» говорит нам о ненадежности грунта, на котором балансирует человечество, овладевшее уничтожающей мощью ядерного оружия, но не истребившее в себе до конца микробы «выживания» — этой «наследственной болезни» человечества. Более того, это словечко открывает нам и плюсы, и минусы концепции Канетти.

| Сначала — о минусах. Главный из них заключается в том, что, локализуя «выживание» как центральный феномен власти и сводя к нему все прочие ее проявления, Канетти смешивает часто различные по своей природе вещи. Ощущение собственной мощи над телом поверженного врага, власть оратора-демагога над возбужденной толпой, политическая власть в сложно организованном обществе — всему этому обнаруживается «наименьший общий знаменатель». Но существует ли таковой в действительности? Власть как способность воздействия одного человека на другого, т. е. межиндивидуальный, межличностный феномен, и политическая власть — разные вещи. Они разнятся по существу, к тому же первое старше второго. Старше не только исторически, но и этимологически, как магия старше политики. Мочь (как глагол), мощь, могущество, немецкое *Macht*, так же как и магия, — производные от единого индогерманского корня, фиксирующего возможность воздействия одного человека на другого вплоть до причинения смерти. Политика — от греческого *polis* — в самой этимологии своей хранит соотношение с надындивидуальным целым, на которое или в интересах которого осуществляются того или иного рода действия. Символ мощи — это триумф выживающего, это герой и масса, лежащая у его подножия; символ политики — это структурированные массы, т. е. группы, слои, классы, нации, сообщества, выделяющие и представляющие их, но не «возвышающиеся» над ними личности.

Власть в сложно организованном обществе имеет в корне иную природу, чем примитивное «могущество» дес-

пота, сущность ее не сводится к межиндивидуальным, социально-психологическим феноменам. Разумеется, даже являясь предшествующей ступенью развития, власть в изначальном смысле продолжает жить в современном обществе — в этом Канетти прав,— проявляясь в приказе, угрозе, насилии, в конечном счете даже в причинении смерти, но это лишь внешние проявления политической власти, сущность которой оказывается глубоко укорененной в социальной организации общественного производства. Классики марксизма отчетливо продемонстрировали, как по мере развития общества — от первобытнообщинной формации к рабовладельческой, феодальной, а затем к капиталистической — явление власти все более утрачивало свою «первобытную» непосредственность. Прогресс истории означал в этом смысле отход от личной зависимости и личных отношений раба и господина и включение в это отношение все большего количества посредующих звеньев (организованная юстиция, представительное правление и т. п.). В ходе этого процесса власть все более переставала быть тождественной господству и насилию. Последние стали относиться к области феноменологии власти (на уровне феноменологии и развертывает свою яркую и впечатляющую аргументацию Канетти), но отождествлять их с политической властью как таковой можно лишь в случае отказа принимать во внимание глубочайшие изменения общественной организации за всю многотысячелетнюю историю человечества.

Отсюда должны следовать и совсем иные, чем у Канетти, выводы о сущности современного момента и о целях человечества в борьбе с комплексом «выживания». Дело не только в психологической перестройке каждого индивидуума, но в реорганизации самой общественной структуры, способной порождать отношения господства и насилия. Явление политической власти не исчезнет в обозримом будущем человечества, но могут быть созданы условия, когда власть избавится от сопутствующей ей ныне «феноменологии» воли к власти и аморализма. Рецепты здесь простые и давно известные: уничтожение антагонистической классовой структуры, демократизация политики, достаточно полное и справедливое распределение продуктов общественного труда. Тогда и борьба с «выживающим» здесь будет выглядеть иначе: это борьба с социальной группой или классом, стремящимся выжить любой ценой, за счет других классов и групп, может быть, за счет гибели всего человечества.



Значит ли это, что нам чужд пафос Канетти, чужда его борьба против роковых проявлений властолюбия, приведших к миллионам жертв, к грандиозным историческим катастрофам? Разумеется, нет. Канетти назвал «выживание» наследственной болезнью человечества, и там, где речь заходит о «воли к власти» (этот термин Ницше иногда и по существу правильно переводят как «воля к мощи»), о «глобальной гегемонии», о силе как критерии правоты, — там мы безошибочно распознаем симптомы этой болезни. «Триумф выживающего» — не антропологическая универсалия, как это может показаться на первый взгляд, а сам Канетти — не мрачный предсказатель рокового исхода; он скорее чуткий диагностик, распознающий патологические симптомы, угрожающие историческому развитию человечества. Возможность внезапного обострения этой наследственной болезни присутствует всегда, как показывают многие факты истории XX века, такие, как германский фашизм или кровавая диктатура Пол Пота в Кампучии. Эти трагические явления представляют собой патологическое извращение нормальных путей совершенствования человеческого опыта в истории. Они — не судьба человечества, но реальная опасность, имеющая свои корни в современных политических структурах, позволяющих оживать бациллам властолюбия, имперских амбиций, надежд на мировое господство. Об этом, в частности, свидетельствует постоянное возникновение в разных буржуазных государствах неофашистских групп и объединений, встречающих иногда явную, иногда скрытую поддержку власть имущих, находящих питательную почву в социально-психологическом и моральном климате буржуазного массового общества.

Глубокая и впечатляющая по богатству мысли работа Канетти «Масса и власть», так же как и очерк о Гитлере, своего рода краткая история «болезни» под названием гитлеризм, хотя и не дает исчерпывающего анализа взаимоотношений массы и власти в германском фашизме, но отчетливо демонстрирует одну из опасных сторон этого взаимодействия. В этом — ее теоретическая ценность и политическая актуальность.

В заключение — два методологических соображения, на которые наталкивают идеи Канетти. Первое касается применения биологических, а тем более медицинских аналогий при изучении социальных явлений. Допустимы ли в социальном исследовании такие выражения, как «наследственная болезнь», «рецидив», «социальная патоло-

гия»? Закономерность появления фашистских режимов, если использовать мысль Канетти об эволюции феномена власти, представляется сомнительной, более того, политические режимы, базирующиеся на прямом насилии, кажутся патологическим отклонением от нормального развития. Норма и патология никогда не бывают связаны между собой «напрямую», но всегда опосредованы общей закономерностью, проявлением которой обе и являются. Не отметив этого, трудно методологически строго подойти к объяснению «живучести» фашизма: является ли фашизм, так сказать, патологией истории или нормальным явлением, характеризующим империализм на поздней стадии его развития? Если мы станем на последнюю точку зрения, то естественным образом возникает вопрос: почему же фашизм оказался не характерен для большинства империалистических государств, даже более развитых и более «зрелых» в социальном отношении, отличающихся не меньшей остротой социальных конфликтов, чем Германия на рубеже 30-х годов? Если же мы примем первую точку зрения, то перед нами встанет позитивная задача объяснения той же закономерности в политико-идеологическом развитии современной истории, патологическим отклонением от которой оказался германский фашизм, а следовательно, поиск социального источника патологических отклонений, тех самых болезнетворных «агентов», которые способствуют перерождению здоровых клеток в больные и несут страдания всему общественному организму. (Медицинскую аналогию здесь не следует, конечно, воспринимать буквально, как не в буквальном смысле мы понимаем словосочетание «коричневая чума».)

Далее, можно ли привлекать для объяснения исторических личностей аппарат психологии, социальной психологии, психиатрии? Ответить однозначно непросто. Советский ученый А. А. Галкин, указывая на односторонность и ограниченность подобного рода подходов, признает, однако, что они дают определенные интересные результаты<sup>27</sup>. В свою очередь, Д. Е. Мельников и Л. Б. Черная отвергают подобного рода объяснения, в частности объяснения Гитлера через психопатологические черты его личности. «Безумие, которым был одержим Гитлер,— пишут они,— было безумием политического свойства. А вид Гитлера, который поражал всех, кто сталкивался с ним в последние месяцы его жизни, объяснялся не врожденными и не приобретенными недугами, а страхом, полной растерянностью, перемежаемой

вспышками необузданной ненависти, бессилием, подозрительностью, злобой. Болезни Гитлера были болезнями абсолютного властителя, авантюриста и кровавого тирана, который увидел, что его планы провалились, а его могущество вот-вот рухнет»<sup>28</sup>.

С этой характеристикой нельзя не согласиться. Заслуживает, однако, внимания тот факт, что на основе именно этой «симптоматики» Канетти в цитированном выше очерке делает достаточно обоснованный вывод о параноидальном мировосприятии Гитлера, причем анализирует именно «политическое безумие», о роковой роли которого говорилось на предыдущих страницах. Следует согласиться с Галкиным, находящим по ряду причин «любую форму исследования в данной области (имеется в виду фашизм.— Л. И.) крайне актуальной»<sup>29</sup>. Актуальность эта доказывается не только очерком Канетти о Гитлере, но и его анализом взаимоотношений массы и власти в целом.

Разбор политической антропологии Канетти позволяет учесть некоторые следствия общеполитического плана. Несмотря на то что взаимоотношения массы и власти остаются теми же, что и прежде, несмотря на то что мрачный герой книги Канетти, т. е. «выживающий», не изменился, судьба человечества, как это показывает сам Канетти, не предопределена однозначно, ибо изменилась сама ситуация выживания. Изменилась в двояком отношении: с одной стороны, чудовищно возросла потенциальная военная мощь; один-единственный человек в несколько мгновений способен уничтожить значительную часть человечества, ему служат сложнейшие машины и процессы, суть которых непонятна ему самому, сам он — в надежном укрытии, жертвы же его абсолютно беззащитны; с другой стороны, «выживающий» сам полон страха, его триумф ограничится часами или даже минутами, ибо даже он не может чувствовать себя в безопасности. «Изначальная структура власти, ее ядро и сердце — выживание власти тела за счет других — свелась к абсурду... Власть стала неизмеримо больше, но она стала и более проклятой, чем когда-либо ранее. Выживут все или никто»<sup>30</sup>. Переведя Канетти на язык современных политических дискуссий, можно сказать: в ядерной войне не будет победителей, все участвующие стороны окажутся проигравшими. Осознание этого факта стало ныне одним из мощных стимулов антивоенного, антиядерного движения современности.

И, наконец, еще одно соображение. В 1965 г. Канетти писал: главной, определяющей чертой современной действительности выступает ее сомкнутость с завтрашним днем, с грядущим. Наше сегодня — это действительность грядущего. Мы чувствуем, что будущее здесь, с нами, и осуществляем его сознательно. «Опасности его созданы нами, так же, как и надежды, которые оно несет. Действительность грядущего расколота: с одной стороны, уничтожение, с другой — полная жизнь. Обе стороны реализуются одновременно в мире и в нас самих. Эта расколотость, эта двойственность грядущего абсолютна, никто не может ее избежать. Каждый видит темный и светлый образы будущего, приближающиеся с ошеломляющей быстротой»<sup>31</sup>.

Что значит, спрашивает он, отвернуться от темной стороны грядущего? Это значит заняться реализацией того, что раньше именовалось утопией. Но время пренебрежительного и насмешливого отношения к утопии прошло. «Мы открыли пути и способы реализовать все, абсолютно все... Утопии расчленяются на составные части и начинают реализовываться в качестве планов, рассчитанных на строго определенные сроки... Ни одно государство, воспринимающее себя всерьез, не работает теперь без плана»<sup>32</sup>. Но именно в этой «реализуемости» утопий скрывается целый ряд опасностей. Во-первых, сколь ни громадна движущая сила утопий, иногда реализация их замедляется или прекращается вовсе, сталкиваясь с сопротивлением наличной реальности. Это не значит, предупреждает Канетти, что она (утопия) после паузы, передышки не осознает себя вновь и не возвратится к своим целям. «Но столкновение реализующейся утопии с невообразимым множеством препятствий превосходящей ее силы действительности отражается на индивиде, участвующем в этом процессе. Его оптимизм сокрушается перед лицом гигантских требований, предъявляемых утопией. Муки, испытываемые теми, кто принимал все всерьез, велики и тягостны. Для них может возникнуть необходимость издевательствами и насмешкой защититься от непосильных обязательств»<sup>33</sup>.

Мы не ошибемся, если увидим в этих размышлениях описание социально-психологических механизмов возникновения так называемых «антиутопий». Не секрет, что самые знаменитые антиутопии, такие, как «1984», «Мы» и другие вышли из-под пера людей, поначалу стремившихся активно участвовать в грандиозных социальных преоб-

разованиях нашего века. Усталость, непосильность требований, предъявляемых историей, неспособность увидеть перспективу — вот причина возникновения произведений этого жанра. Нужно говорить даже не о литературном жанре, а о важнейшем социальном и социально-психологическом феномене. Антиутопии были немыслимы в прошлом веке и ранее, т. е. до тех пор, пока утопии не стали реализуемыми, не обрели в новой, научно осмысленной реальности средства для своего практического осуществления. Утопии сегодня многообразны и реализуются одновременно. «Социальные, научно-технические, национальные утопии поддерживают одна другую или сталкиваются друг с другом. Они охраняют себя, создавая оружие, служащее средством устрашения. Известно, что это за оружие. Его фактическое применение было бы не менее опасным и для того, кто его применяет. Эта темная сторона будущего, которая может стать реальной, осознается каждым. Наличие такого оружия впервые в истории человечества привело к всеобщему согласию относительно необходимости мира. Но до тех пор, пока на основе такого согласия не выработан обязательный для всех план преодоления этой опасности, темная сторона будущего остается решающей частью нашей действительности, давящей, неотвратимой угрозой»<sup>34</sup>. Эти строки, написанные двадцать с лишним лет назад, и сегодня актуальны.

Если суммировать итоги нашего рассмотрения, можно сказать, что, с одной стороны, «триумф выживающего» не является, согласно Канетти, универсальным человеческим чувством. Выживающий — лишь по внешности главный герой истории, на смену ему идет человек-творец, а выживающий, властитель, властолюбец — тупиковая, неразвивающаяся ветвь человеческой эволюции. С другой стороны, наша собственная оценка ситуации в корне иная (не антропологические, а социальные факторы играют первую скрипку в оркестре цивилизации), но при этом мы не должны недооценивать патологических проявлений закономерностей социально-политического развития.

И, наконец, можно согласиться с Канетти в том, что пресечь действия выживающего, способного ныне в мгновение ока уничтожить мир, — главная задача дня. И именно этим определяется специфика мировоззрения Канетти, его гуманизм, его способность смотреть в глаза опасности, не отступая перед ней, не стремясь преуменьшить сложность задачи, окончательно решить которую ныне предстоит человечеству.

- <sup>1</sup> Канетти Элиас, писатель, драматург, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе, родился 25 июля 1905 г. в Рущуке (Болгария). В 1911 г. с семьей переселился в Манчестер, в 1916 г. после смерти отца — в Вену, в 1916—1921 гг. — учеба в Цюрихе, 1921—1924 гг. — во Франкфурте-на-Майне, 1924—1925 гг. — изучение естественных наук в Вене (доктор философии). В 1938 г. — эмиграция через Париж в Лондон (1939), где писатель и живет до сих пор.
- <sup>2</sup> *Canetti E. Masse und Macht. Frankfurt a. M., 1983. S. 527.*
- <sup>3</sup> *Dehrer K. Der Stoiker und unsere prähistorische Seele // Canetti lesen/Hrsg. H. Göpfert. München, 1975. S. 61.*
- <sup>4</sup> *Canetti E. Das Gewissen der Worte: Essays. Frankfurt a. M., 1981. S. 176.*
- <sup>5</sup> *Canetti E. Die gespaltene Zukunft: Aufsätze und Gespräche. München, 1972. S. 119.*
- <sup>6</sup> *Canetti E. Das erste Buch: Die Blendung // Canetti lesen. S. 126—127.*
- <sup>7</sup> Так, в одной из пьес Канетти — «Прокнумерованные» («Betristete») — рисуется образ общества, где каждый родившийся заранее знает, сколько ему суждено жить, когда предназначено умереть. На этом фоне обнаруживаются фундаментальные структуры отношений власти.
- <sup>8</sup> *Canetti E. Masse und Macht. S. 10.*
- <sup>9</sup> *Ibid. S. 11.*
- <sup>10</sup> *Ibid. S. 12.*
- <sup>11</sup> *Ibid. S. 249.*
- <sup>12</sup> *Ibid. S. 338.*
- <sup>13</sup> *Ibid. S. 345.*
- <sup>14</sup> *Ibid. S. 371.*
- <sup>15</sup> *Ibid. S. 339.*
- <sup>16</sup> *Ibid. S. 367.*
- <sup>17</sup> *Ibid.*
- <sup>18</sup> *Canetti E. Das Gewissen der Worte. S. 184.*
- <sup>19</sup> *Canetti E. Masse und Macht. S. 414.*
- <sup>20</sup> *Ibid. S. 417.*
- <sup>21</sup> *Ibid. S. 419.* Здесь нет возможности вдаваться в анализ этнографического материала, собранного Канетти. Отметим лишь, что здесь по-новому осмысливается явление партиципации — сложное, спорное, до сих пор до конца не понятое этнографами и психологами.
- <sup>22</sup> *Canetti E. Die Provinz des Menschen. Frankfurt a. M., 1981. S. 21.*
- <sup>23</sup> См.: *Canetti E. Die gespaltene Zukunft. S. 127.*
- <sup>24</sup> *Canetti E. Die Provinz des Menschen. S. 8.* Надо признать, что противником здесь выступает не только Фрейд: «В важнейшем для меня вопросе — в вопросе о смерти — в каждом мыслителе я находил только врага», — признается сам Канетти.
- <sup>25</sup> *Ibid. S. 166.*
- <sup>26</sup> *Canetti E. Masse und Macht. S. 526—527.*
- <sup>27</sup> *Галкин А. А. Социология неонацизма. М., 1971. С. 19.*
- <sup>28</sup> *Мельников Д. Е., Черная Л. Б. Преступник номер 1: Нацистский режим и его фюрер. М., 1981. С. 394.*
- <sup>29</sup> *Галкин А. А. Указ. соч. С. 14.*
- <sup>30</sup> *Canetti E. Masse und Macht. S. 528.*
- <sup>31</sup> *Canetti E. Das Gewissen der Worte. S. 75.*
- <sup>32</sup> *Ibid. S. 76.*
- <sup>33</sup> *Ibid.*
- <sup>34</sup> *Ibid. S. 76—77.*

# ВЛАСТЬ И ПОЗНАНИЕ

(археологический поиск М. Фуко)

В. А. ПОДРОГА

Выход в свет работ Мишеля Фуко, составляющих комплекс исследований, посвященных археологии власти<sup>1</sup>, нельзя расценить иначе, как попытку осмыслить власть во всей совокупности ее социально-исторических и политических функций. Нравственный пафос Фуко очевиден: повернуть западное общество на путь к возобновлению памяти о том, что лежит в истоках его становления, что было подавлено и оттеснено на периферию социального опыта успехами технологических преобразований и прогрессистской идеологией, вновь напомнить о том, что значит властвовать, а что значит подчиняться. Фуко значительно обновил область политического анализа власти<sup>2</sup>, пытаясь исследовать ее *modus vivendi* в социокультурных и юридических формациях западноевропейского общества с XIII века до наших дней, отказываясь во имя этой цели от каких-либо «моральных» или «логически непротиворечивых» суждений по поводу власти, которым до сих пор так склонна доверять современная политическая философия. Следует осознать, требует он, историческую необходимость в «независимых» исследованиях власти (ни «правых», ни «левых»), и прежде всего тот факт, что теория власти как основа глобального политического анализа еще не создана и все реальные проявления власти продолжают и по сей день оставаться чем-то загадочным, неопознанным, даже демоническим. Как «познать этот предмет, — вопрошает Фуко, — столь таинственный, одновременно видимый и невидимый, присутствующий и скрытый, распространенный повсюду, тот предмет, который мы называем властью? Теория государства, традиционный анализ институтов государства, без сомнения, не исчерпывают область существования и функционирования власти. Вот действительно великое неизвестное: кто осуществляет власть и где?»<sup>3</sup>. Как ответить на эти вопросы, какой тип анализа необходимо избрать (и будет ли он собственно политическим), чтобы воспрепятствовать пре-

вращению власти в непостижимый социальный феномен или демоническую силу.

Что может на первых порах вызывать недоумение у читателя, так это стремление Фуко выявить совершенно иную сферу существования власти в обществе, необъяснимую в традиционных терминах политического и экономического анализа, сферу, где власть получает неожиданные социальные качества, ибо определяется одновременно по двум позициям в ее отношении с государственными институтами: *дополнительной*, так как поддерживает их функционирование в эффективном режиме, без нее они были бы мертвы; и *универсальной*, так как «задает» собой возможный горизонт и их развития, и гибели, оставаясь между тем всегда себе не равной, совокупным действием множества микросоциальных сил. Но тогда возникает закономерный вопрос: как может исследоваться этот тип власти, если он не поддается традиционному категориальному анализу, и в силу своей нелокализуемости, диффузности, необычайной полиморфности ставит исследователя в трудное положение, в котором ему приходится играть роль и субъекта власти и ее объекта? Ответ на этот вопрос, по мнению Фуко, можно получить лишь с помощью археологической реконструкции как ближайших, так и удаленных от нас эпох, в которых динамика властных отношений как бы «остыла» и стала наблюдаема во всех своих многообразных сцеплениях с духовными и материальными структурами общественного целого. И как только мы обратимся к археологическому поиску, мы сразу же заметим, что подобный тип власти может быть понят лишь в контексте исторически определенных *телесных практик*, что единственной мишенью этой власти является не «сознание» или «закон», а человеческое тело.

Действительно, археологический поиск Фуко открывает нам истории тел — психиатризованных, тел любви, аскетических, подвергшихся наказанию и заключению, тел послушных, бунтующих, перверсивных — точнее, не столько самих тел, сколько истории определенного вида телесных практик, и открывает по тем имманентным им правилам, которые, варьируясь от эпохи к эпохе, порождают именно эти тела, а не какие-нибудь другие, порождают то краткие, то длительные истории их становления в западной культуре. Последний, так и не завершенный при жизни проект Фуко уже не ограничивается описанием кратких историй тела, где множественные микроскопические силы власти формируют индивида, а открыв-



вает неподвижную, или, точнее, сверхмедленную историю тела, ту историю, ритм, скорость и мощь которой не ощущаемы нами, которая сделала нас такими, какими мы являемся сегодня. Сначала Фуко исследовал достаточно краткие исторические длительности (в основном его интересовал промежуток между XVII и XIX веками); в результате появились работы: «Рождение клиники. Археология медицинского взгляда», «Безумие и неразумие. История безумия в классический век», «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», и только затем начинается публиковаться четырехтомное исследование «История сексуальности», охватывающее большую историческую длительность и в котором разворачивается реконструкция опыта становления европейской субъективности посредством аналитического описания различных телесных (сексуальных) практик от античности до позднего средневековья. Истории Фуко — это тем не менее не одна история, но многие, это не истории «сознания», «я» или «субъективности», по традиции принимаемые в политическом анализе за суверенных носителей поведенческой или мироустроительной функции. Так, европейский тип «субъективности» рождается из сексуальной отнесенности античного человека к собственному телу и телу других, а европейская «индивидуальность» была бы невозможна без разнообразных технологий надзора, тренировки, обучения, экзамена, сфокусировавшихся на человеческом теле начиная с XVII века. Истории Фуко образуют телесный пантеон власти. Последующий анализ не претендует на полное представление археологического поиска Фуко; я ограничусь постановкой лишь некоторых, но, на мой взгляд, важных проблем:

1) интеллектual и его место в системе властных отношений современного западного общества;

2) основные критерии понимания власти;

3) формирование дисциплинарного общества в историческом промежутке между XVII и XIX веками. Рождение новых пространств власти и новой политической анатомии.

## **1. Интеллектual и власть. Стратегия маргинальных политик**

Теории власти должен предшествовать (или во всяком случае сопутствовать) выбор исследователем политической позиции по отношению к любым формам проявления влас-

ти в современном обществе. Одно не существует без другого. И это не абстрактное требование, а политическая максима, которой следует Фуко. Теория власти не создается для кого-то, кто не в силах сам ее разработать, она не ждет своего часа, чтобы быть «переведенной в практику»<sup>4</sup>, она должна быть практикой, т. е. быть одновременно и теоретической моделью власти, и наброском стратегии конкретных политических действий, «региональной системой борьбы с властью»<sup>5</sup>. Сегодня французский интеллектual левого толка пытается мыслить политику — и, следовательно, собственное положение в ней — на основе опыта, который был ему открыт майскими событиями 1968 г.; он стремится обострить критику капитализма настолько, насколько это осуществимо с точки зрения новой политической позиции, «радикально нейтральной» по отношению к дискредитировавшей себя политической игре классовых и партийных интересов<sup>6</sup>. Чтобы удержать эту позицию, он пытается избежать вовлеченности в спор по поводу традиционных политических лозунгов: «свобода или господство», «либерализм или тоталитаризм», «право или закон» и более глобальных типа «социализм или капитализм». А удержать ее крайне трудно, так как она по политическому замыслу должна быть в одно и то же время и асоциальной и аполитичной, т. е. противостоять легитимизирующим политическим практикам. И лишь находясь в этой, по выражению Ж. Пинто, «немыслимой точке» политического пространства<sup>7</sup>, можно задаваться вопросами: как возможна теория политического действия, независимая от доминирующих идеологий, типов сознания и последствий глобальных политических конфликтов? Как возможно другое политическое действие, другое сознание и иной тип социального знания в обществе, где так эффективно действуют универсальные механизмы власти и репрессии?

Однако существует опасность принять эти вопросы за чисто риторические, ибо ответ на них уже дан в самой политической позиции интеллектuala, если она действительно радикально нейтральна и обнаруживается в ином политическом измерении, чем те, которые обычно считают политическими. Решающий вопрос формулируется следующим образом: как и какими средствами (теоретическими и практическими) можно добиться этой «радикально нейтральной» позиции в политическом пространстве французского общества, которое, казалось, не предполагает ничего подобного?

Прежде всего укажем на ряд специфических черт, которые выделяют эту политическую позицию из множества других (классовых, институциональных, групповых и т. п.). Сегодняшняя позиция французского интеллектуала несводима к тем образам, навыкам и стереотипам политического действия, которыми по традиции руководствовалась наиболее образованная прослойка буржуазного общества. В частности, французская интеллигенция XVIII в., в лице Вольтера полагавшая, что в силу приобретенного знания и духовной независимости она располагается в особой социальной нише и даже «парит» над обществом и институтами власти и будто бы только она одна обладает врожденной способностью предвидения, куда общество должно идти, каким путем и насколько быстро. Сфера знания и соответственно сфера истины не определялись ни политическим, ни социальным временем. Традиционный интеллектуал мог менять свои профетические маски от адвоката до писателя, оставаясь тем, на что он претендовал с самого начала, — универсальным *homme de lettres*. И только к началу XX в. он постепенно расстается с иллюзией социального «парения»<sup>8</sup>, впервые обнаруживает собственную политическую позицию, свою речь, с которой он обращался от имени царства вневременных ценностей к народу и облеченным властью. Только теперь он начинает размышлять над своей бессознательной приверженностью доминирующей идеологии, но, самое главное, обнаруживает наряду со своим языком (который он считал единственно разумным) множество других, столь же полноправных языков, находящихся в непрерывном смещении и борьбе: его язык оказывается одним из возможных языков, хуже того, языком, «вписанным» в стратегию буржуазии как победившего класса. Но как только этот процесс завершился и буржуазное видение мира приобрело доминирующее значение, больше от него никто не требует продолжать работу над едиными образами мира, «мира для всех», ибо установилось поразительное единство мысли о мире и его восприятии. Социально и политически традиционный интеллектуал явно смещается в сторону от центра, где еще недавно располагался его наблюдательный пункт, где была точка пересечения многих путей общественной практики и рефлексии. Место интеллектуала как великого эксперта начинают занимать средства массовой коммуникации, создающие и умножающие теории, образы, стереотипы, столь необходимые для поддержания определенного типа

политической стратегии в общественном сознании: единый образ мира формируется и умножается только здесь, а не в голове отдельного интеллектуала. Быть сознанием за других и для других — именно эта важнейшая функция, к которой традиционный интеллектуал считал себя призванным, ставится под сомнение. За отставкой традиционного интеллектуала следует и все более нарастает узкая специализация, охватывающая настоящим образом все науки, в том числе и гуманитарные. Появление же интеллектуала-специалиста, отмеченного Грамши в понятии «органического интеллекта», знаменует конец универсального сознания.

Последствия этих процессов подвергнуты тщательному анализу в многочисленных интервью, беседах и выступлениях Фуко. Однако ни он, ни его коллеги, представляющие французский философский авангард, не испытывают ностальгии по старым и добрым временам, так как, по их мнению, изменение функций интеллектуала вовсе не привело к утрате последним воли к активной политической позиции. Более того, политическая стратегия интеллектуальных кругов в целом не могла не измениться в то время, когда отдельные, частные знания, отдельные истины, пускай и лишенные места в единой картине мира, неожиданно и именно в силу своей специфичности вторглись в самую глубинную суть взаимоотношения человека с миром. Если воспользоваться удачным высказыванием Фуко, то не интеллектуал как «рапсод вечного», а интеллектуал как «стратег жизни и смерти»<sup>9</sup> — вот что радикальным образом меняет положение отдельных форм научного сознания и специализированные практики истины. Политизация интеллектуала заключается ныне в том, что политизировалось само знание не в своих общих, а частных, периферийных формах истинности. Интеллектуал более не в силах уберечь себя от вовлеченности, но не в политическое действие, которое ему может навязываться, а в политическое содержание самого знания, которое он производит. Знание перестает быть социально и политически нейтральным. Вот почему теряет силу закон старой иллюзии — тот, кого «затрагивает» власть, перестает знать<sup>10</sup>. Поэтому сегодня цель интеллектуала, как полагает Фуко, не состоит в том, чтобы «разместиться немного до или немного в стороне», набрать новую дистанцию по отношению к любым формам проявления власти и благодаря этому маневру в социальном пространстве получить право на критику, напротив, необходимо бороться против

власти там, где она является «одновременно и объектом и инструментом: в порядке познания, истины, дискурса или сознания»<sup>11</sup>.

Итак, борьба с властью может быть успешно осуществима, когда она ведется на двух уровнях: на уровне борьбы с *внешними* формами власти (насилие, репрессии, закон); и на уровне борьбы с *внутренними*, т. е. такими формами власти, которые с самого начала имманентны знанию, производимому интеллектуалом. Но как можно сочетать эти два уровня борьбы с властью? Не отрицают ли они друг друга? Для Фуко эти уровни не только не отрицают друг друга, но взаимно дополняют, если, конечно, превосходство отдается борьбе с внутренними формами проявления власти. Фуко определяет свою политическую программу в терминах истины: раз власть есть способ познания, то не идеология, насилие или вера должны подкреплять собой конкретные политические действия, но само знание, ибо овладение специальным знанием и дает ту необходимую власть интеллектуалу, в которой он так нуждается для борьбы с репрессивными институтами общества. И так как знание, находящее все новые и новые воплощения в разнообразных технологических структурах и процессах, функционирует сегодня на самых различных уровнях общественного целого, то только специалист и в конечном счете только «абсолютный ученый» способен сегодня активно противоборствовать традиционным или стихийно складывающимся формам политического насилия. Другими словами, политик более не обладает суверенным правом (как, впрочем, и интеллектуал, лишенный ореола универсальной духовности) на использование знания в целях «всеобщего блага или интереса», его суверенное право манипулировать частными истинами поставлено под сомнение: теперь тот, кто производит знание («истину»), в силах осуществлять политику этого знания (физик-ядерщик, специалист по компьютерам, социолог, биолог и т. д.). Фуко указывает на смещение степени ответственности за знание, которая больше не может распределяться только в одном направлении — «сверху вниз». В каждом пункте «разрыва» политической системы общества, там, где знание специалиста (и вообще специальное знание) обретает материальное единство и свой способ существования, независимый от других ему подобных, именно там носитель этого знания способен противостоять репрессивному действию классов, союзов или групп. Так, каждый ученый-специалист,

отдельный и независимый, но в единой корреляции с «истинами» других — т. е. вне поиска единой и одной истины для всех — может осуществлять эту новую политику знания, не перепоручая ее институту, партии, группе и не отдавая ее на откуп харизме отдельной личности. Благодаря специальному знанию, настолько специальному, насколько оно глубоко внедряется в основные политические ценности, интеллектual *вдруг* получает возможность расположиться в некотором промежуточном, переходном, а если быть более точным, маргинальном пространстве; и он в силах нести ответственность за это знание до тех пор, пока пребывает в этом особом пространстве. Но его ответственность — ответственность не политика, а профессионала знания. Вот когда, как надеется Фуко, сможет осуществиться глобальная политизация знания «на местах»<sup>12</sup>.

Следует заметить, что Фуко (да и не только он) пытается представить процесс порождения знания как процесс чистой инновации, выходящей за пределы конкретного социального хронотопа или, во всяком случае, располагающегося на его границах. Инновационное усилие интерпретируется как «прорыв», но не в терминах психологии творчества, а как вид асоциального действия и поведения, как прорыв в иной тип политики, которая формируется на микроуровнях социального целого, но своим острием направлена против самих этих микроуровней, невидимых с позиции традиционного политического наблюдателя. Понятно, почему Фуко отождествляет действующего политического субъекта — субъекта «микropolitики», если использовать его термин, — с персонажами асоциальности и тем самым изыскивает аргументы в пользу особого положения интеллектuala в отличие от других социальных групп и прослоек, в разной степени и на разных уровнях интегрированных в капиталистическую систему. Полное же оправдание и смысл подобной политической позиции отыскивается в сфере маргинального опыта — опыта «частичного», «крайнего», «промежуточного», «периферийного», — который никогда не располагается внутри институциональных политических стратегий, но всегда вне и против них.

Маргинальный интеллектual сегодня, оставаясь пороговым существом (без авторства и имени, ни внизу ни вверху, ни здесь ни там, под вечной угрозой нового), — уже не «изгой» или «дурак», чей способ существования в культуре безоговорочно осуждался во времена Ницше,

Бодлера или Киркегора, но он и не «посредник», роль которого он охотно исполнял в течение многих веков. Но кто он, может ли быть его позиция локализована? При ответе на этот вопрос следует учитывать, что Фуко хорошо осознает недостаточность определения маргинального человека в качестве «порогового существа»<sup>13</sup> культуры, т. е. в терминах жесткой социальной идентификации. Подобные определения возможны и постоянно укрепляются в обществе в качестве критериев нормального и аномального, но остаются определениями со стороны власти; определять так — это значит вменять определяемому способ существования в культуре, который оно не в силах нарушить, чтобы не изменить свою социальную природу. Маргинальное, будучи социально невидимым, становится видимым после применения всей той техники социальной идентификации, которой обладает власть. Маргинальный опыт, к которому апеллирует Фуко с такой настойчивостью, не определяем внешними средствами социальной или политической стратификации и в этом смысле не поддается разложению на бинарные оппозиции типа центр—периферия, высшее—низшее, белое — черное и т. п., поскольку именно они делают этот опыт случайным и проходящим.

Нельзя упускать из виду и тот факт, что основные задачи, которые ставил перед собой Фуко в фундаментальных исследованиях «Безумие и неразумие. История безумия в классический век», «Надзирать и наказывать. История тюрьмы», «Воля к знанию» (первый том из задуманной им шеститомной монографии, посвященной истории сексуальности), были обусловлены единой политической задачей: легитимизировать в современной западной культуре ряд «ущербных» дискурсов знания. Знания, которым обладают маргинальные социальные группы общества, подвергнутые наиболее жестким формам репрессии. Например, Фуко отдает себе отчет в том, что проблема тюремного заключения является проблемой «локальной и маргинальной, поскольку затрагивает не более 100 000 человек, находящихся в тюрьмах; в целом во Франции насчитывается, может быть, порядка 300 или 400 000 человек, прошедших тюремное заключение». И вместе с тем, как он замечает далее, именно тюрьма оказывается «единственным местом, где власть может наиболее откровенно проявиться во всех своих самых крайних измерениях»<sup>14</sup>. Именно этот замысел побуждает французских интеллектуалов, близких к Фуко по политической ориентации,

устремляться в лиминальные пространства буржуазного общества, так как события власти, запрета или репрессий свершаются повсюду: на фабрике, в бюро по трудоустройству, в комиссариате, издательстве, а не только в тюрьме или психиатрической больнице <sup>15</sup>.

Однако в отличие от традиционного интеллектуала маргинальному нельзя приписать решение задачи, столь по традиции важной, — стимулирование символического опосредования в культуре от имени универсального сознания; ему не отводится место в высших инстанциях власти, откуда бы он смог управлять диалогом между нормальным и аномальным, господствующим и подавленным и в конечном счете преодолевать «за других» в уникальном дискурсе знания негативность властных отношений и способствовать поддержанию социального и политического консенсуса. Напротив, по мере сближения с центральной инстанцией власти (власть суверена или группы, доктрины или авторитарной идеологии) должны быть предприняты усилия в обратном направлении, усилия деструктивные, обеспечивающие маргинальный характер политического поиска. А это также значит, что и теоретический проект исследования должен исходить из некоторых закономерностей, правил и условий, принадлежащих отвергаемому обществом знанию, реконструировать присущий только этому знанию специфический порядок рациональности, отыскивать самоорганизующееся ядро этого опыта, способствовать его выявлению в социальности, но не говорить от его имени, скорее создавать для этого знания определенное пространство политической речи, не допускать его дисквалификации со стороны нормы или закона. Но это вовсе не значит, что маргинальный интеллектуал потакает безумию или преступлению, он пытается обнаружить и проявить, подобно тому как проявляется фотографический негатив, на поверхности социального опыта особые языки знания, оттесняемые на периферию общества нормативной практикой господствующих институтов знания, морали и закона. Фуко самым широким образом ставит проблему социальной реабилитации асоциального, но совершенно иначе, чем это представлял себе Г. Маркузе, когда полагал, что уникальный язык маргинальных групп («новая чувственность») способен разрушить и затем подменить собой язык «тотальной администрации», господствующий в позднекапиталистическом обществе. Для Фуко социальная реа-



билитация асоциального — это дисквалификация господствующего типа социальности как нормы.

Поэтому науки, которые пытаются приблизиться к постижению маргинального опыта, оттесненного и скрытого, должны строиться иначе, чем строятся социальные и исторические науки традиционного типа. Было бы слишком просто обвинить Фуко в том, что он стремится узаконить право отдельного индивида на сексуальную перверсию, преступление или безумие, и тем самым подкрепить теоретически и идеологически центробежные силы общественного устройства. Напротив, Фуко в своих исследованиях придает статус социальности не преступлению, а тому знанию, которым обладает заключенный, понесший наказание, так как он репрессирован законом, и поскольку это знание, которое возникает на стыке чистого действия власти на индивида, лишенного правовых и социальных гарантий, исключено в силу его фрагментарности и «необъективности» и находится под запретом. Археология власти-познания, которую создает Фуко, представляет собой частную, локальную науку, т. е. является такой исторической наукой, которая не предписывает способ существования своему объекту: не она ему, а он ей устанавливает принципы, необходимые условия и правила собственного описания<sup>16</sup>. Археологическое знание рождается из «систематического описания дискурса объекта»<sup>17</sup>. Сама же тема генеалогии власти возникает именно как попытка восстановить драматические перипетии борьбы знания подавляемого и знания подавляющего, причем последний вид знания дисквалифицирует первый от имени строгой науки, общепринятой нормы и системы моральных ценностей.

Но почему так это происходит? Для чего необходимо утверждать один вид знания и настолько неустанно, пока любые другие возможные виды знания не будут ему полностью подчинены?

Нужда в генеалогиях знания отпала бы, если бы не существовало подавленное, исключенное или запрещенное знание — знание больного, подвергающегося воздействию электрошоком, преступника, вступающего в длительный конфликт с надзирателем, школьника, подавленного авторитетом учителя, и т. п. Генеалогии внедряются в те области социального опыта, где отсутствует право на производство «знания», присущего только им и не сводимого ни к какому другому. «Генеалогии, — формулирует Фуко, — не являются поэтому позитивист-

ским возвратом к более осторожной или точной форме науки; в сущности, они — антинауки»<sup>18</sup> и основываются на «реактивации локальных познаний»<sup>19</sup>. Здесь не идет речь об антинаучном пафосе исследований Фуко или иррационализме его познавательных установок, поскольку общий теоретический проект его может быть определен как поиск исторических оснований комплексной стратегии власти. В этом поиске генеалогии оказываются не только орудиями критики, но и ведут исследователя к конкретному политическому опыту борьбы с властью. По мнению Фуко, могут быть сформулированы принципиальные направления борьбы с властью; эта борьба окажется:

— *непосредственной*, поскольку не будет идеализировать или превращать в абстракцию образ непосредственного врага и будет вестись с конкретными проявлениями власти; победа или поражение в этой борьбе неотносимы ни к будущему, ни к прошлому, все решается только «здесь» и «сейчас»;

— *экстерриториальной*, поскольку не ограничивается отдельной страной, национальными границами или избранными институтами господства: тот, кто участвует в борьбе, всегда движется не в сторону, вслед или против, но поперечно проявляющимся эффектам власти, где бы они ни происходили, так как именно такое движение успешней всего атакует власть, локализует ее действие, выявляет множественность ее очагов и включается во взаимодействие сил, имманентных самой власти. Определяющее значение в этой стратегии получает блокада частным «знанием» всех попыток его использования в целях укрепления иерархии политического господства; причем эту блокаду осуществляет не отдельный субъект в его традиционно-ценностной форме «сверх-Я», а множество субъектов знания, действующих в одной амплитуде политической активности. Другими словами, тот, кто борется против власти сегодня, в каких бы скрытых формах она ни проявлялась, не образует классово или национально определенного субъекта. «Те, кто действуют и борются, перестают быть представимыми: представимыми партией, союзом, присваивающим себе право быть их сознанием. Кто говорит и кто действует? Это — всегда множество, это множество также проявляется и в личности, которая говорит и которая действует. Мы все — мельчайшие группы (*groupuscules*)»<sup>20</sup>;

— борьбой против «управления индивидуализацией», поскольку утверждает право индивида быть отличным и отличающимся от других, отказывается принимать за истину субъективности то, что создает его собственную идентичность принудительным путем; политическое действие должно опираться на политику меньшинств и региональных групп, а не на поиск классового единства или политического целого; неустанное завоевание все новых частичных пунктов, специфических перспектив в политическом пространстве — вот цель этой стратегии. Если борьба и возможна — с «властью», «централизацией», «доктринами», — то она должна вестись вне макростратегического поля классовых противоборств и тотальных идеологий; т. е. интеллигент не должен искать точек приложения сил борьбы извне, а лишь внутри — внутри отдельной, конкретно функционирующей власти. Интеллигент сегодня (и не только в силу особенностей его труда) находится на пересечении властных отношений, если не сказать больше: интеллигент — давно уже мишень власти. Но, именно благодаря умению «различаться» и, следовательно, скользить между позициями, интеллигент в силах использовать знание позитивно. Политическая автономия интеллигента теперь заключается в том, чтобы не быть отдельным, высшим или изначальным; если действовать, то не от имени подавляемого меньшинства, а как само меньшинство, как группа-субъект, образующаяся по случаю и распадающаяся как только возникает угроза ее институционализации, чтобы вновь и в ином лиминальном пространстве социальности сплотиться в другие мобильные и гибкие всепроникающие множества; ускользать от власти там, где она еще неизмеримо могущественна, и атаковать там, где она ослаблена или не ожидает нападения;

— борьбой против «привилегий познания», не против науки, а против той скрытой связи с властью, наличие которой она еще сегодня продолжает не замечать, критически не рефлектируя свои основания и не борясь с ней<sup>21</sup>. В познании интеллигент должен вдохновляться различиями, фрагментарными и частичными объектами, где власть открывается как важный компонент социальной реальности.

Многое в размышлениях Фуко о направлениях борьбы с властью остается без ответа: как, например, можно осуществлять новую политику, минуя воздействие и сопротивление ей со стороны господствующих институтов

власти, форм сознания и классовых ориентаций, как бы оставаясь по другую сторону традиционных классовых конфликтов, которые пронизывают современное капиталистическое общество? Ведь для того чтобы начать и вести борьбу с властью, нужно обладать гарантиями правовой защиты от прямого посягательства власти на свободу высказывания, т. е. быть вписанным в некий регулятивный механизм господствующих социальных структур. И что это за маргинальное пространство, которое, как оказывается, не надо больше завоевывать, отстаивать, добиваться, поскольку оно создается самим знанием, удерживается в той его микрологической, специальной структуре, которой владеет интеллеktуал-специалист? Вопросы можно умножить, но одно остается очевидным: археология власти Фуко — это локальная, частная наука о власти, и даже не просто «наука», а способ, каким власть провоцируется, понуждается к высказыванию о самой себе, без того, чтобы какой-либо заинтересованный субъект-наблюдатель мог бы ограничить, подвергнуть цензуре или исключить эту «свободную» речь власти. С другой стороны, практическая действенность политики интеллеktуала состоит в «спасении» маргинальных языков и поэтому ее можно определить и как политическую стратегию маргинальных групп. Иное дело, достаточны ли сами условия, созданные теорией Фуко, чтобы власть могла высказаться как можно полнее о том, как осуществляется комплексная стратегия социальности?

## 2. Власть и ее основные модальности

В современной западной политической науке и ее приложениях доминируют принципы *субъектного* анализа политической реальности, в том числе и всей проблематики власти. Выделяются два уровня анализа: первый — это уровень микрологический, второй — макрологический. На первом уровне располагаются анализы «субъекта, принимающего решения» (*man-decision maker*); на втором — «системы, распределяющей власть»<sup>22</sup>. Субъекту приписывается индивидуально выраженное политическое поведение (сознание, целеполагание, ответственность и т. п.); система же, в пределах которой действуют субъекты власти, выступает в качестве внеиндивидуального и безличного политического образования, законоподобным образом упорядочивающая отношения между отдельными субъектами (налагает ограничения, поддерживает полити-

ческую традицию, перераспределяет властные отношения и т. п.). Функционирование системы понимается как действие Субъекта с большой буквы, в противном случае ее функционирование было бы иррациональным, что невозможно по определению системы. Итак, на микроуровне — субъект, на макроуровне — Субъект. Переход с микрологического на макрологический уровень политического анализа не предполагает качественного изменения средств познания. В этом нет необходимости, так как субъект одного уровня дублирует все онтологические и гносеологические функции субъекта другого уровня. Процедуры познания политической реальности заметно упрощаются.

В последние десятилетия в американской и западноевропейской политической науке резко возросло число попыток выработать единую, логически непротиворечивую формулу власти. Мы имеем в виду поиски минимальной гносеологической единицы в возможных определениях власти (правовых, экономических, политических, антропологических и т. д.). Чем же они вызваны? Во-первых, стремлением политической науки строго рационально определить свой предмет; во-вторых, уверенностью в том, что нахождение единой формулы власти откроет новые возможности для построения научно обоснованных теорий политического действия, принятия политических решений и количественного анализа глобальных политических стратегий (например, известные попытки компьютеризировать политику); и в-третьих, что не менее важно, желанием унифицировать концептуальный язык дисциплин, входящих в корпус политического знания. В качестве характерных примеров подобных поисков можно привести следующие формулы.

«Субъект *A* обладает властью над субъектом *B* в той мере, в какой он может заставить *B* делать то, что *B* сделал бы иным образом»<sup>23</sup>.

«Власть есть способность одних акторов (личностей, групп или институтов) определять или изменять (полностью или частично) ряд альтернативных действий или выбор альтернатив для других акторов»<sup>24</sup>.

Или более пространная формула, в которой власть определяется как «способность отдельных лиц или групп навязывать свою волю другим вопреки сопротивлению, используя для этого формы устрашения или предостережения, заменяющие возмездие и прямое наказание, учитывая то, что как первое, так и второе являются по существу негативными санкциями»<sup>25</sup>.

Как можно заметить, подобные формулы создаются на основе введения определенного типа субъект-объектного отношения, которое позволяет выделить абстрактный принцип действия власти для всех возможных случаев ее функционирования. Неизменна здесь и скрытая посылка: несмотря на асимметрию отношений, субъекты власти выступают в качестве сознательных, суверенных и правомочных, представляющих от имени традиционных буржуазных институтов права и закона. Однако специфический характер действия власти, отличающий ее от других форм взаимодействия индивидов в обществе, базируется на негативной санкции, иначе говоря, на способности обладающего властью субъекта вводить повсюду, где она осуществляется, отношения асимметрии. А это значит, что из двух субъектов, вступающих между собой в отношение по поводу власти, один всегда должен быть «субъектом» власти (господином, шефом, деспотом, обладать авторитетом или компетенцией), а другой — «объектом» власти (рабом, подчиненным, не имеющим авторитета или влияния). В любом случае действие власти таково, что властвующий субъект усиливает свою власть благодаря все более полному сведению другого субъекта к объекту. Если расширить эту достаточно узкую форму властных отношений и дополнить ее другой переменной — позитивной санкцией, — то открывается возможность логического исчисления всех свойств власти, более того, власть в своих негативных и позитивных функциях теперь может быть подвергнута точному измерению. Количественными мерами или степенями власти (в зависимости от статуса субъектов, вступающих в отношения власти) могут служить такие понятия, как «авторитет», «влияние», «господство», «отчуждение» или «насилие»; все они указывают на специальные каналы осуществления власти. Способ, каким один субъект осуществляет свою власть над другим субъектом, определяется используемой им санкцией. Можно сделать вывод: понятие власти постоянно находится под угрозой размывания своих важнейших характеристик, причем в той степени, в какой функционированию власти придается все более сознательный, рациональный, управляемый характер, т. е. в какой власть мыслят *субъектно*. Действительно, все эти формулы, так как они строятся по жесткой, линейно детерминированной причинно-следственной схеме, могут быть суммированы в одном типе высказывания:

Если некто делает действие  $X$ , то другой делает действие  $Y$  (где  $X$  и  $Y$  могут означать как позитивную, так и негативную санкцию).

С одной стороны, этот тип высказывания логически универсален для определения всех возможных событий власти, но с другой — совершенно не способен отразить в своей логической структуре уникальность и неповторимость конкретных событий власти, так как область референции устраняется и формула власти утрачивает политическое содержание. Многие исследователи, стремясь к построению логически чистой формулы власти, забывают, что измерения власти качественно различны и несводимы друг к другу без потери своего конкретного властного содержания. Исследователь, работающий с подобными формулами, как бы заранее знает, что методы, которые он использует в области политического анализа, в принципе не должны отличаться от методов естественнонаучных дисциплин, построенных на точном измерении: субъект познания должен быть предельно «активен», объект предельно «пассивен», никакого взаимодействия по типу «субъект-объект — объект-субъект» не предполагается. Если оно и предполагается, то лишь в тех шкалированных поправках, какие субъект власти учитывает при выборе своей стратегии: в одном случае используется авторитет, в другом — насилие, в третьем будет достаточно власти компетенции и т. п. Власть представляется как *средство* для достижения целей, лежащих вне ее самой, и, следовательно, как сознательное и рационально управляемое нарушение коммуникации между индивидами, группами или институтами. Поэтому власть оказывается всегда детерминированной чем-то вне ее находящимся (будет ли это классовая, экономическая или юридически-правовая структура, — не имеет значения). Шкала отношений власти, на которой фиксируются дистанции, отделяющие один способ воздействия от другого, остается количественной, не качественной, и способствует тому, чтобы власть могла быть постоянно перераспределяема: отношения асимметрии удерживаются, но в принципе могут быть сведены к нулю. Вот почему для многих англо-американских ученых товарно-меновые структуры (рынок), хотя и располагаются в другом порядке реальности (экономическом), не только не исключаются из опыта осуществления власти в обществе, но и являют собой ее регулятивный механизм.

Достаточно вспомнить попытку Т. Парсонса описать функционирование власти в терминах денежного обраще-

ния. Субъект власти обретает качества денежного владельца, а сама его власть получает подтверждение в денежной циркуляции и определяется последней. Иллюзия того, что структуры властных отношений не являются самостоятельными в современном обществе и подчиняются регулятивной функции «свободного рынка», — т. е. в конечном счете действию совокупного множества отдельных сознательных и правомочных субъектов, — сопутствует практически всем поискам единой формулы власти. Так, идеология субъекта маскирует себя юридически-правовыми, экономическими, политическими и моральными гарантиями, которые уже «заранее» даны любому субъекту, вступающему в отношения по поводу власти, как если бы власть могла быть «локализована» в любом возможном субъекте безразлично от того, какими ресурсами власти на данный момент он обладает и обладает ли вообще. Логическая и экономическая модели власти поддерживают друг друга: логическая задает необходимые и непротиворечивые условия рационального языка власти (не только то, как правильно нужно рассуждать о власти, понимать ее, но и как в зависимости от ее правильного познания организовать политическое поведение); экономическая сводит властные отношения к оперативному средству ради достижения целей, лежащих вне пределов конкретного типа властных отношений (власть мистифицируется в игре рыночной конъюнктуры, которая подменяет собой политическую реальность).

Археологический поиск М. Фуко прямо направлен против идеологии субъекта, которая пронизывает собой все эти изыскания по поводу единой, логически непротиворечивой и потому универсальной формулы власти, где субъект всегда равен себе, в то время как объект обретает свою тождественность только благодаря субъекту. Вопрос Фуко обращен к субъекту, но не к тому субъекту, который познает власть, а к тому, который сам стал одним из самых эффективных средств и образов власти. Может быть, власть более не следует считать локализованной в глобальных институтах государства и права, тем более сводить ее мощь к совокупности индивидуальных волей, но обнаруживать ее там, где в социальной истории впервые проявляется интерес к политическому использованию человеческого тела, где оно впервые выделяется в качестве индивидуализированного объекта надзора, тренировки, обучения и наказания из множества себе подобных тел? Не следует ли вновь повторить гоббсовский опыт исследования «политических тел», но не тотальных, лишь внеш-



ним образом определяющих социальные и политические процессы, а политических микротел в их сложной микрофизике и технологии изготовления, т. е. тех тел, которыми мы сами являемся вот уже более двух веков, с того времени, как великий Субъект европейской рациональности стал единственным мерилom опыта жизни и познания? Может быть, знать, что такое Власть, для нас недостаточно сегодня, может быть, необходимо узнать, что такое власть в своей неустранимой мобильности, сегментированности и вездесущности, чьей мощью не овладеть, поскольку она всегда или «выше», или «ниже» того предела, который ей может полагать субъект и его великий дублет-Субъект европейской рациональности?

Фуко отказывается от попыток персонифицировать власть, строить с помощью субъекта ее трансцендентный образ. Области функционирования власти получают достаточно определенные модальности, среди которых следует выделить следующие.

1. *Власть имманентна собственным проявлениям.* Фуко оговаривает условия: «Анализ в терминах власти не должен постулировать в качестве изначальных данных суверенность государства, форму закона или глобальное единство господства; последние представляют собой переходные формы. Как мне кажется, под властью с самого начала следует понимать множественность отношений силы, которые являются имманентными области, где они осуществляются...»<sup>26</sup> Однако Фуко не отрицает тот факт, что именно глобальные структурные изменения в экономических, демографических и других сферах западного общества XVII—XVIII веков так или иначе вызвали к жизни новые технологии, новую «физику» власти, но повторяет, что власть «уже там», что она синхронна всяким преобразованиям в макроструктурах общества и находится не вне их, а внутри, подобно могущественному двойнику. Власть всегда «уже там»: будут ли это государственные институты, экономические или юридически-правовые системы, структуры познания или эстетические образы. Фуко все время пытается усилить свою аргументацию: власть обладает «нулевой экстериорностью», а это значит, что вне ее не существует ничего, что могло бы ее определять, никакая доминанта (экономика, политическая идеология, тип господства или традиция) не задает ей условия игры в социуме, да и сама власть не выступает в качестве некоей «первой материи» или детерминирующей инстанции, располагающейся в особом регионе социального бытия; власть

не может быть чем-то вторичным, внешним или высшим. Итак, власть не определяет, но и не определяема, только знак, указывающий на осуществление исторически определенной социальной стратегии<sup>27</sup>.

2. *Власть не локализуема и не описываема в терминах присвоения.* Не отрицая в целом значение для политического анализа марксистской топики «базис — надстройка», Фуко вместе с тем полагает, что размещать власть в надстройке, как это делают некоторые вульгарные марксисты, было бы столь же ошибочно, как и считать, что ее можно обосновать в нормах права, ограничить законом, т. е. полагать что она может быть «присвоена» и «быть во владении» одного или многих государственных институтов, либо принадлежать доминирующему политическому субъекту (классу, партии, группе или личности)<sup>28</sup>. Никакие глобальные преобразования не в силах устранить эту власть, сделать ее малоэффективной или беспомощной. Мыслить эту власть — это значит мыслить ее вне субъект-объектных отношений и каких-либо оппозиций типа: государство — личность, закон — свобода, право — насилие и т. п. С другой стороны, осмысление власти на языке меновых отношений, т. е. в терминах собственности, договорных и правовых отношений — анахронизм политических теорий, не способных увидеть власть в множественности отношений силы, опознать в ней глобальную стратегию социальности. Идеальная модель меновых отношений, покоящаяся на иллюзии равноправности субъектов, вступающих в обмен, должна быть пересмотрена в качестве модели власти. Впрочем, Фуко отвергает и противоположное: выделение обмена в особую сферу социальности, предшествующую любым формам власти (Левистрос)<sup>29</sup>. «Власть не является ни данной, ни обмениваемой, ни восстанавливаемой, но скорее исполняемой, и она существует только в действии»<sup>30</sup>.

Когда Фуко говорит о том, что власть «бессубъектна», или еще более радикально, что власть нельзя «присвоить», то он имеет в виду не то, что власть не может быть присвоена, но совершенно другое: присвоение власти есть действие не «субъекта», а самой власти. Поясним. В современной французской лингвистике проводится строгое различие между «субъектом высказывания» (*sujet d'énonciation*) и «субъектом высказанного» (*sujet d'énoncé*): функция первого субъекта в процессе высказывания фактически сведена к нулю; высказывание как несводимый к своим элементам уровень языка функционирует благодаря тому,

что место субъекта всегда остается «пустым» и его заполняет любой субъект, вступающий в высказывание, а так как процесс высказывания предполагает участие в нем неограниченного числа субъектов, то можно сказать, что эта «пустота» заполняется «множественным субъектом» (необходимо по крайней мере два голоса для того, чтобы возникла диалогическая форма высказывания, без которой его просто не существует)<sup>31</sup>. Если же обратиться к анализу «субъекта высказанного», то открывается совершенно иная картина: субъект того, что было высказано, останавливает непрерывную циркуляцию диалогических форм и присваивает сегмент речи (а по сути дела, весь язык) с помощью формального аппарата высказывания. Не сам субъект, а язык, как полагает Э. Бенвенист, «устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда тот обозначает себя как „я“, как бы присваивать себе язык целиком»<sup>32</sup>. Формальное основание субъективности тогда следует искать в самом языке, а точнее в определенном типе лингвистической детерминации субъектных знаков, которые «организуют пространственные и временные отношения вокруг „субъекта“, принятого за ориентир»<sup>33</sup>. «Я» становится центром высказывания, и там, где это происходит, исчезает «множественный субъект» высказывания, на его место заступает один-единственный, но уникальный субъект — субъект высказанного. Но, как можно заметить, все эти знаки деиксиса (указательные местоимения, наречия, прилагательные), сгруппированные вокруг одной точки дискурса, инстанции «я» и функционирующие только через нее, в непосредственном производстве речи (диалогической) определяются не функциональной (иллокутивной) силой «я», а совершенно иными процессами. На это указывает и тот факт, что «я», которое используется в предложениях типа «я думаю...», «я полагаю...», «я считаю...» и т. п., является аутореферентным (*suireferentiel*), т. е. относимо только к субъекту, производящему высказывание. Собственно, «я», присваивающее себе весь язык, является «пустой формой», но в то же время знаком порядка или закона языка, которому должен подчиняться всякий субъект, берущий слово. Это значит многое. Более того, переворачивает весь анализ высказывания: некто говорит «я» не потому, что он является субъектом, а потому, что он уже задан в качестве субъекта определенным «сцеплением» языковых и материальных знаков, вне и помимо его сознания. Так понимает «двойную функцию» речевого субъекта не только Фуко. В частности,

Альтюсер полагает, что функционирование идеологии невозможно без этого постоянного замещения субъекта высказывания на субъекта высказанного: идеология «запрашивает» (interpelle) конкретных индивидов в конкретных субъектах, только индивид, «запрошенный в субъект», обретает статус идеологического субъекта<sup>34</sup>. В любом случае конкретный индивид становится субъектом только благодаря тому, что уже существует «другой Субъект» (будет ли он субъектом языка, власти, религиозной идеологии, — неважно).

Таким образом, гегемонистская иллюзия присвоения субъектом языка сформировалась в самом языке, подобно тому как иллюзия «присвоения» власти постоянно создается и поддерживается самой властью. Политолог или политический философ, пытающийся найти логически непротиворечивую формулу власти с помощью методов «субъектно-предикативного» анализа, располагается внутри общей стратегии власти и подчинен ей, как бы ни была сильна объективная иллюзия того, что он наблюдает и «мыслит» власть извне. Фуко не отрицает право исследователя на этот поиск, но утверждает, что он детерминирован исторически определенным режимом властных отношений. Мыслить власть — это значит знать все ее ловушки, ухищрения, провокации, к которым она прибегает, чтобы стать социально невидимой и поэтому необъяснимой в терминах субъектного понимания. И дело не только в языке, как одной из ловушек власти: стать субъектом — это не столько принять правила языка, сколько стать «субъектом Субъекта» (Альтюсер), т. е. принять необходимые правила подчинения, получить имя, место, время, память, способ поведения посредством другого субъекта, отражением или эхом которого только и можно быть.

3. *Власть реляционна, а не субстанциональна.* Власть не может быть описана в субстанциональных характеристиках и представляет собой «подвижный цоколь»<sup>35</sup> отношений сил; ее следующая модальность подчиняется у Фуко принципу «отношения отношений». Допустим, что между двумя субъектами существует отношение власти, но для Фуко они являются идеологическими субъектами власти: ни в одном, ни в другом субъекте власть не может быть персонифицирована или овеществлена. Основное здесь — это линия силы, на которой сами субъекты «засекаются» лишь в качестве временных сгущений власти. Возникновение любой из сил власти связано с событием пересечения множества силовых линий в одной точке, но

относительно не с тем, что существует некая точка, точка Субъекта, который и создает эти линии власти, управляет ими до самых дальних разветвлений. Другими словами, для Фуко не существует сбалансированных отношений между субъектами власти, так как власть задается в сложной ткани отношения отношений, где отношение между выделенными субъектами множится и дублируется в других отношениях и позициях, которые могут составлять другие субъекты, события или процессы. Как известно, власть вводит «асимметрию» в отношения между субъектами — власть одного и послушание другого (иначе просто нет власти) — и, следовательно, не всегда явную возможность сопротивления, постоянную угрозу возникновения других сил, противостоящих доминирующему движению власти и живущих этим противостоянием. Но тогда должна существовать возможность радикального изменения господствующей стратегии власти (например, возможность революции). Однако для Фуко — и на это обращают внимание многие из его критиков <sup>36</sup> — не существует как вполне самостоятельных и автономных двух полюсов — власти и контрвласти. Прежде всего подобное установление полюсов противоречило бы выделяемым модальностям власти. Там, где есть власть, есть и сопротивление ей — с этой формулой Фуко согласен. Но всякое сопротивление для него вписывается в общую стратегию власти и порождается ею самой, а не какими-либо силами вне ее. Думать иначе — это значит вновь мыслить в терминах суверенности или закона. Сопротивление оказывается областью тактики, а не стратегии социальных сил власти. Другими словами, сопротивление не открывает в самой власти гетерогенные ей принципы. Но тогда возникает правомерный вопрос: следует ли вообще говорить о «сопротивлении» и вводить его в качестве понятийного элемента рассуждений о власти, если оно фактически не указывает на существование в политической реальности собственного референта или носителя? И тогда это «роение» точек сопротивления предвестников революции, глобальной перестройки социальных и политических институтов остается включенным в общую стратегию соотношения сил и не образует другую, новую власть, другой правопорядок, другие формы легитимизации. Непонятно и другое: возможно ли вообще какое-либо сознательное действие (ответственность субъекта, его ценностные ориентации и пр.), если власть, столь широко понимаемая Фуко, не ставит перед собой иной цели (безразлично, кто в данный момент от ее имени

выступает, реакционер или революционер), как только вводить иерархии и разрушать их, не допускать развития, конфликта, революции, индивидуального порыва, а, напротив, постоянно провоцировать их, короче, устранять все то, что могло бы поставить под угрозу или даже отменить вездесущее и тайное могущество власти? Отменить или разрушить власть — для Фуко пустые требования: власть настолько завладела временем и пространством социальности, самим человеческим телом (надзор, экзамен, тренировка и т. п.), что говорить о том, что власть можно локализовать в одной избранной точке социальности, определить как «внешнего врага» и предложить «революционные средства» борьбы с ним, — подобный замысел был бы исторической провокацией. Власти можно противопоставить власть только на макроструктурном уровне (там она политически ощутима); на микроструктурном же уровне всякий вызов есть лишь эффект общего действия власти. Мало утешения приносит нам и антигегелевский афоризм Фуко — «власть есть хитрость истории»<sup>37</sup>.

4. *Власть действует трансверсально.* По одному из определений Фуко, власть как «множественность отношений силы может быть закодирована в части, но никогда в целом»<sup>38</sup>. Аналогичное определение можно найти у других, близких Фуко исследователей: «Власть не пирамидальна... но сегментарна и линейна, она осуществляется посредством смежности, а не через высоту и даль»<sup>39</sup>. Микрофизика власти вводит особый тип причинности, которую можно определить как «трансверсальную», т. е. как такой тип причинности, который комбинирует действия власти двумя пространственными локализациями: смежностью и дистантностью. К первой локализации можно отнести принцип метонимии, *pars pro toto* (часть вместо целого). Целое власти дается только в своих проявлениях, всякий феномен власти является смежным другому, но не выводится из него и не сводится к нему. В метонимической «причинности» отсутствует фактор первопричины, следование явлений задается по типу эстафеты и не вызывается скрытым механизмом причинения. К другой пространственной локализации можно отнести принцип метафоры, *toto pro toto* (целое вместо целого). Эффект дистантности между двумя явлениями образуется тогда, когда одно замещает другое, но одновременно указывает на дистанцию, которая их отделяет, что и создает наибольший энергетический эффект. Трансверсальный тип причинности, который Фуко приписывает формам существования

микровласти, определяется им как одновременное функционирование эффектов власти через смежность и дистанцию. Вся так называемая микрофизика власти с ее исследовательскими объектами (госпиталь, тюрьма, казарма, завод, семья и т. д.), где формируются самые различные дисциплинарные тела, не может действовать иначе, как только посредством трансверсальности; отдельный эффект власти способен пребывать по отношению к другому по крайней мере в двух позициях: быть смежным и одновременно дистантным. Что это значит? Это значит, что подобный тип причинности не указывает на отношения иерархии или гомологии, элементарные проявления власти образуют свои отдельные и автономные микрокосмы власти, например семья, как полагает Фуко, вовсе не является сведенной моделью государства, а роль отца в семье не соответствует роли суверена. Когда мы говорим, что основой государства является семья, то предполагаем существование (хотя бы теоретическое) модели государства-семьи и утверждаем определенный тип детерминации, где не действует аналитика трансверсальной причинности. Но когда мы говорим, что семью нельзя понять без учета ее комплексных зависимостей от школы, казармы, завода или даже тюрьмы, то мы с необходимостью должны вводить трансверсальную аналитику. Отношения между отцом и сыном, командиром и подчиненным, врачом и пациентом, учителем и школьником формируют независимые друг от друга дисциплинарные пространства, настолько независимые (по своей технике, ритуалам и тактическим целям), т. е. дистантные, насколько смежные, так как в зависимости от конкретных задач и тактик, общей стратегии властных отношений — «учить умению подчиняться», используют различные технологии власти и различные типы позиций в структуре властных отношений. Реальная же мощь микровласти для Фуко как раз и заключается в том, что она способна «пересекать», «координировать», «выстраивать в непрерывную линию» или «прерывать», «перескакивать», или «внедряться» в любые социальные структуры, иерархии, институты, повсюду вводя напряжение, конфликт, устанавливая разрывы, гася или порождая сопротивления, умножая или, напротив, уменьшая число колеблющихся, неустойчивых сил. И это возможно лишь в том случае, если мы видим власть посредством трансверсальной аналитики причинности.

5. *Власть позитивна, но иллегальна.* Власть позитивна, и ее необходимо, как подчеркивает Фуко, осмыслять

именно в присущей ей позитивности. Власть и ее возможные эффекты, раз она не существует вне их, не могут быть причинно объяснены в традиционных схемах права, репрессии или влияния еще и потому, что сам познающий индивид стал обладать дискурсивным познанием благодаря историческому синтезу разнообразных технологий власти; и то, что всегда переживалось как положенная индивиду мера свободы, как род естественной правоспособности или как воля к познанию — желание быть бесконечно реализующим себя существом, — вовсе не находится где-то за пределами власти и не осуществляет себя вопреки ей. «Следует прекратить, — требует Фуко, — постоянно описывать проявления власти в негативных терминах: она „исключает“, „принижает“, „подвергает цензуре“, „абстрагирует“, „маскирует“, „скрывает“. На деле власть производит реальное, производит области объектов и ритуалов истины»<sup>40</sup>. Позитивность власти не противоречит ее иллегализму. Фуко особенно настаивает на том, что принципы права, присущие классической юридической системе, уже не в состоянии регулировать не столько политические, но прежде всего экономические и демографические процессы, в сердцевине которых постепенно начинает размещаться жизнь. И те, кто пытается сегодня, по его мнению, мыслить власть в терминах государственного суверенитета, права или насилия, остаются в пределах мышления, свойственного принципам «юридической монархии». Иначе говоря, опираются на предпосылки такого рода власти, которая покоится на принципах взимания и смерти, остается абсолютно чуждой «новым способам власти, функционирующим не по праву, но по технике, не по закону, но посредством нормализации, не через наказание, но путем контроля... Мы вступаем, — замечает далее Фуко, — до настоящего времени в такой тип общества, где юридическое все менее и менее способно кодировать власть и служить ей системой представления»<sup>41</sup>. Это значит, что буржуазное общество с самых начальных этапов развития уже имеет дисциплинарное измерение: в недрах формальных правовых свобод, провозглашенных великими юристами и философами XVIII в., формируются совершенно иные, противостоящие принципам договора и гарантиям взаимности, технологии власти — дисциплинарные. Там, где на поверхности юридического сознания еще вменяют субъекту право и суверенность по отношению к любым другим, столь же правомочным субъектам, за ним и в глубине действует другой вид права — «контрправо»<sup>42</sup>,



вводящее в социальную практику принципы принуждения, неравенства, асимметрии, устанавливающее условия своей игры, которые радикальным образом противоречат формальным принципам договорных отношений.

Право—контрправо, закон—контрзакон и им подобные оппозиции очень часто используются Фуко, но их не следует понимать односторонне. Например, контрправо противостоит праву «внутри» и «вне» его, однако ни то, ни другое не обладает субстанциональной значимостью вне отношений власти. Скорее эту оппозицию следует понимать так: где право не «срабатывает», там уже есть контрправо. Но право никогда не «срабатывает». Почему методы инквизиционного дознания до сих пор удерживают свое превосходство в юридических системах западного общества? Да потому, что они не только исследуют, классифицируют, «объективируют» преступление и преступника, но и создают, воссоздают и то и другое. Преступник и его преступление деифицируются: целью юридической системы оказывается не исправление или предупреждение преступлений, а как можно более точная классификация правонарушений в соответствующей шкале карательных мер. Другими словами, подавляющее число юридических систем современности скорее озабочено точным исполнением «возмездия», чем совершенствованием социального и политического контроля, построенного на иных типах стигматизации. Закон становится все более «точным» и «объективным» и все менее открытым обществу, он трансцендируется, оказывается абсолютно отчужденной, внешней формой, сила его и «неподкупность» оказываются равными той силе, которая отчуждает его от реальных и подвижных микровзаимодействий в социальном поле: все измеримо законом, но сам он неизмерим. Сделать закон неуязвимым — одна из великих юридических утопий. Но уязвимость закона — в этом Фуко прав — вовсе не обретается на путях его «улучшения» или замены другим законом: закон уязвим не в его карательной функции, а в нормативной, именно там, где он не предписывает кару, распределяет боль и создает преступника, а служит целям нормализации, т. е. там, где он оказывается все более и более имманентным множеству индивидов и любому отдельному индивиду, он становится и противоположным себе, становится уязвимым.

Если нельзя мыслить отношения власти в терминах юридической монархии («субъектно»), то как мыслить иначе? К. Маркс дал образцы блестящего анализа эконо-

мического содержания таких понятий буржуазного юридического сознания, как «свобода», «равенство», «интерес», «правоспособный субъект» и т. п. И не только экономического: чтобы быть лицом, способным вступить в меновые отношения, отдельный индивид принуждается независимо от его эгоистического интереса к тому, чтобы признать условия юридической взаимности: обменивающиеся опираются на договорные отношения «равенства» и «свободы», хотя на деле, реально эти отношения основываются на принуждении, стертом в меновом отношении<sup>43</sup>. Фуко пытается раскрыть смысл понятия «принуждение», которое уже дано до всякого обмена и если не определяет его, то во всяком случае создает для него дополнительное измерение, без которого он был бы невозможен. В этом измерении принуждения, поддерживающем систему эксплуатации, формируются гарантии социальной и политической стабильности: контрправо, т. е. обширная область функционирования микрофизики власти, без которой, как это ни парадоксально, представительский режим классовой власти буржуазии не просуществовал бы и дня. Итак, на уровне юридически-политической структуры общества действуют механизмы суверенной власти (суверенные права господствующего класса), на другом — контрправо, все это множество дисциплинарных институтов власти, которые подрывают все иллюзии справедливости буржуазного миро- и правопорядка, но одновременно обеспечивают их функционирование именно в этой правовой форме.

### 3. Политическая анатомия.

#### К проблеме становления дисциплинарного общества

Какие процессы вызвали преобразования западноевропейской культуры на рубеже Нового времени, почему она стала именно такой, какой сегодня является, культурой, исполненной послушания, рациональных форм господства, полезности и расчета? Кто мы, что и как сделало нас такими? — вот вопросы Фуко. Поиски ответа на эти вопросы ведутся им на путях познания власти как познания-борьбы, которая находит выражение в стратегической максиме: познавать власть — это атаковать не столько «те или иные» институты власти, группы, элиту или класс, но скорее технику, формы власти; следует отказаться, как полагает Фуко, от использования методов «научной или административной инквизиции, которая обнаруживает, кто есть кто»<sup>44</sup>, но не отвечает на вопрос, почему

этот «кто» стал тем, кого можно идентифицировать в качестве субъекта (правового, морального или политического), более того, стал тем, кто сам признает себя субъектом и требует от других быть субъектами. Собственно, археологический поиск предпринимается Фуко для того, чтобы показать, как на протяжении XVII—XIX столетий складывался новый образ человека, какие социально-психологические идентификации были необходимы для его закрепления в культуре. Почему, говоря о европейском человеке, мы вольно или невольно апеллируем к тому, что он обладает «сознанием», «личным я», «индивидуальностью» и т. п., но не задаемся вопросом о том, куда исчезло знание о тех глобальных телесных практиках, без которых совершенно невозможно понять становление европейского индивида и особенно тот психологический опыт, надолго определивший собой смысл субъективного, властного видения мира? Исследовательский интерес Фуко обращен к анализу политических стратегий европейского типа телесности: насколько они подверглись изменению от эпохи абсолютистских монархий вплоть до современного общественного устройства, которое французский ученый определяет как дисциплинарное общество, и почему для одной эпохи было крайне необходимо для осуществления контроля *прямое* карательное воздействие на человеческое тело, а для другой было достаточно различных форм *косвенного* контроля, более не нуждавшегося в непосредственном физическом контакте с контролируемым телом. Одна политическая стратегия полностью была ориентирована на физическое воздействие (имперские ритуалы наказания), другая же опиралась на дисциплинарные методы, чье воздействие осуществляется косвенными методами (пространство, речь, экзамен и тренировку). Но как та, так и другая стратегия развивались в исторических пределах так называемой политической анатомии тела.

*Тело казненное и пытаемое.* Напомним о том, что инициаторы юридически-правовых реформ XVIII в. (как, впрочем, и общественное мнение, которое они представляли в эпоху просвещенных монархий) были потрясены не только чудовищной жестокостью казни, но и тем, что судебная практика определялась столь иррациональными и дорогостоящими средствами, эффективность которых становилась все сомнительней. Не меньше, а лучше, рациональней наказывать — вот девиз судебных реформ этого века. Действительно, преступник и преступление связывались между собой политическим произволом короны,

и неудивительно, что процедуры наказания еще не были подкреплены юридически, оставаясь доправовыми и во многих отношениях случайными. Фуко подробнейшим образом описывает ритуализованную технику казни (раздел, посвященный ей, занимает чуть ли не треть книги «Надзирать и наказывать»). И это нельзя считать случайным, тем более выражением тщеславия всезнающего историка. Ведь одна из целей, которую стремился достичь Фуко, состояла в том, чтобы показать разрыв, существующий между «законом и правом суверена» и «справедливостью» наказания, в эпоху, предшествующую судебным реформам. Но не только: показать, как утверждается это несоответствие между совершенным преступлением и видом наказания на протяжении ряда исторических периодов вплоть до нашего времени. Не следует ли понимать наказание как такой социальный феномен, который всегда проявляется отделенным от своего юридического содержания? Другими словами, необходимо исследовать «конкретные карательные системы» как социальные феномены, которым, как полагает Фуко вслед за Г. Руше и О. Кирхеймером<sup>45</sup>, не в силах «дать объяснение ни наличная юридическая структура общества, ни фундаментальный этический выбор»<sup>46</sup>.

Фуко мог бы пояснить это следующим образом: если вы, например, намереваетесь представить историю практики наказания, то вы будете вынуждены исследовать ее не в сфере духа или закона (юридически-правового сознания, которое всегда апеллирует к идеальной норме), а в сфере тела (социальная и политическая технология телесности). Почему? Потому что, как показывают современные криминологические исследования, степени «жестокости» наказания резко колеблются от эпохи к эпохе и не имеют равнозначного юридического и социального содержания. Следовательно, должно существовать нечто «третье», что связывает институт наказания с самими процедурами наказания, что устраняет или заполняет специфическим образом этот очевидный разрыв и дает возможность функционировать системам юстиции. Для Фуко это «третье» определяется планом «подчинения» и есть само властное отношение. Если это действительно так, то можно сделать общий вывод: разнообразные технологии наказания не зависят от характера совершенного преступления, связь между тем и другим юридически «случайна» и целиком определяется историческими потребностями поддержания необходимого режима властных отношений. Поэтому мыс-

лить власть в археологическом контексте — это значит для Фуко стремиться понять, как устроено политическое тело индивида в каждую историческую эпоху, какова, например, его «карательная анатомия», каковы технологические процессы наказания, которые обеспечивают его функционирование, воспроизводство, «свободу» или устранение, как они меняются в зависимости от тех или иных социальных, экономических или политических условий, в зависимости от того, какое именно тело необходимо для поддержания тех или иных отношений властвования: тело раба, тело производящее, тело эротическое или тело аскезы. Власть «выслеживает» и организует форму тел, стигматизирует, как говорят юристы, т. е. помечает положение индивидуального тела в социуме отрицательными знаками: «Теперь ты и твоё тело вне закона, теперь ты приговариваешься, устранишься, подвергаешься обследованию и исправлению и т. п.» Но эти знаки и положительные: «Ты должен обладать именно таким телом и тогда ты будешь человеческим существом, субъектом, будешь иметь сознание, право жить и т. п.» Стигма — телесная печать власти, а не закона, так как процесс стигматизации всегда располагается на микрологических уровнях социальности, там, где, минуя сознание, возможно чистое проявление отношений между властью и необходимым ей типом телесности.

Сущность абсолютистско-деспотической модели власти Фуко определяет краткой формулой: право над жизнью и смертью. «Право, — уточняет он, — которое определяется как право „над жизнью и смертью“, фактически является правом предавать смерти или оставлять в живых»<sup>47</sup>. Механизм абсолютистской власти, как бы заклинившийся на одной операции — превращать в смерть все то, что препятствует, ограничивает, восстает, преступает, — сводим к решающей стратегеме этого типа власти: «взыманию». Фуко называет её ещё «механизмом вычитания»<sup>48</sup>. Взымать богатства, кровь, продукты труда, объекты природы, время и пространство — это значит давать смерти самые широкие полномочия. Угроза со стороны смерти имеет в эти эпохи решающее социальное значение: во-первых, смерть открывает символическую функцию крови, благодаря которой происходит распределение человеческих множеств по линиям кровного родства, благородного и неблагородного происхождения; именно кровь указывает на разделы, проходящие между военным поражением и победой; во-вторых, смерть дифференцирует массы насе-

ления по эпидемиям, голоду, стихийным действиям, сокрушая государства и самого суверена; наконец, с ее помощью абсолютистская власть пытается утвердить во всем блеске древнюю мнемотехнику наказания, и прежде всего — ритуал казни. Власть смерти над жизнью в эти эпохи является безусловной. И власть отождествляет свою мощь со смертью, линию бесконечно осуществляемого насилия нельзя «отмыслить» от этого типа властвования. Политические требования коронованного субъекта, как, впрочем, каприз, случайность, безумие или месть, соединяются в одно: исполнение закона как проявление крови, символа финального аккорда смерти — все это и составляло, по выражению Фуко, «поле суверенности», в котором еще нет места для жизни, куда еще не проникли, да и не могли проникнуть потребность в поддержании жизненных процессов, экономия сил и ресурсов, увеличение производительности труда, так как власть суверена не стремилась «дать» жизнь, скорее — смерть, и закон действовал как возмездие, как возобновление памяти о боли, единственным референтом которого оставался меч палача.

В XVI—XVII столетиях абсолютистская власть, олицетворенная в суверене, подтверждала тайну своего происхождения не столько коронацией, придворными церемониями или предметами тронного реквизита, но главным образом ритуалом казни. По мнению Фуко, казнь выступает как «политический оператор», связывающий в одной карательной процедуре тело преступника и политическое тело закона, воплощаемое сувереном (право суверена карать своих врагов). Казнь — этот предельный символ абсолютистского господства — должна вновь и вновь доказывать, что нет никакой «справедливости» вне прав суверена. Верховная власть не посредствует в наказании преступника и не столько печется о защите прав своих подданных, сколько осуществляет месть. «Казнь, — замечает Фуко, — не исполняет справедливости, но реактивирует власть»<sup>49</sup>. Всякий, кто дерзнул преступить черту закона, следовательно, обрести права, равные правам суверена, должен как можно быстрее, а лучше «мгновенно» испытать на собственном теле тотально уничтожающее действие стигмы абсолютистского террора. Вся эта достаточно полно разработанная техника казни, где способ казни прямо зависел от характера совершенного преступления (места, где оно произошло, кем, как, по каким причинам и против кого оно было направлено), где всегда есть тот, кто приводит приговор в исполнение (мифическая фигура палача,

этого двойника суверена)<sup>50</sup>, где есть и тот, кто подвергается казни,— преступник, наконец, народ, окружающий место казни,— все это разом, в одной драматургии действия оповещает, что нет другого «вместилища» власти, кроме божественного тела монарха. Тело казненного, выставленное напоказ,— эмблема власти суверена, блистательное воскресение венценосного тела из смерти посредством смерти. В самом исполнении ритуала казни обнаруживается внеправовая основа права монарха карать своих врагов, неравновесие между спорадическим, импульсивным действием власти и бессилием, податливостью человеческого материала, телом преступника, преобразуемого в истину преступления: преступник, став тотемом преступления, одновременно является знаком *другой власти*, инверсивной власти суверена, подвергается разрыванию, «пожиранию», расчленению, как всякий чужой тотем. Карательная техника здесь еще исполнена «поэтического чувства» и соответствует тому, что О. Фрейденберг называла семантикой метафор наказания, присущих мифическому освоению мира, именно она устанавливает карательную (метафорическую) обратимость между видом преступного действия и самим телом преступника<sup>51</sup>. Причем эта обратимость является универсальной для формирующихся юридических систем в древних культурах и их современных дериватов.

Техническая изощренность и нормативность широко используемой в эту эпоху телесной пытки (до последующих судебных реформ XVIII в.) вполне может служить, по мнению Фуко, свидетельством нового знания о теле и его «политической анатомии». Но что это за познание? Это прежде всего познание пассивного, скованного и подавленного тюремным пространством тела. Судебное разбирательство проводится втайне, господствует презумпция виновности. Наказания, несмотря на их разнообразие и относительную регламентированность, остаются «случайными», подчиняются мифологеме «разъятого тела». Другими словами, пытка представляет собой казнь до казни или, если быть еще точнее, медленную казнь. «Медленность» пыточных процедур направлена не столько к тому, чтобы дозировать боль и как можно дольше удерживать ее в теле, но прежде всего для того, чтобы добиться признания — *истины* преступления. Телесная пытка остается основным средством доказательства вины, но вина должна быть признана тем, кто подвергается пытке; без этого признания террористическая машина следствия пе-

рестает действовать. Это новое познание человеческого тела нашло свое выражение в терминах инквизиционного дознания, именно инквизиционные процедуры формировали из обвиняемого «признающееся тело», тело, которое необходимо заставить огласить истину преступления, т. е. совершенно объективным и независимым от сознания чувств жертвы образом: «Пускай говорит только тело! Разве может тело, охваченное болью, лгать?» Итак, тело обвиняемого — объект пыточного эксперимента. Различные способы физического воздействия на него всегда оправданны, так как их цель — вырвать признание, но не любой ценой, а в пределах регламентированной, количественно градуированной техники причинения боли. И тело действительно познается: устанавливаются пределы и глубина боли в соответствии с возможностью вызвать аффект признания, сопротивляемостью боли или наоборот — неспособностью выдержать болевой шок и т. п. Инквизиционная процедура обеспечивает постоянство процесса тотальной дезиндивидуации субъекта: он должен стать «телом-поверхностью», утратить все свои персональные и сословные признаки, фактически подвергнуться исключению из любых возможных форм социального общения. Только суверен, этот сверхсубъект власти, может стать тем, что он требует признать с помощью пыток и казней от своих подданных, его божественное тело есть тело Закона. Линия подобной индивидуации суверена устремляется «вверх»: от тела, которое испытывается в дознании вплоть до его исчезновения, к сверхтелу, чья мощь нарастает с каждым вырванным признанием.

Однако в глубине этой восходящей индивидуации происходит важное событие: событие перевода всех технических средств и методов, накопленных в процедуре инквизиционного дознания, в план «испытания» природных объектов; и только это событие — в этом заключается одна из гипотез Фуко — способно связать истину познания с отношениями власти. Только благодаря этому событию становится возможным появление фундаментальных предпосылок «эмпирических наук»; методы и технология инквизиционного дознания, подкрепленные уникальными правами суверенной власти (право над жизнью и смертью), образуют то, что Фуко называет «юридически-политической матрицей экспериментального познания»<sup>52</sup>.

*Тело дисциплинарное.* К концу XVIII в. два процесса, педавно автономные, соединяются, чтобы сформировать иной тип общественной структуры — дисциплинарное об-



щество. Заканчивается процесс формирования таких дисциплинарных институтов, как школа, армия, тюрьма, лечебница, фабрика, в которых непрерывно идет совершенствование, воспитание, оздоровление человеческого тела, увеличение его производительности, способности к послушанию и выполнению команд. Образуется новая политическая технология, в центре которой размещается человеческое тело, понимаемое в качестве послушной машины («человек-машина» Ламметри). Так возникает микрофизика власти: благодаря развитию дисциплинарной техники власть впервые получает доступ к бесконечно малым элементам социального опыта, вплоть до возможности управлять телесной и сексуальной практикой индивидуальных тел. Вместо старого принципа «взимание — насилие» начинает все более доминировать дисциплинарный «послушание — производство — прибыль»<sup>53</sup>. И этот принцип должен предоставить гарантии новой общественной стабильности, нейтрализовать все возможные эффекты «контрвласти», которые были столь свойственны иллегализму эпохи абсолютистских монархий<sup>54</sup>.

Фуко не отрицает зависимость становления новых технологий власти от фундаментальных изменений в структурах производства. Напротив, он усиленно подчеркивает тот факт, что аккумуляция капитала и аккумуляция человеческих множеств посредством дисциплинарных пространств идут рука об руку: одно определяет другое и не может рассматриваться отдельно или в качестве уникальной социальной детерминанты. В том смысле, в каком Вебер определял «дух капитализма» посредством этики призвания и тем самым видел в дисциплине протестантской аскезы решающее средство подготовки нового типа производящего тела — тело эксплуатируемое; аналогичным образом и Фуко считает, что весь процесс капиталистической индустриализации не мог быть успешным, если бы одновременно с ним и «внутри» него не действовали дисциплинарные методы, приспособляющие человеческое тело к определенным операциям, разделению труда, правильному выполнению команд. Микрофизика власти, сфокусированная на теле, всегда в глубине структур производства, она интенсифицирует пределы и степени капиталистической эксплуатации, так как, вводя жесткие, хотя и «невидимые» технологии послушания, не позволяет отдельному индивиду или группе ставить под сомнение или отвергать формальные свободы капиталистического предпринимательства.

Фуко указывает на появление и такого комплексного феномена, как «биополитика населения»<sup>55</sup>, вызванного к жизни увеличением рождаемости, растущим уровнем жизни и ее продолжительностью, потребностями рационального размещения рабочей силы, ограничения миграций, развитием институтов общественного здравоохранения и т. п. Так появляется новое право — право на жизнь, право на удовлетворение потребностей; все эти права противостоят праву суверенной власти, но вовсе не отменяют ее. Однако жизнь оказывается по своим возможным правам несоизмеримой старому королевскому праву меча и взимания. Дисциплинарная практика тел, регуляция демографических и биологических процессов в обществе составили иной тип власти — «биовласть», пытающуюся с помощью разнообразных средств контроля и познания охватить все возможные проявления жизни, — такой тип власти, которая не может более просто убивать и калечить, напротив, скорее стремится порождать и удерживать жизнь, распространяя ее до тех пределов, до той периферии общества, где еще недавно царила смерть в качестве изначального гаранта суверенного господства. «Жизнь становится средством для власти, и наоборот»<sup>56</sup>. Эта новая власть видит человеческое тело уже не столько в терминах машины, суммы механических сцеплений, но «живым», видит его одновременно и дисциплинарным и биологическим.

Перед исследователем стоит одна задача: восстановить весь этот процесс нисхождения власти к множеству живых тел и сил, существующих всегда на периферии политической власти класса, в дисфункции с макроаппаратами насилия и идеологии, не всегда явном, но неустранимом конфликте с правом и законом суверена; показать, как создается эта простая и крайне эффективная геометрия пространств новой власти, как она преобразует, распределяет, отнимает, наказывает, обучает, «индивидуализирует», заставляя функционировать отдельное тело то ли в качестве больного, то ли солдата, то ли рабочего; показать, как она пересекает и устраняет пределы, положенные ей государственным контролем или юридическим сознанием. Одним словом, показать, как формируется к концу XVII столетия это необычное и скрытое функциональное пространство, которое позволяет микрофизике власти бесконечно умножать себя, экспериментировать с человеческим телом на самых различных уровнях социальной и политической структуры, неустанно произ-

водить все новые дисциплинарные машины, устройства и тела; как производится «пересадка» (implantation)<sup>57</sup> отдельного тела, выделенного из массы себе подобных, в новое специализированное пространство.

Провозглашение юридических и формальных свобод в эпоху европейского Просвещения совпадает, по мнению Фуко, с началом образования дисциплинарного общества: так, не всегда последовательно объясняемая практическая особенность этой эпохи находит свое материальное технологическое выражение в практике создания дисциплинарных пространств, и прежде всего в решительном преобразовании тюремной архитектуры. Абсолютистская архитектура не испытывала интереса к частному, жизненному пространству подданных, и поэтому все, что было вне достигаемости интересов абсолютистского видения мира, оставалось лишь природным явлением, годным лишь к тому, чтобы быть взимаемым<sup>58</sup>. Для просвещенного идеолога XVIII в. нет ничего более сомнительного по своему назначению, чем эти громадные, подобные мрачным глыбам на офортах Пиранези, архитектуры старых тюрем с их узилищами-подвалами, с романтикой подземного дьявольского колорита, которым окрашивает народное предание упрятанных в тьму преступников; эти цепи, запоры, каменные блоки, ряды решеток и «секреты» тайных дознаний — знаки суверенного могущества. Старая тюремная архитектура полна хтонической мифологии; ее величие зиждется на исполнении трех условий: «закрывать», «лишать света», «утаивать»<sup>59</sup>. Чистое отражение абсолютистского могущества. Постепенно, но еще в стороне от абсолютистской геометрии, обожествляющей вертикальные сечения и тяжесть иерархии, начинают формироваться иные принципы дифференциации социального пространства. В искусности устройства дисциплинарного пространства начинают видеть единственно возможный путь к рациональной организации человеческих множеств, власть не на крови и страхе, во всем великолепии видимых знаков мощи, а власть невидимую, но еще более «телесную», которая, как полагает Фуко, и окажется тем необходимым условием бесперебойного функционирования социальности, блокирующей катастрофы, эпидемии, бунт, усматривающей свою охранительную функцию в достижении более эффективного производства посредством новой экономии послушания и полезности. Возникающие в это время утопии «общественного счастья», «прогресса», «идеального общества» — ре-

зультат просветительских надежд на возможную перестройку социального и политического пространства по законам разума и «прозрачности» человеческих отношений — утопии конечного аналитического пространства. Подобные утопии не перестают появляться в течение XVII—XIX веков (Бентам, Руссо, Сад, Фурье). Среди них выделяется своей аналитической простотой дисциплинарная утопия И. Бентама: паноптикум (Panopticon)<sup>60</sup>.

Тема паноптикума значительно шире ее конкретного воплощения в архитектуре новой тюрьмы; для Фуко она знаменует появление иного типа власти, ориентированной не на насилие или идеологическое принуждение, но на нормативную практику. Паноптикум Бентама сменяет королевский зверинец, впервые сконструированный в Версале для Людовика XIV, и представляет собой не только первообразец будущей тюремной архитектуры в своем идеальном масштабе и не просто совершенную утопию тюрьмы-государства, но и универсальную модель власти познания, чья геометрия, простота технологического решения и эффективность в организации человеческих множеств преобразовали всю конкретную практику надзора, наказания и обучения и т. п. Другими словами, возникающий тип власти — дисциплинарной — стремится не в пример прежней практике королевских судов и магистратур получать для всей области социальных и межчеловеческих отношений «гомогенные эффекты власти»<sup>61</sup>. Попытаемся проанализировать устройство паноптического пространства.

Надзиратель, находящийся в центре — башне надзора, — благодаря широким окнам внутренних стен камер, в состоянии следить за поведением любого из заключенных. Более того, наблюдение осуществляется таким образом, что наблюдаемый не должен и не может знать, когда, кто и по какой причине за ним наблюдает. Здесь действует принцип «нарушенной коммуникации» (коммуникации без обратной связи), эффективность которой, как полагает Фуко, зависит от выполнения двух необходимых условий: власть в лице великого надзирателя должна видеть, но сама оставаться невидимой; видимость в данном случае является ловушкой<sup>62</sup>. Для этой власти, власти анонимной, совершенно безразлично, кто осуществляет функции надзора и управления; власть становится тем более эффективной, чем менее она зависима от индивидуальных, персонифицированных свойств ее носителей.

Таков замысел проекта Бентама, с которым он обратился к Конвенту Великой французской революции.

Идея паноптикума — идея универсальной «прозрачности». Руссо видел совершенное общество как абсолютно прозрачное для его членов: ни одно отношение, ни один процесс, элемент или событие не может образовать неясную, непроницаемую для наблюдения сферу, то темное тело абсолютистской власти, которое, блистая своей видимостью, ввергает общество в хаос случайных решений, репрессий и иллегализма. Но кто обеспечивает и контролирует эту прозрачность и кто размещается в башне надзора? Если это закон, то паноптизм вновь возвращает нас к старой архитектуре абсолютистской власти: башня вздымается все выше, а периферия уходит в неясную тень, отбрасываемую башней, и тогда закон открывает себя в суверенном лике: того, кто видим всеми, но сам никого не видит. Закон действует посредством прерывистых эманаций, спорадически, поэтому пространство так быстро иерархизируется, наделяется качественно различными знаками дали-близости: гарантией закона остается лик суверена<sup>63</sup>. Поскольку закон всегда трансцендентен и безвременен, ему необходим временной интервал для собственного исполнения (или бесконечно малый, или бесконечно большой, — сам закон эту разницу во времени не «ощущает»). В любом случае закон-трансценденция всегда будет малоэффективным и с разным успехом действующим в одной и той же области социального целого; он остается трансцендентным даже тогда, когда кажется, что он осуществляется имманентным образом, например казнь как запись закона на теле преступника. По сути дела, опыт реформы XVII—XVIII вв. был лишь рационализацией абсолютистских структур власти: взор из центральной башни не неподвижный и поэтому «слепой», а циркулирующий, динамичный, всепроникающий. Именно этот взор, не принадлежащий никому и одновременно всем, способен, делая все видимым, сам отсутствовать или присутствовать только в порядке пространства, которое он освещает и одновременно создает<sup>64</sup>.

В отличие от Бентама, которому так и не стало ясно, кто должен размещаться в центральной башне, Фуко постулирует в этом пространстве всенаблюдения отсутствие лика центральной инстанции, но присутствие «чистого взора». Только разрушив башню, но удержав взор, можно придать власти имманентный характер, и не Власти, а властям. Только тогда это пространство станет предель-

но динамичным, совокупностью противоборств и взаимного надзора. Ни один из пунктов наблюдения не в силах завоевать или «присвоить» себе позицию, равную трансцендентности старого Закона; и любая позиция, так как она всегда существует одновременно как смежная и дистантная по отношению к другой, имеет и не имеет законоподобный характер, оставаясь имманентной проявлению собственных беззаконий. «В паноптикуме каждый, располагаясь в своем месте, наблюдаем всеми или некоторыми из них. Мы обладаем здесь, — уточняет Фуко, — аппаратом тотального и циркулирующего недоверия, так как отсутствует абсолютный пункт наблюдения»<sup>65</sup>. Это — власть, которая сама себе ставит пределы, сама себя наблюдает.

Создание Бентама, по выражению Фуко, представляет собой «чудодейственную машину», или идеальный образец тюремной машины или какой-либо другой, частной, региональной или индивидуальной: паноптикум — машина-архетип для всевозможных типов, как государственных, так и дисциплинарных машин, «абстрактная машина». Как же устроена эта машина, как она «работает»? Для Фуко термин «машина» означает прежде всего абстрактную машину (в качестве синонимов он часто использует «диаграмму», «карту», «геометрическую схему», «машинерию»). Он видит в паноптической машине власти такое технологическое устройство, которое, имея на «входе» неупорядоченное, гетерогенное множество терминов (стихийные процессы, отклонения, случайные события, аффекты тела и т. п.) дает на «выходе» гомогенную, упорядоченную структуру эффективного функционирования власти, предельно устойчивую к деформирующим помехам извне. Но абстрактная машина не тождественна государственной или дисциплинарной власти (понятие универсального контроля и машины контроля совпадают только в утопии Бентама), напротив, независима. Вместе с тем ни одна материальная технология конкретной области осуществления власти не может обойтись без работы этой машины, без использования определенного уровня познавательных средств: абстрактная машина — это схема познания власти, именно она обеспечивает режимы наблюдения. Если, например, признать дополнительную, существовавшую между конкретными механизмами власти, свойственными греческому полису, и геометрией Евклида, то эта дополнительность вовсе не свидетельствует о том, что геометрия есть власть, но только там воз-

можно осуществление власти, где она может быть одновременно и властью и познанием, в которых нуждается полис для организации гомогенных структур пространства-времени.

Фуко убежден в том, что возможность создания идеальной модели тюрьмы в XVIII в. как идеальной модели послушания и надзора могла быть гарантирована лишь благодаря самому широкому привлечению конкретных знаний из области геометрии, механики и прежде всего оптики. Но это знание не привлекалось как бы извне для внешнего упорядочивания структур власти и всей практики надзора; оно должно было использоваться имманентно любой из новых потребностей властвования; технологическая новизна знания рождалась в те моменты истории, где требовались новые глобальные стратегии власти.

Паноптическая машина диссоциирует отношение «видеть—быть видимым»: если некто видит, то сам он невидим; если некто видим, то он не видит того, кто за ним наблюдает. Сходным образом действует и дисциплинарная машина власти: она безразлична к наличному материалу истории и не «работает» с законченными структурами, она извлекает из социальной реальности лишь то, что находится «под рукой» в данный момент времени: остатки и клочки разнообразных технологий, правил, ритуалов, элементов исторической психологии, вводя все это в определенный вид игры, которую Леви-Стросс описал под именем бриколажа<sup>66</sup>. Дисциплинарный порядок создается благодаря «слипанию» гетерогенных элементов власти. Дисциплина — разновидность бриколажа власти. И не только потому, что она без устали фабрикует все новые и новые причудливые сочетания гетерогенных элементов (политических, познавательных, воспитательных и т. п.), но и потому, что не имеет никакой другой цели, как создать для власти пространство бесконечных операций с человеческим телом. Контроль за «живым» (а не «мертвым») телом требует чувствительных средств, тем более что этот контроль более не осуществляется прямым насилием или угрозой смерти. Стигма накладывается не через непосредственное «затрагивание», а через организацию пространства.

В идеале дисциплина должна образовать такое пространство, закрытое, «пространство в себе», которое было бы максимально, вплоть до мельчайших деталей дифференцировано, просматриваемо со всех возможных пунк-

тов наблюдения, где индивиды располагаются в определенных местах, где даже незначительные движения контролируются, а все события подлежат регистрации, где непрерывная работа сегментов-канцелярий связывает центр и периферию (причем так, что отпадает необходимость в этой оппозиции), где каждый индивид постоянно проверяем, повторяем и распределяем среди подобных. Для безумия, преступления, труда и войны создаются особые дисциплинарные пространства, близкие друг другу по основным принципам наблюдения и коррекции (камеры, учебные залы, палаты размещаются по кругу, или по обе стороны нескончаемых коридоров, или в виде пирамиды)<sup>67</sup>. Важно лишь то, что любое пространственное устройство человеческого тела, если оно сулит победу над его «упорством» и «аффектами», может быть использовано. Дисциплинарный контроль устремляется все дальше в глубь телесной практики и, как бы ни была сложна и закрыта она от вторжения, только ждет своего часа, чтобы разложить наиболее спонтанные и сложные функции тела на ряд контролируемых и повторяемых операций, которые уже можно бриколировать таким образом, чтобы индивидуализированное, «рациональное» постоянно увеличивало свою власть над «естественным» в человеческом поведении: дисциплина, как замечает Фуко, «увеличивает силы тела (в экономических терминах полезности) и уменьшает те же самые силы (в политических терминах послушания)»<sup>68</sup>.

Поэтому — раз задача состоит в том, чтобы «диссоциировать власть тела», — не только схема паноптикума (центр — периферия по кругу), но и всевозможные типы иерархии, дифференциации по клеткам (*quadrillage*), новые виды и измерения пространственного контроля, которые открывают современные науки, играют роль пространственных ловушек для тела. Дисциплинарная власть легко овладевает временем, заставляет его проявляться в ущерб другим своим измерениям, например в качестве лишь линейного времени, что позволяет механически дробить время, предельно убыстрять, смещать и «тормозить» его течение в пространственных структурах и т. п.; именно этот образ времени затем находит свое выражение в идеях «прогресса» и гармонического развития индивида<sup>69</sup>. Все это следует учитывать, когда мы пытаемся понять, как работает дисциплинарная машина Фуко, основной задачей которой является использовать подручный материал знания (оптика, механика, геометрия, психологические, психиатрические, медицинские и любые другие



знания), поскольку он служит или еще может служить в качестве «физической» поддержки глобальной стратегии власти, для того, чтобы обучить человеческое тело послушанию.

Таким образом, после великих реформ XVIII в. власть более не ограничивается пределами, поставленными ей могуществом суверена, — эти пределы рационализируются и переходят на уровень юридически-правового формализма — она укрепляется в технике дисциплинарного анализа, становясь «невидимой», «неосязаемой», так как она постоянно решает одну стратегическую задачу: проникнуть как можно глубже в поры социального организма, завладеть, упорядочить, установить время и типы пространственных локализаций в самых мельчайших событиях и процессах социальности, там, где нет ничего, кроме тела (никакого «сознания», «души», «субъекта»). Но тело теперь — не просто пассивный объект, «сжатый» в пространство точки, а живое единство разнообразных функций. Цель власти-познания меняется: теперь нет необходимости в том, чтобы сжимать тело до предела, подавлять или вырывать признание пыткой; новая власть доминирует с помощью контроля, нормы, упражнения, экзамена, наделая необходимыми функциями отдельные тела (жесты, скорость, экономия сил) в их взаимодействиях друг с другом, подготавливая их к тому, чтобы они были послушными и продуктивными телами. Благодаря возникновению дисциплинарных пространств, в которых микровласть неустанно экспериментирует с человеческим материалом, формируя новую политическую анатомию, открываются прежде невиданные возможности для обучения, наказания, надзора. С тех пор как практика дисциплинарного анализа завладела на микрологических уровнях социальной структуры человеческим телом, поставив себе целью вести индивида от одной дисциплинарной инстанции к другой, причем так, чтобы ни в какой из моментов жизни и деятельности он не покидал это великое пространство дисциплин, — с тех пор, как утверждает Фуко, мы и получили право рассуждать о психиатрии, педагогике, психологии, криминологии и др., т. е. о той области человеческого познания, которую сегодня называют науками о духе.

#### 4. Некоторые выводы

Концепцию Фуко следовало бы назвать не теорией власти в собственном смысле слова, а теорией технологий власти: не кто и где осуществляет власть, а как и каким образом она осуществляется вопреки тому, кто реально пытается ею «завладеть». Так понятая власть оказывается всегда волей к познанию того, что не есть власть. Как это ни парадоксально может звучать, но эта власть познает только то, что уже «сделано» властью. Пределы микро-власти не следует искать в разделах закона или политической воле, господстве одного класса над другим, предел ее есть она сама. Однако предполагать, что модель власти Фуко остается чисто технологической моделью, идеологически и классово нейтральной по отношению к конкретным формам доминирующей политической власти в буржуазном обществе, было бы неоправданной наивностью. И дело не только в том, что принципиально нетеоретичные и скандальные концепции «новых философов» формировались на основе академически добротных, научных концепций Фуко, Делеза или Барта. Этого мало, чтобы установить меру политической ответственности подобной теории. И вот почему.

Фуко анализирует микромеханизмы власти в качестве «глубинных» измерений социальности, придавая им внеклассовое значение, так как они поддерживают функционирование не отдельных институтов господства, а всей системы принуждения в буржуазном обществе независимо от того, может ли это принуждение определять в терминах макрополитического языка: «левое», «правое», «прогрессивное» или «реакционное», «необходимое» или «произвольное». Отсюда возникают два вопроса. В какой мере механизмы политического господства определяются микрофизикой власти? И если определяются, то не приходим ли мы тогда к концепции «генерализованного фашизма», которую в той или иной мере, но разделяют Фуко и Делез, Гаттари и Барт? Другими словами, Фуко не избежать ответа на вопрос: как объяснить феномен тотального государства (фашизм)? Не тем ли, что цели макрополитики захватили всю сеть микрополитических отношений (казарму, семью, госпиталь, фабрику и т. д.), повсюду установив единый режим гомогенного политического государства? И не может ли возникнуть процесс фашизации буржуазного государства в глубинах самого этого государства, в микроструктурах власти и независимо от мак-

рополитических установок господствующего класса, в форме, если так можно назвать, «спонтанного» фашизма? Что касается Фуко, то для него фашизм представляет собой «комбинацию фантазмов крови с пароксизмами дисциплинарной власти»<sup>70</sup>, т. е. смешанный тип власти: благодаря террористической евгенике фашизм, с одной стороны, упорядочил все микроструктуры власти и с новой силой ввел стигматизацию по крови, а с другой — предельно интенсифицировал дисциплинарные институты (политические, экономические, военные, школьные), придав им характер тотального надзора и наказания. Однако трудно понять, что послужило причиной образования такого смешанного типа власти, на каком уровне социальности возникает «проект» фашистского государства и что являлось определяющим фактором. На эти вопросы Фуко не находит ответа. Например, Делез и Гаттари более определенны, когда утверждают постоянную угрозу фашизма и «фашизмов», но не на уровне политики государства или класса, а на микрополитическом уровне, следуя формуле Рейха: «Фашизм — желание масс». Национал-социалистское государство прямо истолковывается как некая разновидность социального и политического заражения народных масс<sup>71</sup>. Становится трудным различить возможные типы «заражения»: заражения революционным действием и заражение фашизмом; на уровне микрополитики желания они неразличимы. Еще один тупик, который можно найти в теории микрофизики власти.

Основной парадокс теории Фуко заключается в том, что на микроуровнях социальности власть определяется в качестве позитивной санкции, на макроуровне — в качестве негативной; на первом уровне она продуктивна и созидательна, на втором — разрушительна и действует только через разделы, цензуру, запреты. Трудно представить себе, чтобы власть, которая создает универсальные матрицы познания и самого субъекта познания, находилась бы в противоречии с другим типом власти, который устанавливает великие разделы, угрожает смертью или законом. Ведь макроуровень функционирования власти (например, экономическая или политическая власть) крайне зависим от успешного и стабильного функционирования микроуровней власти: власть, которая находится «внизу», провоцирует механизмы власти, находящейся «вверху», и не является материалом, безразличным к собственному использованию. Более того, макровласть может останавливать действие микровласти. Фуко сме-

щает критический акцент: не стоит взывать к «случайной» воле класса или группы, «плохому» закону или продажности политиков; там, где мы есть как индивиды, там мы уже управляемы и встроены в универсальные процессы нормализации. Тогда все разновидности репрессий и насилия — лишь переходные политические формы; основная же угроза со стороны власти остается неосязаемой, так как власть *уже* в нас, в микроскопии наших повседневных жизненных стратегий, и потому неуязвима. Но если власть такова, то, может быть, не следует ее называть властью, может быть, это просто воля к жизни, более великая страсть человека, чем желание господствовать и подчиняться.

<sup>1</sup> В комплекс исследований, посвященных археологии власти, мы включаем следующие работы: «Сумасшествие и неразумие. История сумасшествия в классический век» (1961), «Археология знания» (1969), «Надзирать и наказывать. История тюрьмы» (1975), «Воля к знанию» (1976), а также посмертно изданные «Польза удовольствий» (1984), «Поиски себя» (1984). Три последние работы относятся к проекту Фуко, посвященному истории сексуальности.

<sup>2</sup> Ср., напр.: «Политическая анатомия Фуко утверждает радикальный разрыв со всеми предшествующими концепциями власти как левого, так и правого толка» (*Sheridan A. Michel Foucault: The will to truth. L.; N. Y., 1980*). Или: «Мишель Фуко предпринял анализ власти, который обновляет сегодня все экономические и политические проблемы» (*Deleuze G., Guattari F. Kafka: Pour une litterature mineure. P., 1975*). Конечно, это не значит, что концепция Фуко формировалась в теоретическом вакууме: помимо того, что исследования его появляются почти одновременно с работами Л. Альтюссера, Делеза и Гаттари, в них можно найти отголоски, повторы, рационализации идей Макиавелли, М. Вебера и ведущих представителей Франкфуртской школы (А. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе). Значительную роль в формировании Фуко как политического философа сыграли некоторые направления американского структурно-функционального анализа, «лингвистическая философия» (Остин, Серль и др.), не говоря уже о той непосредственной связи, которая может быть прослежена между его концепцией и генеалогией власти Ф. Ницше.

<sup>3</sup> *Les intellectuels et le pouvoir: Entretien Michel Foucault — Gilles Deleuze // Arc. Deleuze. 1972. N 49. P. 7.*

<sup>4</sup> *Ibid. P. 3—7.*

<sup>5</sup> *Ibid. P. 4.*

<sup>6</sup> «Левый» французский интеллигент глубоко разочарован итогами «майских событий» 1968 года. Поражение, которое потерпело утопическое революционное сознание, объясняется не только хитроумием капиталистической бюрократии, но и политическим конформизмом ведущих левых партий Франции. Эта точка зрения близка Фуко.

- <sup>7</sup> *Pinto L.* Politiques de philosophes (1960—1976) // *Pensee*. 1978. N 197. P. 68.
- <sup>8</sup> *Грашии А.* Избр. произведения: В 3 т. М., 1959. Т. 3. С. 460.
- <sup>9</sup> *Foucault M.* Power-knowledge. Brighton, 1980. P. 129.
- <sup>10</sup> *Politique de la philosophie*. P., 1976. P. 171.
- <sup>11</sup> *Les intellectuels et le pouvoir*. P. 8.
- <sup>12</sup> См.: *Becker H.* Die Logik der Strategie: Eine Diskurzanalyse der politischen Philosophie Michael Foucaults. Frankfurt a. M., 1981. S. 150—158.
- <sup>13</sup> *Тернер В.* Символ и ритуал. М., 1983. С. 169. Недостаточность анализа Тернера в том, что он использует структурные оппозиции. Если мы говорим, что маргинальный человек — это человек низший по социальному статусу, что он располагается на периферии общества или в его «щелях» и т. п., то мы как бы предполагаем, что его единственная цель заключается в том, чтобы сместиться в центр, стать высшим. Таким образом, маргинальность оказывается необходимой стадией на пути к структурированным формам социальности. По мере их достижения она утрачивает свои асоциальные свойства.
- <sup>14</sup> *Les intellectuels et le pouvoir*. P. 5.
- <sup>15</sup> См.: *Ibid.*
- <sup>16</sup> Если феноменология Гуссерля и психоанализ Фрейда претендовали на статус всеобщих гуманитарных наук, то ни археология власти, ни грамματοлогия Деррида, ни номадология Делёза — Гаттари, ни семиология Барта не претендуют ни на что подобное.
- <sup>17</sup> *Foucault M.* L'archeologie du savoir. P., 1969. P. 183.
- <sup>18</sup> *Foucault M.* Power-knowledge. P. 83—84.
- <sup>19</sup> *Ibid.* P. 84.
- <sup>20</sup> *Les intellectuels et le pouvoir*. P. 4. Не трудно заметить, что является в приведенном отрывке беседы Фуко с Делезом элементом теории, а что — предметом политической критики. Представительский характер либерально-демократической системы французского общества — вот адрес этой критики.
- <sup>21</sup> *Foucault M.* The subject and power // Dreyfus N. L., Rabinow P. Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics. Chicago, 1982. P. 211—212.
- <sup>22</sup> *Bell D.* Power, influence and authority: An essays in political linguistics. N. Y., 1975. P. 70—90.
- <sup>23</sup> *Dahl R.* Modern political analysis. N. Y., 1963. P. 50.
- <sup>24</sup> *Blay R. M.* Exchange and power in social life. N. Y., 1964. P. 117.
- <sup>25</sup> *Power and political theory: Some European perspectives*. L., 1976. P. 37.
- <sup>26</sup> *Foucault M.* La volonté de savoir. P., 1976. P. 121—122.
- <sup>27</sup> Ср.: «...Власть — это не институт и не структура, это не могущество, которое могло быть даровано: это имя, которое дает название стратегической ситуации, универсальной для данного общества» (*Ibid.* P. 123).
- <sup>28</sup> См.: *Foucault M.* La volonté de savoir. P. 122.
- <sup>29</sup> Близость концепции Фуко идеям Франкфуртской школы кажется на первый взгляд очевидной. С точки зрения, например, «пост-марксиста» Адорно, раздел структур власти и механизма меновых отношений неправиомерен. Современные структуры товарно-менных отношений — не особая форма социальности, противостоящая власти и перераспределяющая ее в обществе. Для Адорно регулирующая функция «свободного рынка» в обмене товара-

ми, идеями, сообщениями крайне сомнительна. Меновые структуры — лишь продукт дальнейшей рационализации процессов архаического обмена, для которых неизменным остается неравенство вступающих в обмен. Но это неравенство не возникает в самом обмене, и поэтому обмен не противостоит власти, а является ее эпифеноменом. На этом «близость» исчезает, так как Адорно мыслит власть в терминах «негативной санкции».

<sup>30</sup> Foucault M. Power-knowledge. P. 89.

<sup>31</sup> Ср.: «Существует определенное и пустое место, которое может быть эффективно заполнено различными индивидами, но это место, в противовес тому, чтобы быть определенным разом для всех и утвердиться таковым, как оно может быть на протяжении текста, книги или произведения, варьируется или скорее оно также варьируемо в своей способности сохранять идентичность самому себе по отношению ко множеству фраз для того, чтобы модифицироваться в каждой» (Foucault M. Archeologie du savoir. P. 125—126).

<sup>32</sup> Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 296.

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> Althusser L. Ideologie et appareils ideologiques d'Etat // Althusser L. Position. P., 1976. P. 110—122.

<sup>35</sup> Foucault M. La volonte de savoir. P. 122.

<sup>36</sup> См., напр.: Poulantzas N. Staatstheorie: Politischer Überbau, Ideologie, sozialistische Demokratie. Hamburg, 1977. S. 137.

<sup>37</sup> Foucault M. La volonte de savoir. P. 126.

<sup>38</sup> Ibid. P. 123.

<sup>39</sup> Deleuze G., Guattari F. Kafka. P. 103.

<sup>40</sup> Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. P., 1975. P. 196.

<sup>41</sup> Foucault M. La volonte de savoir. P. 181.

<sup>42</sup> Foucault M. Surveiller et punir. P. 219—225. И в другом месте: «Я не хочу сказать — это то, что отношения власти и, следовательно, анализ, который должен быть сделан, необходимо распространяется далее пределов государства. В двух аспектах: прежде всего потому, что государство, при всем универсальном значении его аппаратов, далеко от того, чтобы быть в состоянии заполнить собой всю область актуальных отношений власти: и далее, потому что государство может действовать лишь на основе других, уже существующих отношений власти. Государство надстроечно по отношению к целой серии властных отношений, которые инвестируют тело, сексуальность, семью, родство, познание, технологии и т. д. Верно, что последние находятся в обусловленном-обуславливающим отношении к виду метавласти, которая структурируется вокруг определенного числа великих функций запрета: но эта метавласть с ее запретами может удерживаться и чувствовать себя в безопасности там, где она укореняется в целой серии множественных и неопределенных отношений власти, которые дополняют необходимым образом базис великих негативных форм власти» (Foucault M. Power-knowledge. P. 122).

<sup>43</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 185—198.

<sup>44</sup> Foucault M. The subject and power. P. 211.

<sup>45</sup> См.: Rusche G., Kirchheimer O. Punishment and social structure. N. Y., 1968.

<sup>46</sup> Foucault M. Surveiller et punir. P. 29.

<sup>47</sup> Foucault M. La volonte de savoir. P. 178.

<sup>48</sup> Ibid. P. 220—221.

<sup>49</sup> Ibid. P. 53.

<sup>50</sup> Парадоксальность фигуры палача в том состоит, что она дискредитирует саму идею справедливого наказания, так как на эшафоте, на самом деле, совершается новое преступление: вновь, но уже по «праву» и «закону», один человек убивает другого. К тому же следует учитывать пассивность жертвы, ее раскаяние или, напротив, предсмертный вызов, да и сам процесс казни, который завершается поистине мифической «обработкой» тела пациента: казненного уже нет, он не в силах пережить этот ритуал повторной записи закона на своем теле, пределы страдания ограничены, но зато действие власти должно быть беспредельно. С другой стороны, казнь — это не просто политический ритуал, это еще и празднество, «солнечное» представление суверена, и, как всякое театральное действие, оно апеллирует к зрителю, его эмоциям и страстям, его естественной склонности отождествлять себя то ли с героем-мучеником, то ли с инстанцией абсолютного террора — палачом. Подобная театрализация казни не всегда эффективно способствовала восстановлению памяти закона. Более того, массовое сознание может и героизировать преступника как святого, эстетизировать жестокость казни в качестве нормы наказания. Фигура палача — цвет одежды, лицо-маска, обратный характер всех его жестов — как бы развертывает в ретроспективном порядке время преступления так, чтобы преступление и наказание *в пределе* могли совпасть в одно мгновение: эта утопия мгновенного действия возмездия лежит в основе божественной ипостаси суверенной власти. Но палач — лишь дублер венценосца: ведь и последнего никто не должен видеть вне божественных регалий власти (преступник «видит» своим преступлением в венценосце обычного смертного).

<sup>51</sup> Фрейдберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978.

<sup>52</sup> Foucault M. Surveiller et punir. P. 226.

<sup>53</sup> Ibid. P. 221.

<sup>54</sup> Из современной литературы хорошо известно, что права суверена были правами, которыми в современном обществе может обладать политическая диктатура, вводимая на основе чрезвычайного положения. Вот почему суверен одновременно и «помазан на власть» и узурпатор власти. Общественная стабильность создается на основе модели бесконечного насилия, т. е. постоянного сохранения «чрезвычайного положения».

<sup>55</sup> Foucault M. La volonté de savoir. P. 183.

<sup>56</sup> Laruelle F. Homo ex machina: comment on devient homo-machina // Rev. philos. France et Etranger. 1980. N 3. P. 331.

<sup>57</sup> Foucault M. Surveiller et punir. P. 207.

<sup>58</sup> Ср.: «Старое общество концентрировало максимум жанров жизни в минимуме пространства... Напротив, новое общество обеспечивает каждому резервное пространство...» (Aries Ph. L'Enfant et la vie familiale sous L'Ancien Regime. P., 1973. P. 467).

<sup>59</sup> В этом веке развивается «страх перед темными пространствами» (Foucault M. Power-knowledge. P. 152—153; Idem. Surveiller et punir. P. 202).

<sup>60</sup> В своей книге «Надзирать и наказывать» Фуко посвящает паноптикуму Бентама отдельный раздел.

<sup>61</sup> Ср.: «Паноптикум — чудодейственная машина, которая по отношению к самым различным желаниям вырабатывает гомогенные эффекты власти» (Foucault M. Surveiller et punir. P. 202).

<sup>62</sup> Ibid. P. 204.

<sup>63</sup> См.: *Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux*. P., 1981. P. 205—234.

<sup>64</sup> Ср.: «В классическом мышлении тот, для кого существует представление, тот, кто в нем себя представляет, признавая себя образом или отражением, тот, кто воссоединяет все пересекающиеся нити „представления в картине“, — именно он всегда оказывается отсутствующим» (*Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук*. М., 1977. С. 398).

<sup>65</sup> *Foucault M. Power-knowledge*. P. 158.

<sup>66</sup> См.: *Levi-Strauss C. La pensee sauvage*. P., 1962. P. 3—47.

<sup>67</sup> *Foucault M. Folie et deraison: Histoire de la folie a l'age classique*. P., 1961. P. 517—518.

<sup>68</sup> *Foucault M. Surveiller et punir*. P. 140.

<sup>69</sup> Ibid. P. 159.

<sup>70</sup> *Foucault M. La volonte de savoir*. P. 197.

<sup>71</sup> Ср.: «Это микрополитическое или молекулярное могущество делает фашизм опасным, ибо он представляет собой движение масс: фашизм — это скорее не тоталитарное, а пораженное раком тело» (*Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux*. P. 262).



# ВЛАСТЬ В ПСИХОАНАЛИЗЕ И ПСИХОАНАЛИЗ ВЛАСТИ

Н. С. АВТОНОМОВА

Какие-нибудь четверть века назад постановка проблемы власти применительно к французскому психоанализу вызвала бы недоумение. Почему же она стала возможной теперь? Прежде всего потому, что за последние десятилетия в культурной и политической жизни французского общества произошли существенные изменения, поставившие на повестку дня вопрос о переоценке наличного политического опыта, открывшие необходимость анализа значительного числа зависимостей, лежащих вне политики в традиционном смысле слова. Политическое развитие Франции последних десятилетий отмечено своеобразным переходом от деголлевского принципа институционализации государственного аппарата (основные политические функции передоверялись государственной администрации) к либералистским установкам Жискара д'Эстена, опиравшегося в большей степени на развитие рынка и науки, чем на государство, и далее — к той парадоксальной политической ситуации, при которой парламентские и государственные интересы правительства социалистов оказались противостоящими друг другу, а социалистическое движение вынуждено так или иначе приспособливаться к логике государства<sup>1</sup>. В политической жизни страны начинают преобладать сложные переплетения политических тенденций, в которых без анализа микрокомпонентных структур власти разобраться нелегко. События мая 1968 года резко обострили социальную чувствительность к любого рода несправедливости, господству, подчинению, — например, в отношении к так называемым «маргинальным», «барочным персонажам»<sup>2</sup>, находящимся как бы на обочине главных путей социального развития; вызвали появление новых агентов политического действия, объединявшихся в группы не по социально-классовым, а по совершенно иным признакам (ср. студенты, иммигранты, женщины, больные и пр.). Одновременно набирает силу широкая «политизация» интеллиген-

ции и студенчества. После майских событий 1968 года значительная часть французских интеллектуалов начинает по-новому осмысливать свое место и роль в мире, свои задачи по отношению к другим социальным группам и классам. Главное отличие не в том, чтобы просвещать несведущих или вести за собой неспособных сделать самостоятельный политический выбор, а в том, чтобы избаловать власть в любой позиции, на любом месте. Феномен власти теряет свою политическую одномерность, получает множество социальных измерений. Характерными признаками власти становятся «размытость», «вездесущность», «нелокализованность» в каких-либо заранее заданных областях политического и социального опыта. Обостренное политическое сознание повсюду обнаруживает разветвленные структуры и аппараты власти и их давление на индивида, а также стремится предельно расширить программы исследования отношений власти как отношений господства и подчинения в тех объектах, где эти компоненты ранее не учитывались.

Конечно, вопрос о глубине такой «политизации» спорный: самочувствие и самообозначение — это еще не истины в последней инстанции. Можно усомниться и в теоретической обоснованности трактовки власти как *любых* отношений господства и подчинения, признаваемых рядоположными и равнозначимыми. Более строгим и точным нам представляется осмысление власти как проявления общественной воли, а общественной воли в свою очередь — как выражения существа социально-экономических отношений на данном историческом этапе, применительно к данному общественному организму: в феномене власти, таким образом, тесно взаимоувязаны отношения собственности и структуры государства. Однако из этого вовсе не следует, что микрополитические отношения между нетрадиционными политическими агентами несущественны и что ими можно пренебречь: ведь фактически речь идет о том, в каких конкретных механизмах реализуются закономерности макрополитического уровня. Без учета этих микрополитических механизмов многое остается неясным, в частности, в понимании того, как собственно действует общественная воля применительно к индивиду. Как может индивид проникаться не им созданными идеями, программами, лозунгами, воспринимать их как руководство к действию? Чем обуславливается выбор линии поведения в сфере широко понимаемых политических отношений? Есть ли какие-то особые практико-психологиче

ские закономерности в храбрости и трусости, готовности к столкновениям или поиске защиты, надежного убежища — на индивидуальном или групповом уровне?

Несомненно, что во всех тех процессах, которые характеризуют социальную обстановку Франции 60—80-х годов, увеличивается роль неосознаваемых компонентов, стимулов, мотивов — ведь речь уже идет не о рациональном учете всех интересов в рамках общественного «договора» или идеальном политическом сознании, но прежде всего о новых сферах политического действия, проекты которых рождаются в повседневной жизни. Коль скоро исследование бессознательных мотиваций человеческого поведения — это прежде всего (хотя и не исключительно) задача психоанализа, то психоанализ как социальный институт и теоретико-терапевтическая практика дает очень важный, ничем другим не восполнимый материал для исследования проблем власти в современном французском обществе. Нас будут интересовать в основном два аспекта проблемы власти в психоанализе: социально-политические импликации психоаналитической теории и практики, с одной стороны, и психоаналитический (или шире — социально-психологический) аспект феномена власти — с другой. По-видимому, без анализа психологической (и психоаналитической) подосновы политических процессов нечто важное из того, что происходит в современной Франции, останется неясным. Ведь любой социально значимый сдвиг политических ориентаций неизбежно связан с изменением сознания, а при анализе возможностей и границ новых процессов власти мы не можем не учитывать целый спектр бессознательных мотиваций, не всегда объяснимых на уровне фундаментальных социально-классовых механизмов.

В самом деле, когда несколько партий и несколько лидеров выступают с весьма близкими программами, а некоторые партии вовсе лишены возможности самостоятельно победить на выборах (ФКП), тогда в оценку их деятельности избирателями неизбежно включаются моменты, выходящие за рамки собственно политических программ — мотивы, настроения, ориентации, способы восприятия лидеров массой и пр., в исследовании которых свое особое место занимает психоанализ. В этой связи не случайно, что психоанализ постоянно вызывал пристальное внимание французских марксистов<sup>3</sup>.

Психоанализ нередко становится одним из средств работы интеллигенцией своей социальной позиции, кон-

цептуально-практическим построением, имеющим, при всей своей на первый взгляд «приватности», определенные социально-политические импликации. Именно анализ этих скрытых следствий и составляет предмет данной главы. «Психоанализ власти» — это проблема генезиса власти как отношений господства и подчинения в связи с особыми установками человеческой психики, преимущественно в ее бессознательных аспектах (наряду с известными работами Фрейда и Райха интерес представляют в этой связи и некоторые современные исследования)<sup>4</sup>. Понятно, что для нас также важна другая сторона проблемы власти в психоанализе, а именно: анализ структур господства и подчинения внутри психоаналитического сообщества, а также тех теоретических моделей и практических стратегий, посредством которых обосновываются и осуществляются эти микрополитические отношения. Социальным аспектам психоаналитического института во Франции, а также пониманию власти в концепциях и практике Фрейда, Лакана, постлаканистов будут далее посвящены отдельные параграфы.

## 1. Институт психоанализа в современной Франции

«Delenda est... (Карфаген должен быть разрушен. — Н. А.) Да будет она распущена (речь идет о созданной Ж. Лаканом Парижской школе фрейдизма. — Н. А.) в силу сказанного мною. Остается лишь, чтобы это стало и вашим решением. В противном случае вы разоблачите себя как изменники. Уж можете мне поверить, я допущу до участия в „Деле Фрейда“ (название новой школы последователей Лакана. — Н. А.) лишь тех, кто перестанет липнуть к школе»<sup>5</sup>. Письмо, отрывок из которого приведен выше, стало историческим документом в анналах французского психоанализа. Его написал членам своей бывшей школы, упорно отказывающимся ее покидать, тот человек, который за 16 лет до того основал эту школу в результате многолетних тяжб с Международной психоаналитической ассоциацией.

В любом случае ясно: в результате лакановского *tour de force* внутренние перипетии психоаналитического движения, взаимоотношения между мэтром и учениками, учениками и пациентами, фактически строившиеся по принципу «господства — подчинения», оказались как бы спроецированными на гигантский экран, выставленный для всеобщего обозрения. Стало очевидным, что речь шла

вовсе не о правах одного человека, сколь бы социально значимой личностью он ни был: на первый план выходили более общие закономерности. Именно с Лаканом во французском психоанализе было связано три крупных «раскола»: разумеется, конкретные формы этих конфликтов определялись и личностью, и историческими обстоятельствами. Однако не случайно, что все попытки Лакана построить неавторитарное, неиерархизированное психоаналитическое общество привели к неразрешимым противоречиям. Главное среди них — это противоречие между психоанализом как ниспровергателем всех «истин» и психоанализом как организованной дисциплиной, социальным институтом. Это противоречие относится еще к временам Фрейда. В «Психологии группы и анализе „Я“» Фрейд описал либидинозные (связанные с взаимодействием желаний, аффектов, влечений) механизмы, которые лежат в основе таких организаций, как армия и церковь (отчуждение «Я» и перенос эмоций — негативных или позитивных — на главу организации). Описывая эти механизмы, Фрейд не думал или не хотел думать, что они относятся также к структуре психоаналитического сообщества — едва ли не в большей степени, чем к какой-либо иной. Он хотел верить в возможность братства между психоаналитиками — представителями, как ему казалось, нового знания и новой практики. А тем временем внутренняя вражда царила в умах и душах большинства его немногочисленных учеников, да и их отношения с родоначальником психоанализа были, мягко говоря, далеки от идиллических.

Наиболее радикальные выводы делает, исследуя эти исторические закономерности, один из самых проницательных и тонких критиков психоанализа во Франции, бывший иезуит Франсуа Рустан <sup>6</sup>: «...психоанализ по сути своей асоциален, и говорить о психоаналитическом обществе — значит допускать противоречие в терминах». Далее Рустан так аргументирует свою мысль: «Психоаналитическая ассоциация, образованная ради взаимопомощи и распространения доктрины — при условии подчинения тому, кто стоит во главе, — это недоразумение. То, что эта Ассоциация, не имея „благочестивых“ намерений, „восстает против лживых условностей“, конечно, избавляет ее от отождествления с религиозным обществом, однако по той же самой причине она обречена на неуспех именно как ассоциация. По сути дела, лишь признавая себя бандой убийц, сборищем душевнобольных

или, как у Фрейда, „дикой ордой“, психоаналитическое общество обретает подобающую ему форму — тот единственный свой образ, который оно может иметь, не искажая сам психоанализ. Действия и результаты психоанализа, если в них разобраться, таковы, что любая группировка психоаналитиков уже таит в себе принцип собственного разложения. И, напротив, стабильное слаженное функционирование этого общества доказывает лишь то, что его учреждение было забвением открытия Фрейда. В этом смысле психоанализ по своей сущности асоциален, и говорить о психоаналитическом обществе — значит допускать противоречие в терминах»<sup>7</sup>.

Подобные выпады против психоаналитического общества мы находим не только у Рустава, но и в целом ряде других интересных исследований последнего десятилетия<sup>8</sup>, где проблематизируется либо сама возможность, либо нынешний статус психоаналитического общества, обнажаются тенденции, сближающие его с религиозными, военными и другими обществами, основанными, как известно, на очевидных формах господства и подчинения.

Конечно, в проблеме психоаналитического института перекрещиваются закономерности разного рода. В основном он функционирует по тем же законам, что и любое другое институционально-идеологическое образование в структуре классового общества, воспроизводя все цепочки отчуждения, приватизации, нового отчуждения и т. д. Возникая каждый раз как «революционный» институт для борьбы с существующей властью («ортодоксальных» концепций, практик и т. п.), на следующем этапе своего существования он занят защитой от посягательств извне и в итоге становится «контрреволюционной» силой, направленной на защиту власти психоаналитика ради нее самой.

В основе большинства споров о власти в психоанализе лежит спор о правах и преимуществах одного из двух главных начал, используемых в психоаналитической практике и теории и нормируемых на уровне психоаналитического института, — власти слова и власти аффекта. Даже бегло окинув взглядом историю психотерапии и психоанализа, возникшего как ее ответвление, можно заметить чередование периодов, первенство в которых отдавалось то одному, то другому началу. Так, дофрейдовские психотерапевты (Месмер и Бернгейм, Шарко и Жане) исходили из безусловного приоритета аффективного момента в терапевтическом процессе. Фрейд пытался, хотя и про-

тиворечиво, представить классический психоанализ прежде всего как «лечение словом». Эту же мысль развивает Лакан. Постлаканисты же вновь подчеркивают роль эмоционально-аффективного, гипнотического компонента<sup>9</sup>. Больше всего трудностей психоанализ встречает на пути объяснения власти аффектов, ибо она не имеет форм непосредственного выражения и нередко передается в «материальной» оболочке других процессов, хотя и оказывает на них воздействие. Однако и вокруг языка, слова, также существует много неясного.

В результате многих современных размышлений и споров становится все более очевидным, что средоточие проблемы власти в психоанализе — это так называемый «трансфер», или иначе — перенос энергетического заряда эмоций и аффектов от пациента к аналитику. Проблема трансфера достаточно сложна и на уровне межличностных отношений, где она прежде всего и возникает, поскольку трансфер трудно бывает «снять», «растворить» в конце курса, его почти невозможно рационально контролировать; тем более грандиозные и мистические очертания она приобретает применительно к институту психоанализа как таковому, к сообществу психоаналитиков. Дело в том, что каждый член этого сообщества является не только психоаналитиком для своих пациентов, но и учеником своего учителя, как бы пациентом своего наставника-аналитика (этот курс личного психоанализа — необходимое условие подготовки будущего психоаналитика). А раз так, значит вопрос о возможности снятия трансферентной связи и освобождения, о рациональном контроле за тем, как это происходит, оказывается значимым и для отношений аналитика с «мэтром», с коллегами. И сам он, и его коллеги вполне могут остаться подвластными авторитету наставника, пожизненно зависимыми (причем иногда неосознаваемо) от ситуации «неснятого трансфера», в силу чего они и не могут быть аналитиками по праву. По-видимому, именно неосознаваемость и неконтролируемость эмоционально-аффективного момента и непроясненность его взаимодействия с рациональными, доступными вербализации уровнями человеческой психики и лежат в основе многообразных злоключений психоаналитического института, превращая его в подобие религиозной секты, члены которой объединены таинственной трансферентной связью.

Приходится признать, что какое-либо конкретное решение вопроса о соотношении этих двух инстанций власти может пока быть лишь гипотетическим. Мы предпо-

лагаем, что слово и аффект, социальное и биологическое, развитое и архаическое соотносятся друг с другом в психоаналитической практике как действующая причина (власть слова) и условие (власть аффекта). Действующей причиной изменения психического состояния и поведения человека выступает осознание, выраженное в слове, однако оно возможно и осуществимо лишь тогда, когда наличествует условие — эмоционально-аффективный контакт. В более сложных «сверхдетерминированных» (с наслоением различных видов причинности) формах это соотношение проявляется и на уровне психоаналитического института.

Сделаем небольшой экскурс в историю психоаналитического института, без анализа которого, на наш взгляд, невозможно выявить проблематику власти в психоанализе во всей полноте. Как известно, Франция начинала с весьма решительного неприятия фрейдизма. За это время психоанализ успевает укрепить свои позиции в ряде европейских стран, покорить Америку (слишком быстро, чтобы можно было надеяться на глубокое усвоение сути нового учения, считал Фрейд), а французские философы все еще предпочитают Бергсона, французские ученые опираются на психиатрические традиции Бернгейма, Шарко, Жанае. Только сюрреалисты горячо поддерживают Фрейда и пытаются применить его идеи в поэтическом творчестве. И в этом — зерно будущего своеобразия «французского Фрейда» (термин Ш. Тёркл).

В самом деле, в США произошла довольно быстрая легитимизация фрейдовских открытий в рамках медицины, психиатрии. Фрейдовская «чума» превратилась в респектабельный институт, целью которого было вписывание больного в социальное окружение любой ценой (в послевоенный период этому способствовали социально-психологические установки «на адаптацию», присущие европейской психоаналитической иммиграции, неуютно чувствовавшей себя за океаном). Яркую критическую характеристику американского психоанализа дает, например, Э. Фромм<sup>10</sup>. Если в 20-е годы психоанализ в Америке открывал новое поле исследований и «новый рынок», предполагавший помощь больным людям, то постепенно он превратился в роскошь и привилегию «верхушки среднего класса», для которой посещение «своего» психоаналитика стало столь же респектабельным и «естественным» делом, как посещение церкви. Психоаналитик стал человеком социально престижного ремесла: он предлагал лю-



дям не малость — «замещение религии, политики, философии»<sup>11</sup>. Однако в силу «джентльменского соглашения» между больным и врачом ни тот, ни другой не ждут потрясений от нового межличностного опыта, удовлетворяясь мелкими приспособительно-адаптивными улучшениями самочувствия пациента и не стремясь к выявлению фундаментальных «иллюзий-коллизий» (Э. Фромм использует здесь остроумно составленный Р. Д. Лэингом портфолио «collusion»).

Антиадаптивную, антипсихиатрическую, «антиамериканскую» и вместе с тем направленную на предельное сближение с гуманитарными науками трактовку психоанализа отстаивал «французский Фрейд» — Лакан. Он не только понимал цели и задачи психоаналитической работы в «антипсихиатрическом» стиле, но и считал, что психоаналитик в принципе не нуждается в дипломе врача: им может быть любой человек, почувствовавший призвание стать психоаналитиком и прошедший курс психоанализа у опытного наставника («дидакта»).

В итоге к маю 1968 года французский психоанализ пришел и «со щитом» и «на щите»: его положение характеризовалось принципиальной двойственностью, которая запечатлела в себе важные стороны существования и функционирования этого особого «идейно-практического» образования в социуме. В самом деле, даже во второй половине 60-х годов французский психоанализ, несмотря на его уже достаточно широкое распространение, продолжал оставаться «маргинальным» видом деятельности. Вплоть до 1968 года (позже положение дел изменилось) двери университетов были для него закрыты<sup>12</sup>. Кроме того, французские психоаналитики (в отличие от американских) были лишены целого ряда социальных прав: например, в систему социального обеспечения они могли войти лишь под рубрикой другой профессии (как психиатры или же психологи), хотя именно отмежевание от обеих форм институционализации — «медицинской» и «университетско-академической» — было способом самоутверждения нового психоанализа. Тем самым психоанализ надолго был изъят из социально регламентированной системы профессиональной подготовки и лишен общественных гарантий профессиональной деятельности, представляя как форма деятельности, обосновывающая себя самое и не препятствующая проникновению архаических типов власти в психоаналитическое сообщество. Маргинальность психоаналитического института по отношению

к другим социальным институтам «компенсировалась» авторитарностью внутренних отношений между членами общества. Однако маргинальность, и в этом ее особое социальное свойство, вопреки некоторым авторитарным чертам (поза избранности, элитарности, посвященности) всегда стремилась к снятию барьеров знания между психоанализом и другими идеологическими конструкциями, теориями, между социальными практиками.

Новая эпоха для психоанализа наступает сразу же после 1968 года: исчезает множество барьеров между психоанализом и другими социальными и интеллектуальными течениями, а сам психоанализ превращается в социальный и политический феномен, пронизывающий собой всю французскую культуру. Некоторые исследователи видят в этом суть «французской революции, совершенной Фрейдом»<sup>13</sup>. В самом деле, если семинар «французского Фрейда» — Лакана — включил в орбиту движения психоаналитических идей будущую элиту французской интеллигенции — философов и психологов, писателей и журналистов, врачей и религиозных деятелей (это было в начале 60-х годов), то в конце 60-х — начале 70-х психоанализ стал доступен самым широким слоям, что привело к стиранию границ между различными формами социального опыта. Именно в этот период психоанализ соединяется с другими течениями, оспаривавшими *status quo*, и проникает в повседневную жизнь. Психоаналитик становится частым гостем там, где раньше скорее можно было встретить врача, священника или учителя. Семья, воспитание детей, литературно-художественное творчество, политика, культура — все это начинает обсуждаться в рамках психоаналитической теории. Французский психоанализ отличается большим интересом к вопросам, связанным с природой психоанализа, к соотношению концептуально-эпистемологических и практико-терапевтических моментов, к возможностям и способам соотнесения его с лингвистикой и математикой, поэзией и политикой.

Одновременно некоторые психоаналитические идеи становятся организующим принципом обыденного сознания. Растут и ряды психоаналитиков. При дефиците концепций, способных объяснить молодежи и другим участникам майских событий 1968 года скрытые пружины социального действия, психоанализ начинает восприниматься как доступная объясняющая схема, как способ формирования социальной позиции, так что многие люди, прежде отрицательно относившиеся к психоанализу, начинают

в 70—80-е годы интересоваться им и даже практиковать его. Согласно данным анкеты пролакановского журнала «Ан» («Осел»), выясняющей место психоанализа в современном французском обществе, 18 % опрошенных заявили, что среди их знакомых есть человек, который прошел или собирается пройти курс психоанализа. Из этого числа 42 % парижан, 23 % провинциалов. Социокультурные различия между группами населения оказались менее выраженными, чем предполагалось: среди них лиц свободных профессий — 30 %, рабочих — 14 %, занятых в сельском хозяйстве — 11 %. При этом 71 % опрошенных придерживаются представления о психоанализе как прежде всего способе лечения болезни, 64 % видят в нем средство познания и самопознания. Психоанализ характеризуется как «крупное культурное завоевание»<sup>14</sup>.

Воздействие психоаналитической риторики и стилистики на обыденное сознание совершалось во Франции на гораздо более широкой и демократической основе, нежели в США. Немаловажно и то, что в среднем психоаналитический сеанс во Франции стоит в 5—10 раз дешевле, чем в США, где жизненный уровень представителей психоаналитической касты не ниже, чем у самых богатых пациентов. Конечно, в данном случае было бы опасно путать причину со следствием. Социальное существование психоанализа подчиняется всем экономическим законам рынка, где спрос порождает предложение, а расширенный спрос — расширенное предложение, следовательно, демократизирует возможности потребления психоанализа. Взаимозависимость между спросом и предложением увеличивается по социологическому закону «снежного кома», создавая благоприятные возможности для реализации психоаналитической продукции на интеллектуальном рынке.

Показателен с точки зрения сравнительной демократичности французского психоанализа и следующий факт. В американском биологически интерпретированном фрейдизме антипсихиатрические, женские и другие движения видят прежде всего своего противника: ведь трактовка, например, социальной приниженности женщины как биологически предопределенной делает феминистическое движение бессмысленным, обреченным на провал. Французский психоанализ, напротив, складывается в последние десятилетия на более широкой социальной почве и подчас выступает как точка пересечения феминистических, антипсихиатрических и других «левых» движений.

Сходные социальные ситуации после поражения движения «новых левых» в США и во Франции порождали подчас весьма различные социально-психологические реакции. В первом случае господствующим настроением была апатия, сопровождавшаяся мистицизмом, аполитизмом и воинствующим антиинтеллектуализмом, тогда как во втором случае поражение «микрореволюции» 1968 года подтолкнуло и усилило процессы политизации, породило новые формы борьбы и сопротивления власти. Разумеется, эти процессы было бы точнее охарактеризовать как «микрополитизацию», связанную с противоборством любым отношениям господства, стремлением устранить их «сейчас» и «здесь», однако такое уточнение несколько не уменьшает накала борьбы.

Таким образом, французский психоанализ не столько провоцировал бегство в частную жизнь (хотя и такой путь возможен), сколько стал средством построения моста между социальным и личным мирами. Именно в качестве такой сферы интимного, которая не отгорожена от социального, он и составил часть идейного багажа любого «типичного представителя» французских интеллектуалов. На основе этой идейной «открытости» происходила «политизация» психоанализа: психоаналитический комплекс идей «пропитывался» политикой, насыщался идеологемами и импульсами разнообразных движений протеста, а затем, уже в таком политизированном облике, проникал в культуру и обыденное сознание.

Итак, функционирование психоанализа как социального института дает наглядный и доступный материал проблематизации власти. В силу специфики французского пути к Фрейду процесс проблематизации развертывался как бы в двух ракурсах («лидер» и «масса»), в двух противонаправленных формах: в форме «демократизации» психоанализа и практического смыкания его с другими движениями протеста и в форме драматических расколов, сотрясавших верхние этажи психоаналитической власти, где на месте порядка и норм побеждал «шаманизм», воцарялась харизма лидера, который своими неисповедимыми решениями определяет ход событий.

## 2. Власть у Фрейда: между «либидо» и «Сверх-Я»

Проблема власти для Фрейда — это проблема господства бессознательного над человеческим сознанием и поведением, а также многочисленных способов борьбы и

примирения с этой властью. Анализ этой проблемы — это прежде всего фиксация способов внесознательной детерминированности сознания — подчинения сознания силам, находящимся вне осознания. После Коперника и Дарвина Фрейд «атаковал последнюю крепость, которая оставалась неприступной,— человеческое сознание как предельную данность психического опыта. Он показал, что большинство того, что мы осознаем, не реально, а большинство того, что реально, не находится в нашем сознании»<sup>15</sup>. Но не только Фрейд помог нам «взглянуть в это зеркало и увидеть добровольное рабство, которое есть не что иное, как политический делирий; человек — раб самого себя, то есть своих собственных иллюзий, раб желания властвовать, в котором заключена сама человеческая реальность; он любит себя собою в вожде — этом кривом зеркале. Добровольное рабство — это нарциссизм, существование которого нуждается в вожде»<sup>16</sup>. Фрейд как *explicit* политический мыслитель предстает перед нами лишь в последних своих работах (прежде всего — в «Психологии толпы и анализе „Я“»), которые должны быть отнесены к области постпсихологии или «метапсихологии». Но Фрейд хотел быть прежде всего ученым и писал о проблемах власти на языке энергетики, биологии, антропологии своего времени и, самое главное, — на языке открытого им психоанализа.

Фрейд исходит из наличия неких объективных, но непроницаемых для человеческого сознания неререфлективных образований, которые и обуславливают конфликтную динамику психической жизни человека. Почему и как возникают конфликты в человеческой психике? Как они исторически формируются? Имеют ли они значение всеобщего закона или, напротив, являются отклонениями от некоего бесконфликтного функционирования психики? Сам Фрейд, считая такие структуры универсальными, ищет им филогенетическое обоснование и находит его в гипотезе «первобытной орды», выдвинутой современными ему антропологами. История «первобытной орды» — это история отцеубийства, интериоризации вины и тем самым история становления закона культуры в Природе, история возникновения вторичных, культурных механизмов силы и власти, формирования культурных запретов.

В многочисленных работах о Фрейде подчеркивалась уязвимость этой гипотезы. В ней вполне справедливо усматривают логическую ошибку *petitio principii*<sup>17</sup> и другие несообразности. Однако дело не только в логических

неувязках. Фрейд мыслит переход от природы к культуре как недозавершенный, а, следовательно, Закон культуры — как недоосуществленный, каждый раз вновь и вновь реализующийся в индивидуальной судьбе. Отсюда — принципиальная качественная неоднородность психического и психоаналитического феномена, внутренняя конфликтность, антагонизм взаимодействия между различными инстанциями в психике. Отсюда ведет свое происхождение гипотеза Фрейда о тождественности «генетического» и «клинического» Эдипа. Иначе говоря, гипотеза повторения и воспроизведения архаических структур власти в сознании современного человека, реагирующего психической болезнью на свою неспособность уравновесить влечения, мощь «либидо» и культурные запреты, нормы, правила.

Фрейд понял человеческую психику как целостное образование, в котором прозрачные, проницаемые для сознания элементы сосуществуют рядом с непрозрачными, «силовыми», «энергетическими» элементами. Психоаналитический феномен — исходная данность, с которой работает психоаналитик как исследователь-терапевт, — оказывается принципиально двойственным, включающим параметр знания и параметр силы, а истолкование феномена власти с необходимостью предполагает эпистемологическую и энергетическую компоненту. Иначе говоря, бессознательное, которое определяет сознание и властвует над сознанием, предстает как то, что нужно познавать и чем нужно управлять.

В снятом виде все эти конкретные жизненные условия предстали в динамике внутриспсихических сил или инстанций власти, связанных отношениями господства и подчинения; эта динамика, как известно, разыгрывается Фрейдом на двух моделях (называемых обычно «топиками»). Обе они (первая: бессознательное — подсознательное — сознание; вторая: оно — Я — Сверх-Я) основаны на идее «воли к власти» бессознательных, динамичных, стремящихся к осуществлению влечений; в психике человека эти влечения подверглись вытеснению, но продолжают существовать, воспроизводиться на других уровнях, оказывая свое формирующее или деформирующее воздействие на все возможные проявления сознания человека и его деятельность. Особенно четко представлена дифференциация конфликтных сил во второй модели.

Обратим внимание на характер антагонизмов между различными инстанциями в психике и на способы осу-

ществления власти одних над другими. Так, либидо, «оно», воплощает принцип наслаждения и стремится к незамедлительному удовлетворению инстинктов. Однако, сталкиваясь с требованиями внешнего мира, «оно» вынуждено изменять свои установки, согласовывать желания с реальностью, «соглашаться» на отсроченное удовлетворение желаний: так в ходе эволюции «оно» при столкновении с требованиями внешнего мира возникает «Я», представляющее принцип реальности<sup>18</sup>. Однако и новоявленное «Я» не может самостоятельно согласовать потребности «оно» и требования внешнего мира: так начинается становление внутри «Я» еще одной, конфликтной по отношению к нему самому, равно как и по отношению к бессознательным влечениям «либидо», инстанции, воплощающей вину, запрет, совесть, закон; это — «Сверх-Я». Серединная опосредующая инстанция — «Я» — находится как бы между двумя безднами и испытывает целый комплекс негативных чувств, которые призваны стимулировать ее собственные действия: а именно страх перед реальностью внешнего мира, тревогу перед побуждениями «оно» и угрызения совести перед неосуществимыми требованиями «Сверх-Я».

Трактовка агрессивности этих инстанций психической власти значительно варьируется в концепциях разных исследователей, так что и поныне остается однозначно неразрешенным этико-терапевтический вопрос о цели психоаналитического воздействия: должен ли психоаналитик стремиться к усилению «Сверх-Я» в борьбе с «оно» и в поддержку «Я» (такова, например, точка зрения Анны Фрейд) или же, напротив, к ослаблению «Сверх-Я» — с тем, чтобы субъект мог признать «законными» те свои побуждения, которые с требованиями «Сверх-Я» несовместимы (такова, например, точка зрения Мелани Клайн). Иначе говоря, должен ли психоаналитик преобразовывать инстинкты и влечения бессознательного, делать их более «мягкими», «цивилизованными», или, напротив, стремиться к полному освобождению их от сковывающего воздействия социальных и культурных норм?

Послефрейдовская судьба психоанализа во многом определялась тем, как именно интерпретировались те или иные компоненты психической структуры в плане проблемы власти. Большинство немецких фрейд-марксистов анализировали проблему власти, ставя перед собой задачу раскрепощения «оно», инстинктов и влечений; в противоположность этому большинство американских пси-

хоаналитиков обосновывали свои концепции на инстанции «Я», стремясь к формированию и усилению адаптивных, приспособительных функций «Я» по отношению к действительности и требованиям «Сверх-Я» (эффективность решения такой задачи должна была обеспечиваться, в частности, расчленением самой инстанции «Я» на «самостоятельное Я» и «зависимое Я» и отдельной проработкой каждого из этих компонентов); наконец, многие французские психоаналитические концепции (в особенности — концепции Ж. Лакана и его учеников) строятся с опорой на «Сверх-Я», интерпретируемое как уровень символического, как место контроля за исполнением социальных и культурных требований.

Разумеется, построение моделей функционирования психики не было для Фрейда как родоначальника психоанализа самоцелью: необходимо было претворить знание о внутриспсихических структурах власти в практические стратегии работы с этими структурами. Главной практической целью Фрейда была психотерапия. Что представляет собой психическая болезнь в терминах взаимодействия внутренних психических инстанций, предложенных Фрейдом? Какого рода помощь может оказать больному психоаналитический подход? Каковы цели, задачи, критерии успешности работы психоаналитика, каким образом он может обратить во благо ту личную власть над пациентом, которую дает ему психоаналитическая ситуация? Все эти вопросы были поставлены уже Фрейдом, хотя они не переставали волновать умы последующих поколений теоретиков и практиков психоанализа.

В психике больного аналитик сталкивается, во-первых, с резко обостренным конфликтным соотношением сил, при котором побуждения «оно» и требования «Сверх-Я» оказываются взаимоисключающими, а «Я» не в состоянии разрешить их внутренние противоречия, а во-вторых, с силами защиты, сопротивления осознанию, с отторжением самой конфликтной ситуации. Само по себе наличие в психике этих бессознательных энергетических процессов, требующих воздействия силой на силу, властью на власть, интеллектуального и эмоционального воздействия психоаналитика на внутриспсихические конфликты больного, — было и до сих пор остается «скандалом» с точки зрения тех философских концепций, которые ставили во главу угла рефлексивную способность к самосознанию, самоотчету, самоконтролю. Однако такое осознание и прояснение оказываются в принципе невоз-



можными в целом ряде ситуаций, в особенности же в тех случаях, когда конфликт уже зашел достаточно далеко и повлек за собой необратимые патогенные последствия.

Если власть инстинктивного бессознательного («оно») выражает себя в натиске и прорыве, власть бессознательных интериоризированных запретов и норм («Сверх-Я») — в «репрессии», а защита («Я») — в сопротивлении и обуздывании, то задача психоаналитика — это как раз коррекция соотношения всех этих разноплановых и разноуровневых сил, их взаимоупорядочение и взаимосогласовывание. Итак, вмешательство аналитика должно быть направлено на то, чтобы помочь больному снять сопротивление осознанию, ослабить (или в некоторых случаях — усилить) системы «защиты», открыть каналы разрядки вытесненных побуждений, дать пациенту возможность вновь или же впервые в полной мере пережить вытесненные стремления, желания, влечения и пр. и на этой основе далее хотя бы в какой-то мере перестроить поведение.

При любой интерпретации терапевтического процесса техника психоанализа предполагает воздействие на сознание, то или иное «манипулирование» сознанием. Где, как, по каким каналам осуществляется это воздействие? Насколько власть психоаналитика подконтрольна тому, кто ее использует? Можно ли сказать, что это только власть мысли, а если нет, то где гарантии истинности производимых в психоаналитическом сеансе терапевтических событий? Оценивая в целом процедуру психоанализа как «лечение словом» (термин, введенный одной из пациенток Брейера) или «исцеление через осознание»<sup>19</sup>, Фрейд был вынужден, однако, ввести в свою концепцию немаловажное уточнение, которое касалось особой позиции «трансфера» в психоаналитическом сеансе — переноса на психоаналитика, на «третье лицо», вытесненных чувств и влечений пациента, которые в реальной истории больного относились к какому-то другому жизненно значимому лицу, главным образом — к родителям. Трансфер — это средоточие психоаналитического феномена власти, вокруг которого разворачиваются все перипетии аналитического процесса. Трансфер искусственно вызывает ситуации «экспериментальной» любви пациента к аналитику: это чувство не находит реального удовлетворения, поскольку аналитик не «отвечает» на него, вызывая в пациенте фрустрацию и приток новых сил, направляемых на изживание и осознание прошлого

опыта. Фрейд считал, что по окончании психоаналитического курса трансфер теряет силу, личная зависимость пациента, господство аналитика прекращаются.

Таким образом, Фрейд фактически предлагает и использует две психоаналитические технологии власти: словесно-риторическую («выговаривание») и эмоционально-энергетическую («трансфер»). Он считает более важной первую технологию, связанную со словом «осознание», полагая возможным рациональный контроль за процессами эмоционально-энергетических перестроек. Между этими двумя технологиями (практическими стратегиями психоаналитической процедуры) и двумя главными инстанциями власти в модели психического («либидо» и «Сверх-Я») прослеживаются глубокие фундаментальные соответствия, хотя там и здесь психоаналитический феномен власти дается в разных проекциях.

Современные исследователи и критики психоанализа все более склоняются к мысли, что Фрейд был слишком оптимистичен в своей оценке вербализации, осознания психических травм и более, чем следовало бы, доверял «эпистемологическому разрыву», можно сказать, «практико-технологическому разрыву» между психоанализом и предшествовавшими ему традиционными психотерапевтическими концепциями психиатрии. Так, Фрейд считал, что, обратившись к «свободным ассоциациям», ему удалось избавиться полностью от прямого внушения и поставить под контроль косвенное (неосознанное, нецеленаправленное) внушение, не говоря уже о гипнозе. Однако проблематично и первое и второе (все это стало особенно очевидным в свете работ О. Маннони, Ф. Рустана, М. Борш-Якобсена и др.). Коль скоро «в трансфере есть внушение, значит, аналитическая ситуация всего лишь производит и воспроизводит, хотя и в абстрактной форме, саму сущность любого межличностного отношения, которое включает желание самому оказывать воздействие или же испытывать его, то есть активный или пассивный миметизм»<sup>20</sup>, то «в психоаналитической ситуации мы всегда находимся под воздействием, под внушением, под гипнозом»<sup>21</sup>.

В свете историко-научных исследований последнего времени (в первую очередь это работы Л. Шертока) обнаруживается, что, несмотря на все интеллектуалистские притязания, фрейдовская концепция остается открытой иррациональности гипноза, внушения и другим формам власти человека над человеком. Во-первых, она открыта

в предысторию, поскольку психоанализ с его «свободными ассоциациями» возник не на пустом месте, а стал наследником месмеровского «флюида», брейдовского «гипнотизма», «постгипнотических внушений» Бернгейма и т. д. и т. п. Во-вторых, она открыта к будущим прояснениям вопроса о гипнозе, внушении, другим формам «микрополитических» отношений господства и подчинения.

С точки зрения радикальной современной критики психоанализа, его практических и концептуальных предпосылок, Фрейд «не строит теорию трансфера потому, что он всегда мыслит субъективность как солипсизм, всегда оперирует лишь одним индивидом, не осознавая того факта, что нет субъекта без отношений, что субъект конституируется отношениями, то есть другими людьми»<sup>22</sup>. Эта критика Ф. Рустава звучит вполне по-марксистски. С ней соглашаются и Э. Фромм<sup>23</sup>, и М. Борш-Якобсен<sup>24</sup>. Правда, к чести Фрейда нужно сказать, что, оставаясь рационалистом и скептиком, он чувствовал загадку в природе внушения и гипноза и, отказавшись от их практического применения, не стал делать вида, что проблемы не существует. В «Психологии толпы и анализе „Я“» он даже позволяет себе трактовать внушение как «основополагающий факт психической жизни человека». Концептуальная неясность «трансфера» претерпела в дальнейшем ряд исторических превращений, на которых мы остановимся далее в связи с анализом концепции Лакана и постлаканистской критикой психоанализа.

### 3. Лакан: власть языка

В психоанализе Лакана запечатлена иная, нежели у Фрейда, стадия осуществления закона культуры: переход от природы к культуре завершен безвозвратно. Вопрос стоит не о динамике этого перехода, но скорее о подключении индивида к уже существующему порядку культуры, порядку символического. Другое важное различие между Фрейдом и Лаканом обусловлено новой стадией научного развития смежных областей знания. Возможности и средства поиска структурного порядка в бессознательном были накоплены к тому времени французской социологической школой (прежде всего М. Моссом и Э. Дюркгеймом), а также этнологическими исследованиями лакановского современника — К. Леви-Стросса. В соответствии с «духом времени» Лакана прежде всего инте-

ресуют именно структурные, а не генетические механизмы, способы функционирования бессознательного как хранилища законов культуры, как инстанции, властвующей над сознанием. Если Фрейд решал вопрос о механизмах обусловливания сознания в психобиологическом плане, то Лакан, максимально отказываясь от биологизма, апеллирует к аргументам, которые можно было бы назвать структурно-символическими или гештальтистско-языковыми, а тезис о возможности рационального прояснения бессознательного проводит шире и последовательнее, нежели Фрейд, хотя рационализацию фактически понимает как возможность языкового или языкоподобного структурирования психики. Центр тяжести в рассуждениях Лакана перемещается на идею структурности самого бессознательного, тогда как у Фрейда вопрос стоял прежде всего об организованности психики в целом. Что же касалось ее бессознательного компонента, то он представлял как хранилище вытесненных впечатлений, инстинктов, желаний (словом, — тех или иных конкретных воплощений «либидо»). Для Лакана же бессознательное — это не склад забытых впечатлений, а структура, упорядоченная по типу языковых структур и допускающая применение приемов лингвистического и даже математического анализа.

Лакан провозглашает своей целью «возврат к Фрейду», и он действительно остается верен Фрейду в стремлении сделать психоанализ научным, очистить его от всего иррационального, непроященного. Столь же или даже более решительно, нежели Фрейд, он пытается развести проблематику власти и собственные проблемы психоанализа. Если Фрейд, отказавшись на уровне самосознания от гипноза в практике психоанализа, продолжал проявлять к нему интерес и даже допускал случаи возможного обращения к гипнозу (например, при военных неврозах), то Лакан в этом отказе более последователен: он очень мало исследует трансфер как перенос эмоциональной энергии и почти не говорит о гипнозе и внушении<sup>25</sup>. Трансфер принимает у Лакана рационализированную форму и существует в виде «трансфера на интеллектуальный труд» (имеется в виду перенос эмоций участников лакановского семинара на познание, освоение новых наук, поиск истины — через доверие Мэтру, который так или иначе указывает путь к истине)<sup>26</sup>. Как у Фрейда, так и Лакана, отсутствие прямой концептуализации психоаналитической власти в терминах власти

«компенсировалось» проявлениями «воли к власти» в отношениях с коллегами, учениками, пациентами.

На концептуальном уровне лакановская трактовка господства бессознательного над сознанием и поведением (человек у Лакана — это «добыча» бессознательного означающего<sup>27</sup>) предстает в виде известной схемы соотношения «реального» — «воображаемого» — «символического», которая, хотя и без однозначных соответствий, близка к фрейдовской модели «оно» — «Я» — «Сверх-Я». Поскольку переход от природы к культуре совершен и закончено формирование общественно значимого слоя сублимаций, а натиск психобиологических влечений ослаблен, постольку первая инстанция этой схемы — «реальное» («либидо»)<sup>28</sup> практически выводится за пределы исследования. Лакан видит реальное как «невозможное», а объект влечения — «навсегда потерянным». Центр властного конфликта в структуре психики смещается: лакановская топика, в сравнении с фрейдовской трехчленной моделью, оказывается как бы с усеченным нижним и более высоким верхним этажом, а главные перипетии господства и подчинения сосредоточиваются между «воображаемым» («Я») и «символическим» («Сверх-Я»), псевдоличным и безличным в их взаимодействии. Воображаемое — это уровень иллюзорных единств, аналогий, непосредственных отношений, в которых прежде всего отыскивается сходство, неразрывность, центрированность психических процессов. Символическое, напротив, образует безличный уровень бессознательного, который господствует над воображаемым (и реальным)<sup>29</sup>, подчиняет себе действие психических механизмов, дающих на уровне воображаемого превращенные нарциссически искаженные образы «Я». Бессознательное как символическое — это «речь Другого»<sup>30</sup>, т. е. закон Порядка, господства культуры над индивидуальной психикой. Воображаемое представляет собой индивидуальные вариации символического, субъективный способ воплощения принципов символического порядка как порядка культуры.

Таким образом, Лакан устанавливает иные соотношения между инстанциями власти в психическом, нежели Фрейд, у которого главные агенты власти поляризовались на власть крови и власть культуры с опосредованием в «Я» — слуге этих «двух господ». Для Фрейда главной агрессивной инстанцией было «оно» и, соответственно, основными уровнями защиты — «Я-защита» и «„Сверх-Я“-защита»; а для Лакана агрессивность эго-

истического «Я» (воображаемое) должна сниматься сублимированной властью культурных запретов, сосредоточенных в символическом (правда, принуждение порядка может быть не менее неотвратимым, чем принуждение хаоса инстинктов). Власть символического не носит непосредственно репрессивного характера: речь скорее идет лишь об угрозе наказания в случае нарушения запрета.

Лакана интересуют не генетические гипотезы, вроде мифа об орде, но прежде всего формальные и формопорождающие механизмы психического становления человека. Важнейшая доэдиповская стадия, вычлениением которой Лакан очень гордился, именуется им «стадией зеркала». Анализ механизмов перехода от «стадии зеркала», на которой гештальт, образ целостности, предвосхищает дальнейшее развитие человеческой психики и организма, к стадии Эдипа заменяет Лакану размышления об «отцеубийстве» и интериоризации вины.

«Стадия зеркала» предшествует «стадии Эдипа». На стадии зеркала происходит первое соотнесение человеческим существом собственного тела с его видимым образом. Одновременно с ней формируется стадия отождествления ребенка с матерью; ни господства, ни подчинения, ни принуждения, ни освобождения здесь пока еще нет и быть не может — все это становится возможным на стадии Эдипа. Отождествление с матерью дает детскую иллюзию собственного всевластия; она разрушается при эдиповском кризисе — при переходе от симбиотического слияния с матерью к отношениям отца, матери и ребенка в семейном треугольнике<sup>31</sup>. Стадия Эдипа предлагает угрозу наказания за «всевластие» ребенка и, следовательно, направляет его от фантазма воображаемого всемогущества к самоотождествлению с отцом как представителем и стражем культуры, хранителем символических отношений в человеческом обществе. Лишь теперь становится возможной символическая причастность отцовской — культурной — власти, что закрепляется в осознании своего пола и своей ответственности перед отцом, стремлением обладать «фаллом» (для Лакана — это невещественный и начисто лишенный сексуальных коннотаций символ власти). Самое важное здесь для Лакана то, что ребенок получает доступ к символическому порядку, имени отца, без которого невозможно даже ограниченное обладание окружающей реальностью. Имя отца открывает ребенку возможность именовать окружающий мир. Переход от вещественно-событийной драмы фрейдовского мифа об отцеубийстве к лаканов-

скому бесплотному «Имени-отца»<sup>32</sup> вряд ли можно счесть фокусом опытного иллюзиониста. Скорее это две крайние точки развития этнографических и исторических знаний на протяжении довольно непродолжительного времени.

Вступить в символический порядок культуры через способность именовать действительность — как это возможно? Доступ к реальности определяется средствами широко понимаемого языка как совокупности означающих форм. Власть социального мира над человеком — это прежде всего власть языка и подобных языку дискурсивных механизмов, закрепляющихся в запретах, законах, установлениях, а власть человека над миром в той мере не иллюзорна, в какой она опирается на способность именовать, пользоваться означающими формами, словом — присваивать власть языка, становиться «функционером символического порядка». Можно было бы предположить, что эта власть — демократична, что присвоить ее и воспользоваться ей может каждый, однако это не так. Речь идет не об обычной референциальной функции языка, позволяющей обозначать предметы окружающей действительности или внутренние состояния, но об особом языке, власти которого в конечном счете подчиняется и само бессознательное. Достичь и коснуться несловесного способно не любое слово, а слово-взрыв, слово, уже переставшее быть словом, поскольку в нем уничтожена естественная привязка означающего к означаемому, формы к содержанию, понятия к звуковой оболочке. Это уже не слово, но элемент цепи означающих форм, свободно движущихся вне содержаний. Поскольку люди отрезаны от биологической реальности своих желаний, они принуждены передавать и выражать их, пользуясь ограниченным набором означающих. Коль скоро за любым фрагментом осознанного лежит обосновывающий его слой бессознательного, значит, всякое значение и обозначение по природе своей метафорично, а потому психоаналитической моделью работы с бессознательным может стать теория метафоры — теория тропов — учение о смещениях или сгущениях форм, свободная игра которых доступна лишь одному ритору. Таким ритором был Лакан, начиная с его первых художественных опытов, опубликованных в сюрреалистском журнале «Минотавр», и кончая последним письмом к членам его Школы. Только власть мэтра могла справиться с бессознательной властью языка или языкоподобной властью бессознательного, укрощая или высвобождая их по своей воле.

Из всего этого вытекают определенные следствия для технологии психоаналитической работы, как исследовательской, так и терапевтической. Прежде всего Лакан универсализирует роль широко и своеобразно понимаемого языка в практико-аналитической работе. Из предложенной Фрейдом идеи о роли языковых механизмов в истолковании некоторых психических явлений (в первую очередь сновидений) Лакан делает предельно обобщенные выводы: структурированность языка выступает для него как наглядное свидетельство структурированности всего вообще бессознательного. При этом, как справедливо отмечают современные исследователи и критики концепции структурного психоанализа, Лакан теряет раннефрейдовское различие уровней подсознательного и бессознательного, или, иначе, уровня «вещных» образных представлений, которые могут быть переведены в языковые представления, и уровня собственно бессознательного, применительно к которому вообще нельзя говорить о языке, поскольку этот уровень формируется в довербальный период. К порядку языка в лакановской модели психики относятся только явления символического уровня, а на уровне воображаемого возможна лишь «пустая» речь, вращающаяся в кругу собственных иллюзий, а потому смысл психоаналитической работы с языком — это достижение такого состояния душевных сил, при котором борьба с властью воображаемого завершается добровольным подчинением символическому порядку. Это «нетерапевтическая» концепция психоанализа: излечение осмысливается как возможное, но, строго говоря, не обязательное — не искомое и не необходимое — следствие работы с языком, интеллектуального прояснения бессознательного. Таким образом, цель лакановской практики — дать простор власти языка над человеческой судьбой, вверенной аналитику.

В итоге лакановская концепция приходит к целой цепи парадоксов, вряд ли разрешимых рациональными средствами; стремление к научной объективности в теории бессознательного несоединимо с причудливой динамикой его практики и головоломными вымыслами в каркасе текстов. А этика психоанализа: было ли это лечение словом или же порабощение словом? а может быть, лечение молчанием? или же вовсе не лечение? Но что же тогда остается — особая практика языкового и телесного жеста?

Поведение Лакана напоминало практикум по французской авангардистской философии: Лакан, казалось,



настолько ясно выражал ее тенденции в жизни, что с него можно было писать (и писали!) ее портрет — неискоренимую плюральность и рассеяние человеческих ролей, в принципе несводимых воедино. Это было поведение, словно бы поставившее целью нарушение всех переделов и границ, фрустрацию любых ожиданий и непредсказуемость для самого себя. Описания лакановских «выходок», или, можно было бы сказать, «хэппенингов», хватило бы не на один том увлекательной психобиографии. Он потрясал слушателей семинара загадочным молчанием, бессвязно брошенной репликой, неожиданной расстановкой персонажей на сцене; он позволял себе едва ли не пятиминутные сеансы, заставлявшие пациентов в одиночку грезить о несбывшемся межличностном контакте с аналитиком, на свой страх и риск прорисовывая траекторию жизненных событий, приведших к травме. Попыткой разрешения противоречий, концептуально неразрешимых в творчестве Лакана, и была, по-видимому, созданная им школа, о судьбе которой говорилось в самом начале. Учреждая школу, он действовал, как «пророк», стремящийся к легитимизации нового порядка, а распуская ее, он действовал, как «шаман» — властитель хаоса и его слуга, стремящийся к одиночеству и не надеющийся быть понятым.

Как, однако, свести концы с концами? Понятно, что вся практика спонтанного жеста, к которой прибегал Лакан в школе и в семинаре, вполне радикально отрицает объективно-безличные постулаты лакановской психоаналитической теории. Но означает ли это, что сама концепция бессознательного у Лакана и его модель психического, а тем самым и его нетематизированная, но в целом ясно обрисованная концепция власти отрицаются и ниспровергаются экзистенциальными жестами Лакана, что персонологическая эманация власти имеет решающее, даже определяющее слово при проверке теоретических постулатов? Фактически такой ход рассуждения был нередким: коль скоро школа Лакана функционирует, как секта, значит и теория, породившая такую практику, но подразумевавшая цели научной объективности, заведомо и всецело ложна. Или, может быть, стоило бы признать, что теория — одно, а институционализированные формы практики — совсем другое?

По-видимому, парадоксальные формы лакановской социальной легитимизации не отрицают значимости его теории, хотя и не остаются полностью от нее независимой

и самостоятельной ипостасью власти. Вполне логично развернув в собственном творчестве естественно подсказанную ему современным развитием научного знания ступень в познании бессознательного, Лакан освободил место и для других подходов, и для проблематизации собственного. Оставив иррациональные «остатки» в тени на уровне теории, но ярко очертив их в собственном поведении и дав им, так сказать, иррационально-персонологическое обоснование, Лакан поставил эти моменты в центр внимания своих последователей и критиков.

#### **4. Постлаканизм: «изнанка системы», аффект, гипноз**

В этом параграфе будут рассмотрены основные направления, связанные с переосмыслением фрейдовского и лакановского психоанализа во Франции: они затрагивают те самые аспекты, в которых были выше представлены концепции Фрейда и Лакана, а именно — модели психики, генетический (или логический) механизм становления структур власти и, наконец, межличностные связи в психоаналитической ситуации. Так, среди всех модификаций лакановской программы в постлаканизме обратим внимание в плане структурном — на сдвиг с «символического» на «реальное»<sup>33</sup>, в плане гносеологическом — с Эдипа на доэдиповские, доязыковые стадии в формировании человека; в плане функциональном — с интеллектуальных компонентов анализа на трансфер и фактически лежащие в его основе аффект, внушение, гипноз.

Одно из главных критических направлений, связанных с оценкой психоанализа как феномена власти и определением стратегий «освобождения», была совместная работа философа Ж. Делёза и психиатра Ф. Гаттари «Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип» (1972)<sup>34</sup>. В основе этой работы — провозвестницы «новой правой» философии — введение в рамки теоретического рассуждения тех моментов «реального», которые для Лакана могли существовать только в «пробелах» между теоретическими конструкциями, на уровне красноречивых, хотя и безмолвных, поведенческих жестов. Авторы «Анти-Эдипа» берутся за то, что оставалось за фасадом здания лакановской системы, они стремятся схватить и описать «изнанку» системы. Достичь «реального» — уровня потребности, граничащей с желанием, — значит для них прорвать замкнутый круг сублимаций и отчуждений, очерченный лакановскими

взаимодействиями «воображаемого» и «символического», рядом с которыми «реальному» нет места. «Реальное» подвергается репрессии, вытеснению из всех механизмов, благодаря которым соотносятся воображаемое (антропоморфное) и символическое (социальное). Следует найти такую независимую инстанцию, которая, отрицая все социальные порядки и антропоморфные структуры (и прежде всего — структуру эдиповского треугольника как «вторичную рационализацию» семейных отношений), позволила бы достичь того, что не может быть охвачено никакими рационализациями. Напомним, что Фрейд строил модель психического закона перехода от природы к культуре, хотя в его концепции этот закон еще не предстает как полностью выполненный. Теория Лакана отгораживается от «реального», «природного», замыкается на концептуальной проработке пространством переходов между воображаемым и символическим («реальное» может проявиться лишь символически опосредованным). Делёз и Гаттари как бы возвращаются вспять, к исходной точке существования природы, где поток желаний рождается и протекает свободно, не встречая никаких внешних преград; там еще не начал действовать закон культуры; вместо него царит модель полиморфной сексуальности. В этой условной точке культуры, опущенной и погруженной в природу, могут существовать персонажи только с «чистым» бессознательным, не знающие репрессивного опыта, — ребенок, дикарь, художник, революционер.

У каждой теории «свой» Эдип: фрейдовский Эдип — образ, лакановский Эдип — Имя, постлаканистский Эдип — это Анти-Эдип, который своим существованием отрицает модель «принудительного» перехода природного в культуру. Как считают Делёз и Гаттари, Фрейд, открыв эдиповскую модель генезиса и функционирования психики, обнаружил свободное пространство человеческих влечений, желаний, вожделений, но тут же подверг его отчуждению (подобно тому, как Смит и Рикардо, открыв, казалось бы, суть богатства, подвергли ее отчуждению в собственности). Лакан — здесь Делёз и Гаттари воздают ему должное — отказался от антропоморфного Эдипа, заменив образно представленного Эдипа функцией (если воспользоваться лингвистическим термином, лакановский Эдип — не что иное, как «переключатель» (shifter) из сферы воображения (где ребенок отождествляет себя с матерью) в сферу отцовского, семейного, языкового, символического); однако Эдип для Лакана, как мы уже говорили, — это

символ власти над человеческими желаниями безличного социального порядка.

На самом же деле Эдип, считают антиэдиповцы, — это не имманентно сложившаяся структура бессознательного, а сознательно осуществляющая по отношению к бессознательному репрессивные функции инстанция власти, «железный ошейник» власти семьи и общества над человеком. Эдип — это антропоморфизированная, психологизированная, «приватизированная» модель бессознательного. И задача антиэдиповского проекта — разоблачить «нищету психоанализа», построенного на комплексе Эдипа.

Антиэдиповские позиции были определенным этапом в осознании интеллигенцией своей политической позиции в период, непосредственно следующий за маем 1968 года. Самоопределение по отношению к психоанализу было необходимой составной частью этого процесса самоопределения. Теория Делёза и Гаттари может рассматриваться как концептуализация известного изречения одного из участников майских событий — «структуры не выходят на улицы». В ней можно видеть попытку разобраться в том, кто, как, почему, под воздействием чего — извне и изнутри — «выходит на улицы» или по крайней мере способен на это. Для Делёза и Гаттари очень существен<sup>35</sup> вопрос о микрополитических закономерностях «революционного» действия, функционирующих на уровне, где репаяющим может оказаться воздействие психиатрических или психоаналитических процессов. К «французскому Фрейду» Делёз и Гаттари относятся двойственно: с одной стороны, признают (в особенности — Гаттари) его концептуальное влияние, с другой — видят в нем создателя «нового типа власти», или, точнее, — «прототипа новых форм власти»<sup>36</sup>. В самом деле, современный психоанализ обладает различными средствами воздействия: финансовыми, политическими, эмоционально-аффективными, хотя, казалось, «он и не прилагает особых усилий к тому, чтобы внушать, истолковывать или явным образом господствовать»<sup>37</sup>. Имея массу потребителей, психоанализ становится чем-то вроде наркотика. Французский фрейдизм в лице Лакана не ограничился «новым» прочтением Фрейда, «стал чем-то более деспотическим с точки зрения теории и института, чем-то более строгим с точки зрения семиотического способа подчинения участвующих в нем людей»<sup>38</sup>.

Вот почему, как полагают Делёз и Гаттари, вместо традиционных форм психиатрического и психоаналитиче-

ского подходов должен развернуть свою деятельность новейший тип анализа, не «психо-», а «шизоанализ». И осуществлять его должен не наделенный особой властью и социальными привилегиями аналитик, но «механик», обслуживающий «производство желания». Парадоксальность концептуализации поднимаемых антиэдиповцами проблем заключается в том, что для выражения в языке деструкции социальных и антропоморфных форм они прибегают к «производственной» метафорике («завод», «производство желания», «механик» и т. д. и т. п. ). Этот странный диссонанс (кстати, он был снят в дальнейшем самими авторами, избравшими органицистскую метафорику) может быть объяснен так. Образ «машины» здесь важен не столько для деструкции социального и «бегства в природу», сколько, во-первых, для нахождения предельной анти-тезы живой антропоморфной субъективности; во-вторых, для построения прямой противоположности психологистским образам человека и социального мира (здесь андиэдиповцы непосредственно следуют, по их собственному признанию, по столам русского конструктивизма); в-третьих, для расчистки пути к новой форме социальности. Обращение к механизмам «производства желания» заставляет предположить, что апелляция к природе — это скорее лозунг некоего переходного этапа, за которым должна последовать попытка подойти к социальности «с другого конца», обнаружить те уровни, где интересы и желания слиты воедино. Как правило, отмечают Делёз и Гаттари, в социальных (точнее — макрополитических и макросоциальных) процессах наблюдается осознаваемый или неосознаваемый разрыв между желанием и интересом. Дело не доходит до исследования глубинных форм социального «инвестирования» природных желаний, психоанализ Фрейда «застревает» на семейных структурах.

Шизоанализ, он же «материалистическая психиатрия», призван идти дальше, вплоть до нахождения не скованных внешними воздействиями потоков неструктурированного желания. В то же время, поскольку неправомерна оценка смысла и перспектив социального (революционного, бунтарского) действия только на основе интереса, Делёз и Гаттари относят «интерес» к сфере предсознания, а не бессознательного, шизоаналитик должен достичь уровня «чистого», молекулярного бессознательного, где протекают наиболее глубокие и мощные потоки желания. Это важно с точки зрения прагматики акций протеста: только

те действия могут быть успешными, в которых желания и интересы слиты.

«Прочистив» бессознательное, механик-психоаналитик обнаруживает совершенно иную картину, нежели при более поверхностном взгляде психоаналитика, «невротизирующего» всякое поведение, замкнутого на анализ предсознательных конфликтов: на месте деспотического означающего расположится сам психоаналитик, бесстрастно размечающий топологию перемещения потоков желания; на месте семьи окажется предгрупповое множество; на месте порядка — «черные дыры», на месте невротизированного тела — «машины, производящие желания» и «тела-без-органов»; на месте самотождественного индивида — вечно кочующий, нарушающий все пределы и нигде не находящийся пристанища аутсайдер. Машины желания, которые производят поток энергии желания, согласно Делёзу и Гаттари, образуют неотчужденную реальность, в которой основное — это функционирование бессознательного как чистого процесса. Желание, взятое на уровне реального, а не воображаемого или символического (здесь, конечно, прямая полемика с Лаканом), не нуждается ни в каких опосредованиях или сублимациях, оно способно непосредственно включаться («инвестироваться») в социальное поле.

Однако все же не «механик» — главная фигура в неотчужденном мире потоков желания. Голосом стихий, сметающих систему, «слугами беспорядка» (вспомним лакановский девиз — быть «функционером символического порядка») оказываются три протагониста — Безумец (противозаконник), Колдун (нарушитель порядка), Дьявол (анти-бог). Это им, а не скромному и безликому «механику»-психоаналитику, удастся в конечном счете «свести с ума систему, повергнуть ее в безумие, заставить столкнуться с неким неуправляемым переизбытком, свести с ума также и культуру... общество (религию и психоанализ, или, что то же самое, — психоанализ как религию)»<sup>39</sup>. Делёз провозглашает: «Творить новое — значит соглашаться на участь безумца — великого колдуна»<sup>40</sup>. Таковы в основном очертания позиции авторов «Анти-Эдипа».

Прежде всего обращает на себя внимание тенденция к гиперполитизации психоанализа: так, отождествление эдиповской структуры едва ли не единственным механизмом угнетения в капиталистическом обществе выходит за рамки самой смелой аналогии. Вероятно, в этой

трактовке психоанализа дает о себе знать более общая тенденция к излишне поспешной политизации психоанализа<sup>41</sup>. В результате попытка «основательно осмыслить анархизм» смыкается с контркультурными мыслительными ходами гошизма<sup>42</sup>. Таким образом, если Фрейд некогда мыслил свою программу психоанализа в терминах психобиологии и энергетики современной ему эпохи, а Лакан основывал свои построения на словаре и концептуальном фундаменте лингвосомиотики, математики, этнологии, то эпистемологический базис антиэдиповцев — негативный: это пафос «ритуального убийства» самого «духа 60-х годов», без сколько-нибудь значимых попыток и стремлений развить конструктивные мыслительные схемы этого периода.

Теперь мы обратимся к тем ответвлениям, условно говоря, постлаканизма (условно — ибо к критике лакановской концепции они, разумеется, не сводятся), которые видят основу психической (а иногда и социальной) жизни в аффекте, гипнозе.

Не будет ошибкой предположить, что оживление внимания к гипнозу обуславливается в последнее время не только кризисом объясняющих моделей психоанализа, но и новым интересом к социально-психологической, микрополитической специфике массовых действий. Центральная линия преемственности идет через поздние работы Фрейда, такие, как «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», «Болезнь цивилизации», «Моисей и монотеизм», и, разумеется, через предшествующие им работы Г. Лебона и Г. Тарда. В своих поздних работах Фрейд попытался ответить на вопрос, поставленный несколько веков назад Боэцием, а еще раньше — мыслителями древности: «Как могут люди предпочитать свободе, а иногда и жизни — рабство?» Фрейд полагал, что в человеке есть архаические структуры, которые делают его слабым, готовым на любые заблуждения ради любви и защиты, т. е. видел в бессилии источник преклонения перед силой и готовности добровольно ей подчиниться. Поздние работы Фрейда были основным объектом критики со стороны психоаналитиков, не одобрявших такого перехода от клиники к метапсихологии и соответственно — экстраполяции аналитической проблематики на культуру. В последние годы их пафос осуждения Фрейда был подхвачен — уже не психоаналитиками, а социологами. Во Франции вновь начал пробуждаться интерес к микрополитическим проблемам взаимоотношений толпы и вождя, структуры и направлен-

ности массового действия и пр., надолго угасший после Фрейда в Западной Европе и развивавшийся в США в несколько ином аспекте — в виде социально-психологических концепций.

Эту тенденцию представляют такие работы, как «Век толпы» С. Московиси или «Человек толпы» Б. Эдельмана<sup>43</sup>. Московиси создает «роман идей», выявляя различные облики «пра-Отца», воздействующего своим авторитетом на толпу (среди этих обликов Бог и Моисей, Робеспьер и Наполеон, Гитлер и Хомейни, папа римский и Миттеран — всякий, кто держит власть и осуществляет ее, привязывая к себе толпу добровольным рабством). Московиси предлагает гипновнушение как одну из главных моделей взаимодействия людей в толпе, опираясь и на «Психологию толпы» Лебона, и фрейдовскую работу «Психология толпы и анализ „Я“»; он считает возможным поновому объяснить гипноз на основе таких понятий, как «либидо», «Сверх-Я», «первобытная орда» и др. Впрочем, и здесь избежать *petitio principii* не удастся — будем ли мы объяснять гипноз вожделением либидо или наоборот. Московиси не одинок. Проект «психоаналитической социологии» поддерживает ученик Лакана Россолато. На сходные темы размышляет философ Клод Морали, устремляясь на поиски оснований «добровольного рабства» в еще более далекие времена. Отношения рабства могут определяться внешними принуждениями, но могут быть лишены насильственного элемента и осуществляться на более глубоком уровне (как это и происходит, например, в психоанализе), однако основанием и тех и других служит особое внутреннее отношение, которое как бы связывает индивида с самим собой еще до того, как он вступает в общение с другими людьми. Именно этот последний тип общения создает возможности развития «внутренних» социальных и массовых взаимодействий. На всех уровнях — внутреннем, индивидуальном, межиндивидуальном, массовом — проявляются моменты гипнотической связи. Гипноз в очевидных и драматизированных формах выявляет существование скрытых сил, особый «транспатуральной» энергии межличностного взаимодействия, которая, возрастая, накапливает «критическую массу», готовую в любое мгновение взорваться. Чтобы управлять этими опасными силами, люди и придумали клинику, но также политику, религию, искусства и пр.

Вполне понятно, что в сообществе психоаналитиков подобная позиция разделяется далеко не всеми. Так,



сравнительно «ортодоксальная» лаканистка Э. Рудинеско в работе «Столетняя война (история психоанализа во Франции)» резко критикует попытки «реабилитации гипноза», и особенно сопровождающий их «гипнотический симптом», распространенный, как она считает, в среде психоаналитиков и позволяющий им произвольно пользоваться авторитетом (она относит гипноз к тому же самому классу явлений, что и хиромантия, спиритизм и пр.)<sup>44</sup>. Сторонники этой позиции могут сослаться на недвусмысленный тезис Лакана, не допускающий ни изучения, ни использования гипноза<sup>45</sup>. Столь же настороженно относятся «умеренные» психоаналитики к тезису о политичности бессознательного<sup>46</sup>, даже если он выражается в более или менее «метафизической» форме и без крайностей политиканства, свойственных подчас автору «Века толпы».

Особым ответвлением проблематики «гипноза» применительно к социальным и массовым структурам стало изучение власти языка и языка власти. Эти разработки в области политического языка, политической риторики<sup>47</sup>, наследовали прямо или косвенно лакановской идее «власти языка», хотя и резко отличались политической радикализацией лингвопоэтической и одновременно метафизической концепции Лакана. Язык рассматривается в них не только как средство коммуникации, но и как онтологическая реальность политики, и соответственно политика — как «модель поведения и организации, характеризующаяся использованием политического языка»<sup>48</sup> с его особыми стратегиями. В основе этих построений — мысль А. Леруа-Гурана об орудийном характере языка, а также гипотеза М. Годелье о существовании предклассовых и догосударственных отношений господства и подчинения, определяемых ограничениями на обладание средствами воспроизводства общества и природы. Вводится допущение о наличии аналогии между основными структурами господства и структурами языкового господства, сопротивления, подчинения. Язык осуществляет функции господства на предклассовом (групповом и предгрупповом) и надклассовом (т. е. представленном во взаимоотношениях массы и вождя) уровне. Согласно современным социолингвистическим исследованиям (школа Бурдьё, Ж.-Б. Марклези, Д. Мадинье, группа Турнье и др.), право на речь и речевое производство распределены неравномерно: одни люди представляют от имени других и говорят за других, другие — соглашаются на то,

чтобы за них и о них говорили. Исследование политической риторики языка, иначе говоря, механизмов словесного внушения, предполагает переход от анализа «интеллектуальных», смысловых, структурно-содержательных моментов языка к анализу внерациональных, аффективных, эмотивных его компонентов.

Одной из наиболее перспективных в исследовательском плане оказалась та ветвь постлаканизма, которая обратилась непосредственно к трансферу — главной сцене, на которой происходит драматизация отношений власти в психоанализе. В 70—80-е годы было немало попыток представить концепции, ставящие в центр внимания феномены «трансфера» (гипноз, аффективное взаимодействие), как радикальные альтернативы психоаналитической модели осмысления бессознательного, использующей «лечение словом». Более плодотворным представляется, однако, такой подход, который трактует все эти типы микроситуаций власти, и прежде всего гипноз, не как альтернативу использования метода свободных ассоциаций в трансфере, но как необходимый перенос внимания на факторы, долгое время остававшиеся в тени (они связаны как раз с проблематизацией власти в психоанализе, — т. е. с осмыслением энергетического воздействия и взаимодействия, внушения, манипулирования сознанием и пр.).

Кроме того, достаточно значительное число современных психоаналитиков ныне признает, что ведущий фактор терапии в психоанализе — не объективное постижение и понимание, но именно эмоциональный контакт, который обеспечивает власть одного человека над другим, при том, что ни один из них — ни господствующий, ни подчиняющийся — не остается безразличным друг другу — оба они переносят друг на друга чувства, желания, эмоции. Как назвать такое явление — «током», который проходит между субъектами? «слиянием» при сохранении телесной самотождественности? «вчувствованием», известным еще с древнейших времен? При множестве таких объясняющих гипотез возникает даже опасность, как бы с «водой не выплеснули и ребенка», как бы интерес к власти аффекта в межличностных отношениях не заставил забыть то главное, что внес психоанализ в психотерапию и осмысление бессознательного.

\* \* \*

Таковы три наиболее фундаментальные парадигмы исследования бессознательного, получившие развитие за последнее столетие во Франции и сменившие одна другую:

психобиологическая доминанта Фрейда сменилась структурно-языковой доминантой Лакана, а последняя — аффективно-гипнотической доминантой современного постлаканизма. Эти три парадигмы исследования бессознательного были одновременно и тремя парадигмами власти, в разной степени тематизированной на уровне моделей психического, технологий психоаналитического сеанса и функционирования психоаналитического института. Все они могут быть идентифицированы в зависимости от их отношения к социальному и политическому измерению. Если фрейдовская парадигма имеет дело прежде всего с досоциальными и становящимися социальными аспектами психического, а лакановская парадигма — с его предельно отчужденными социальными аспектами, то постлакановская парадигма — даже если принять во внимание ее порыв к некоей «новой» социальности — избирает внесоциальную точку отсчета (будь то поток желаний и вожделений, сметающий все социальные структуры, или же эмпатический взаимообмен энергией на психобиологическом предсоциальном уровне). Власть «либидо», власть языка, власть аффектов и гипноза, как уже говорилось, по-разному соотносены со стадиями становления культуры в царстве природы: первая фиксирует момент перехода от природы к культуре, вторая размещается по ту сторону от предельно выполненного перехода, оставляя позади себя реальность желаний и вожделений, третья представляет собой попытку вновь найти опору в природном фундаменте социальной жизни.

Однако, хотя сейчас для нас соотношение между этими тремя парадигмами власти в психоанализе предстает как противопоставление и поляризация, на самом деле они, по-видимому, могут рассматриваться как различные проекции, грани, аспекты единства, которое мы пока не в состоянии помыслить. Ведь психоаналитический феномен представляет собой уникальное праксео-эпистемологическое сращение, в котором те или иные нехватки знания компенсируются и восполняются работой других душевных сил. Поэтому, с нашей точки зрения, в вопросе о соотношении когнитивно-интеллектуально-вербального и эмоционально-аффективного не может идти речь о выборе и абсолютном приоритете. В психоаналитических феноменах соотношение между этими главными психическими инстанциями, равно как и между двумя главными типами власти, гораздо тоньше. В рассуждении о специфике психоаналитического института уже был предложен об-

щий набросок нашего понимания проблемы власти в психоанализе: власть слова и власть аффекта различаются соответственно как *причина* и *условие* осуществления психоаналитической процедуры. Как нам кажется, представленный здесь материал дал этой точке зрения новые обоснования. Предлагаемый здесь порядок предпочтений обусловлен тем, что за исходную точку берется развитое (в данном случае — словесно-интеллектуальное), а гипно-аффективное считается как бы природным (или даже «животным») в социальном, т. е. вторичным и зависимым, — в силу оборачивания причин и следствий — внутри любого развернутого социального образования. Действующая причина успешной психоаналитической терапии — язык, власть слова, но необходимое условие действия этой причины заложено в тайниках эмоционально-аффективных процессов. Этим во многом определяются и дальнейшие перспективы исследования проблемы власти в психоанализе.

<sup>1</sup> См.: *Birnbaum P.* Fin du politique. P., 1975; *Wright V.* The government and politics of France. N. Y., 1978; etc.

<sup>2</sup> См.: Les intellectuels et le pouvoir: Entretien Michel Foucault — Gilles Deleuze // *Arc.* 1972. N 49.

<sup>3</sup> Среди самых последних работ см.: *Althusser L.* La découverte du Docteur Freud // Dialogue franco-soviétique sur la psychanalyse. Toulouse, 1984; *Mendel G.* Freud, Marx et quelques autres... // *Ibid.*; *Muldorf B.* De la psychothérapie à la psychanalyse, et réciproquement // *Ibid.*; Un grain d'universel // *Humanité.* 1984. 17 mai. P. 5.

<sup>4</sup> См.: *Kaufmann P.* L'Inconscient du politique. P., 1979. Здесь делается попытка связать психологические типы со спецификой социально-политической ориентации (революционной, консервативной, реформистской и т. д.), а также проследить, как иерархически более сложные структуры господства и подчинения возникают на основе менее сложных (семейных) структур.

<sup>5</sup> Цит. по: *Cherki A.* Pour une mémoire // Retour à Lacan. P., 1981. P. 60—61. В последней фразе есть игра слов: «школа» (l'école) и «клей» (le colle) по-французски звучат очень похоже. Лакан уничтожительно именует свою «паству» — членов Школы, цепляющихся за нее вопреки воле Мэтра, — «клеем».

<sup>6</sup> См.: *Roustang F.* Un destin si funeste. P., 1976; *Idem.* Elle ne le lâche plus. P., 1980; *Idem.* Lacan: de l'équivoque à l'impasse. P., 1986.

<sup>7</sup> *Roustang F.* Un destin si funeste. P. 28.

<sup>8</sup> См.: *George F.* L'Effet 'Yau de Poêle de Lacan et des lacaniens. P., 1979; *Clément C.* Les fils de Freud sont fatigués. P., 1978; *Idem.* Vies et légendes de Jacques Lacan. P., 1980; etc.

<sup>9</sup> В историческом плане эти проблемы убедительно раскрываются в работах Л. Шертока. Помимо его монографии «Непознанное в психике человека» (М., 1984), см. также: Возвращаясь к проблеме

- внушения // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1985. Т. 4. С. 106—114; *Chertok L. Suggestio redidiva* // *Résurgence de l'hypnose: une bataille de deux cents ans*. P., 1984. P. 11—38; Léon Chertok ou la quatrième blessure narcissique // *Autre j.* 1986. N 7. P. 56—58; Cent ans après... la suggestion // *Press méd.* 1984. Vol. 13, N 41. P. 2480—2484.
- <sup>10</sup> См.: *Fromm E. The crisis of psychoanalysis*. N. Y. etc., 1970.
  - <sup>11</sup> *Ibid.* P. 2.
  - <sup>12</sup> Когда после 1968 года психоанализ был включен в число университетских дисциплин, трудности профессиональной подготовки не были разрешены, поскольку университет не считал себя вправе навязывать студентам курс «личного психоанализа» (процедуру исповедального типа), без прохождения которого психоаналитик не имеет права практиковать.
  - <sup>13</sup> *Turkle Sh. Psychoanalytique politics: Freud's french revolution*. L., 1981.
  - <sup>14</sup> *Doray B. Psychanalyse, du singulier au pluriel* // *Revolution*. 1986. N 313. P. 32—33.
  - <sup>15</sup> *Fromm E. The crisis of psychoanalysis*. P. 5.
  - <sup>16</sup> *Edelman B. L'Homme des foules*. P., 1981. Цит. по: *Jaccard R. De la servitude volontaire* // *Monde*. 1981. 6 nov. P. 15.
  - <sup>17</sup> См.: Брюно П. Психоанализ и антропология: Проблемы теории личности // Марксистская критика психоанализа. М., 1976. С. 163—164.
  - <sup>18</sup> См.: *Derrida J. Spéculer sur Freud* // *Derrida J. La carte postale: De Socrate à Freud et au-delà*. P., 1980. P. 275—438. О ложных интерпретациях фрейдовского принципа удовольствия см. также: *Fromm E. Op. cit.* P. 16—17. Принцип реальности, по Фрейду, — это продолжение принципа удовольствия, его измененный вариант, а не его оппонент; он предполагает лишь способность защищать себя от того вреда, который может нанести человеку бесконтрольное удовлетворение инстинктов.
  - <sup>19</sup> Если фрейдовская интерпретация акцентирует рационализирующий момент психоаналитической процедуры (исцеление через осознание), то доминанта многих современных подходов, акцентирующих аффективно-эмоциональный момент, это «осознание через исцеление»: иначе говоря, чтобы осознать, нужно сначала «выздороветь», снать сопротивление осознанию и пр. См. об этом: *Бассин Ф. В., Ротенберг В. С., Смирнов И. Н.* О принципе «социальной энергии» Г. Аммона: (Некоторые сопоставления методологических категорий и их анализ) // *Бессознательное*. Т. 4. С. 93—105.
  - <sup>20</sup> *Roustang F. Un discours naturel* // *Critique*. 1983. N 430. P. 209. Ср.: *Mannoni O. Un commencement qui n'en finit pas*. P., 1980. P. 48: «Трансфер есть не доступная теоретизации часть анализа».
  - <sup>21</sup> *Roustang F. Un discours naturel*. P. 213.
  - <sup>22</sup> *Ibid.*
  - <sup>23</sup> Э. Фромм считает фрейдовского homo sexualis вариантом классического homo oeconomicus, изолированного и самодостаточного. См.: *Fromm E. Op. cit.* P. 31.
  - <sup>24</sup> См.: *Borch-Jacobsen M. Le sujet freudien*. P., 1982.
  - <sup>25</sup> Исключение в этом плане составляют небольшие фрагменты в трех работах Лакана — «Введение к комментариям Жана Ипполита по поводу „Отрицания“ Фрейда», «Четыре фундаментальных понятия психоанализа» и «Сочинения Фрейда по технике психоанализа». См. об этом: *Chertok L. Suggestio redidiva*.

- <sup>26</sup> Как свидетельствует Ф. Рустан, лакановский семинар был воплощением «лакановской иллюзии». Бок о бок работали, как одержимые, математики и философы, лингвисты и психологи, они вгрызались в непонятные тексты в поиске тех концептуальных нитей, которые могли бы привести их к синтезу,— живой гарантией его возможности и достижимости казался сам Лакан. Наговоренные Лаканом тексты записывались на магнитофон, передавались из рук в руки как величайшая ценность, доступная лишь посвященным и возвышавшая участников семинара в собственных глазах. Лакан искусно создавал чувство всеобщей сопричастности общему Делу, однако, пока ученики, пытаясь проникнуть в тайны бессознательного, читали, расшифровывали, пытались сложить усилия и стать сильными, господство мэтра не кончалось, а интеллектуальный проект терялся в личной зависимости.
- <sup>27</sup> См.: *George F. Op. cit. P. 144.*
- <sup>28</sup> Неоднократно отмечалась «аскетичность» лакановской интерпретации желания (*George F. Op. cit. P. 92—94*) и «негедонистический» характер лакановской этики (См.: *Lacan J. Séminaire. P., 1986. Т. 7*).
- <sup>29</sup> См.: *Lacan J. Ecrits. P., 1966. P. 52—53, 68—70, 463—464.*
- <sup>30</sup> *Ibid. P. 265, 379, 469, 549, 628, 632—634, 654, 814—815, 839.*
- <sup>31</sup> Об Эдипе как вторичной, нормализующей функции идентификации см.: *Ibid. P. 98, 115—119, 182 etc.* См. также: *Pichon É. La famille devant Lacan // Confrontation. 1980. N 3. P. 179—207; Lacan J. Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse // Ecrits. P. 278; Idem. Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien // Ibid. P. 812, 813, 816; Idem. Position de l'inconscient // Ibid. P. 849. См.: Interpreting Lacan. L., 1983. P. 13, 21, 22.*
- <sup>32</sup> Эта невещественность подчеркивается любопытной смысловой и фонетической игрой: по-французски «имя» (nom) и отрицание «не» (non) звучат одинаково, а значит «Имя-отца» это то же, что и «Не-отец», отрицание отца. Кроме того, «имя отца» — это частица известной религиозной формулы «Во имя отца и сына и т. д.». См.: *Muller J. P. Language: Psychosis and the subject in Lacan // Interpreting Lacan. P. 22; Pujol R. Sur l'emprise verbale du Nom-du-Père: Froidipous. Lacan // Confrontation. 1980. № 3. P. 41—50.* В этом смысле Фрейд и Лакан опосредованы по меньшей мере Б. Малиновским и К. Леви-Строссом, в работах которых универсализм Эдиповой схемы и Эдипова треугольника как структуры семьи подвергался постепенно все большей релятивизации и функционализации.
- <sup>33</sup> Аналогичный сдвиг наметился и у Лакана в поздний период. Так, если программным манифестом концепции структурного психоанализа, опиравшегося на языково-символические структуры, была первая Римская речь под заглавием «Поле и функция речи и языка в психоанализе» (1953), то вторая Римская речь, произнесенная на конгрессе 1974 года, именовалась «Реальное» («Третье»), что радикально меняло порядок значимостей и предпочтений: исключенное из рассмотрения, «невозможное» становилось главным объектом исследования.
- <sup>34</sup> См.: *Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie: L'Anti Oedipe. P., 1972. Ср.: Попова Н. Г. Французский постфрейдизм: Критический анализ. М., 1986.*

- 35 Замысел работы четко определен самими авторами. См.: Antipsychiatrie, antipsychanalyse: Entretien avec F. Guattari // Mag. litt. 1976. Mai. P. 28—31; Entretien 1980 (C. Clément — G. Deleuze) // Arc. Deleuze. Nouv. ed. 1980. N 49. P. 99—102; Sur capitalisme et schizophrénie: Entretien avec F. Guattari et G. Deleuze // Ibid. P. 47—55; Les intellectuels et le pouvoir. P. 3—10; etc.
- 36 Antipsychiatrie, antipsychanalyse. P. 30.
- 37 Ibid.
- 38 Ibid.
- 39 Цит. по: Berçu F. Sed perseverare diabolicum // Arc. 1980. N 49. P. 24.
- 40 Ibid. P. 23. (Из лекции Делёза 20 февраля 1971 г.).
- 41 Об этом убедительно писал Э. Фромм применительно к трактовке психоанализа у Маркузе (см.: Fromm E. The crisis of psychoanalysis. P. 16—17). Так, Маркузе возводит понятие политического угнетения к бессознательному психическому вытеснению и использует далее понятие «подавления» в неспециальном смысле слова для обозначения как сознательных, так и неосознанных, как внешних, так и внутренних процессов — ограничения, принуждения, подавления, тогда как для Фрейда главное — это бессознательное динамическое подавление. По мнению Э. Фромма, такие концептуальные превращения придают метафизическую окраску понятиям, введенным Фрейдом для экспериментально-научного изучения.
- 42 Ср. призывы Р. Дебре разрушить все готовые инструменты и средства политического действия и начать «с нуля». Впрочем, Дебре неискоренимо пессимистичен относительно самой возможности освобождения от психоаналитической и психиатрической мыслительной схематики: каждое новое поколение в политической истории общества «болеет заново», т. е. вновь «изобретает» истерию идентификации, коллективные галлюцинации, сектантские шизофрении, паранойи «защиты» и т. д. и т. п. Подобно подростку, который учится любить, каждое общество заново изобретает политику так, как если бы она никогда ранее не существовала. См.: Debray R. Critique de la raison politique. P., 1981. P. 58.
- 43 Moscovici S. L'Age de fous. P., 1981; Edelman B. L'Homme de fous. P., 1980. См. также: Contat M. Retour de la psychologie des fous? // Monde. 1981. 6 nov. P. 15; Jaccard R. Op. cit. P. 15.
- 44 См.: Roudinesco E. La bataille de cent ans // Histoire de la psychanalyse en France, P., 1986. Vol. 1, 2.
- 45 См.: Lacan J. Ecrits. P. 257.
- 46 Деятельность бессознательного определяется как взрывная по отношению к любой власти, к любой политике «Отца» как авторитета. См.: Major R. L'Inconscient: une décision politique // Confrontation. 1980. N 3. P. 175—178.
- 47 См.: Clément C. B. Le pouvoir des mots: Symbolique et idéologique. P., 1973; Godelier M. Pouvoir et langage // Communication. 1978. N 28; Coppale D., Gardin B. Discours du pouvoir et pouvoirs du discours // Pensée. 1980. N 209. P. 99—133; Langage et politique. Bruxelles, 1982.
- 48 Peursen C. A. Language politics in cultural perspective // Langage et politique. P. 41.

# ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРЫ

(политическая семиология Р. Барта)

М. К. РЫКЛИН

Радикальность семиологического проекта Ролана Барта<sup>1</sup> — в стремлении написать историю литературной политики одного класса — буржуазии, ограничивая свой поиск анализом историчности политического отношения литературных производителей к средствам труда и его продуктам (используемому языку и идеологии романной формы, например). Власть буржуазии представляется ему значительно более глубоким явлением, чем институты представительства и репрессии, в которых она внешне локализована и которыми соблазнительно ограничить сферу политического в современном западном обществе.

В политической семиологии Р. Барта развивались два разных представления о буржуазии как классе и ее активности в языковой сфере. В первом из них буржуазия выделялась в качестве класса, проводящего определенную литературную политику, носителя знаков литературности, которые противостоят литературным проявлениям угнетенного класса. Видимость самоустранения буржуазии из политических институтов общества объясняется Бартом тем, что «буржуазия — это политический класс, который не хочет быть названным»<sup>2</sup>. Франция, по его выражению, буквально купается в этой анонимной идеологии, на нее работает все: пресса, кино, мода, театр, разговоры о погоде, школьные диктанты и т. д. и т. п. Практикуемые в национальном масштабе буржуазные нормы переживаются общественным сознанием как очевидные; причем, чем шире буржуазия свои представления распространяет, тем в большей степени они «натурализуются». Это упразднение истории, выхолащивание содержания реальных классовых конфликтов предопределяет литературную политику: литература работает здесь как «машина по упразднению времени», или как миф. Миф же есть «деполитизованная речь».

Но если миф, будучи результатом литературной по-



литики господствующего класса, представляет собой радикально деполитизованную речь, то существует язык, который мифическим не является: это язык человека-производителя. Везде, где с помощью речевой практики мир изменяют, а не сохраняют в виде образа, где язык прямо связан с изготовлением предметов, метаязык, каковым является миф, становится невозможным. «Вот почему по-настоящему революционный язык не может быть мифическим. Революция — это по определению катарактический акт, цель которого состоит в раскрытии политической заряженности мира. Она мир создает, и ее язык без остатка поглощен процессом созидания. Потому-то революция и производит в полной мере политическую речь»<sup>3</sup>. Но как овладеть «политической заряженностью мира», как преодолеть анонимность деполитизованного языка буржуазии, языка-мифа, и выйти в пространство языка производящего?

Ответы на эти вопросы Барт ищет не столько в критике «политического языка» господствующего класса (лозунги, партийные программы, грамматика предписаний и законов), сколько в самом языке, данном в очевидности его повседневного потребления, который представляется носителем внеклассовым образованием, естественным и вечным источником возможных суждений о мире. Сила буржуазности так велика в западных обществах, что она явлена не просто в каких-либо видимых знаках (персонификациях) классового господства: власть записана в языке. «Власть, заключенная в языке, незаметна нам, потому что от нас ускользает то обстоятельство, что всякий язык классифицирует, а классификация — это тирания»<sup>4</sup>. Только воспитанная привычка не обращать внимание на грамматическую структуру высказываний заставляет речевую деятельность выглядеть невинным проявлением коммуникации. До того как стать мыслями, политические и иные идеи уже оформлены грамматически, но их языковое выражение не безразлично тому, что с его помощью впоследствии что-то утверждают содержательно. Другими словами, язык не является простым орудием содержания, он активно это содержание производит. Вот почему литература не может существовать в особом утопическом мире и вне власти, оставаясь языковым образованием, вести независимую от политического измерения жизнь. Это достаточный повод для Барта, чтобы из традиционного историка литературы превратиться в историка семиотических политик определенного класса,

или, как выражается он сам, стать историком самых коварных знаков, которыми общество метит писателя: знаков очевидности.

## 1. Власть и эволюция знаков литературности

Политическая семиология Барта изобилует историческими датами, однако это пристрастие к фактографии не следует поспешно отождествлять со стремлением к объективности. Цель использования дат в данном случае иная — демонстрация того, что мысли имеют возраст, что они неотделимы от породившего их опыта историчности. Причем в истории мысль участвует не только и не столько своим содержанием, сколько способом записи и классификации знаков, всей совокупностью ее грамматических преобразований.

В работе «Нулевая степень письма» Бартом намечаются три этапа «раскола буржуазного сознания»: письмо как созерцание мира (классическое письмо), письмо как производство («флоберизованное» письмо) и, наконец, начавшаяся с Малларме деконструкция письма и обнажение идиосинкратичности писательского стиля (проявления «природности» индивидуальной телесности его носителя). Эти этапы фиксируются датами в истории «знаков литературности». Одна из ключевых дат — 1660-й год, когда «ясность» в выражении мысли усилиями риториков и грамматиков была поставлена во главу угла и тем самым был подведен языковедческий фундамент под универсализм новой литературной формы — классического письма. Единство классического письма определяется его инструментальностью (подчинением формы содержанию) и орнаментальностью (множеством заимствованных из традиции риторических фигур, «„декораций“, на фоне которых возвышался мыслительный акт»)<sup>5</sup>. Еще у Рабле и Корнеля это письмо не приобрело черт обрядовости, не стало общеобязательным. «Действительно, — пишет Барт, — до тех пор, пока язык колеблется относительно своей собственной структуры, появление какой бы то ни было языковой морали остается невозможным...»<sup>6</sup> Только благодаря строгой кодификации норм французского языка в противоположность «случайности исторических обстоятельств», благодаря представлению о вневременном разумном основании языка (перенесении постулатов рационализма в сферу языкового поведения) и возникло классическое письмо как «универсальная» ценность, как норма и при-

мер для подражания. В 1647 году это письмо мыслится как частная «языковая мораль» правящей группы, а через какие-нибудь десять лет пропагандируется как «язык для всех».

Между тем ясность — это свойство языка, нацеленного исключительно на убеждение, успешно культивировавшегося в сфере судопроизводства, религиозного и светского красноречия, бывшего языком нарождающегося придворного этикета. Этот-то язык изымается из исключительного употребления профессиональных риториков и носителей правильной речи, перестает быть языком общения лишь для определенных слоев аристократии и буржуазии и авторитарно объявляется всеобщим достоянием, в том числе достоянием тех, кто не имеет к обладанию «правильным» языком ни малейшего интереса, потому что своим общественным положением предопределен к роли убеждаемого, но никогда не убеждающего. Это был глубоко политический акт. Только в пространстве языка как риторически законченной системы и возникает фигура носителя истины правильной речи, которая почти на два века становится политической истиной (фигура просвещенного правителя). «Политический авторитаризм, догматическая власть Разума и единство классического языка — вот три проявления одной и той же исторической силы»<sup>7</sup>, — замечает Барт.

Разнообразие жанров в пределах классического письма — явление эстетического, но не структурного порядка. Новая языковая мораль активно приписывает знакам чисто декоративную функцию, считая их простым «выполнением» возникающих в безъязыковой среде мыслей, причем эстетика берет на себя функции цензурной инстанции, становится частью системы философского обуздывания языка (вплоть до «запрета» на его использование в особо важных случаях). Литература все больше сводится к прикладной риторике (риторике чувств); система традиционных тропов и «сработанных» эстетическим каноном стихотворных и прозаических форм развивается в логике своеобразных «литературных матрешек» (рассказ, например, вкладывается в повесть, повесть — в роман, романы составляют цикл и пр.).

Политические последствия становления классической языковой нормы становятся все более ощутимыми. Действительно, от декоративного письма нельзя отделить триумф буржуазии в сфере духовного производства. С момента своего зарождения интеллектуальные притязания бур-

жуазии были как бы резервуаром социальной эйфории восходящего класса, настаивающего на всеобщности своих классовых интересов. Этот тип письма делает ставку на коммуникацию, на беспредельную сообщаемость и прозрачность облаченных в знаки, как в виньетки, мыслей. Литературой в современном смысле слова (дата появления которой на свет диагностируется Бартом — это революция 1848 г.) классическое письмо могло быть лишь случайно, — в результате отклонения от идеала (Гёльдерлин, Блейк, отчасти поэзия Гюго); чем ближе к идеалу, тем менее вероятно ускользание знаков от цензуры мысли. По мнению Барта, в беспредельной коммуникативности этого языка записаны все «театральные эффекты» классики: от «грамматических экстазов» Расина и орфоэпии актеров до «вдохновения» как спонтанного одевания мыслей в слова и «гения» как фигуры такого одевания.

Неудивительно поэтому, что в XVII и XVIII вв. «система безопасности изящной словесности» обнаруживается не только на уровне содержания, но и на формальном уровне, орудийном. В эту систему входят например, построение универсального времени рассказчика за счет употребления простого прошедшего времени (вышедшего во французском языке из устного употребления, как бы выведенного за скобки истории). От систематического употребления простого прошедшего времени неотделима процедура наррации, противостоящая хаосу случайного исторического времени (фиксация причинно-следственных связей между описываемыми событиями, наблюдаемыми рассказчиком извне, панорамно); привилегированное употребление этого «письменного» времени служит алгебраическим символом упорядоченности, проницаемости мира, в котором литература имеет статус орудия социально привилегированного общения. В литературе дремлет «лик демиурга — бога или рассказчика». Рассказчик и его вездесущность задается по определенным правилам, с помощью серии грамматических приемов, до и независимо от записываемого с их помощью содержания. «Все это следует поставить в связь с мифом об универсальности данного мира, свойственным буржуазному обществу, характерным продуктом которого является роман...»<sup>8</sup> Так же не случайно и то, что «актом приобщения к социуму», учреждающим литературу в ее классическом понимании, Барт считает роман, который наряду с историческими описаниями является основной формой наррации. Именно в романе

нашла детальное выражение реляционная природа классического письма, его ориентированность на словарные значения слов, а не на значения, спонтанно возникающие из самой «плоти слов». Согласие писателя с обществом прочитывается в знаках романа, так как «общество, — еще раз напоминает Барт, — метит писателя совершенно определенными знаками»<sup>9</sup>.

Революция 1848 г. решительно отбрасывает претензию классического письма на универсальность. Кризис классического письма нельзя понять из самого письма, вне изменения положения буржуазии в рамках капиталистического общества, вне утраты ею революционного пафоса, позволявшего ей выполнять интеграционную функцию в отношении всего общества. Буржуазия после революции 1848 г. из универсального класса становится одним из классов, приватизируется; проступает ее частный интерес в сохранении идеи «всеобщности», и одновременно становится ясным, какой класс и почему культивировал классическое письмо и каким интересом он руководствовался. Ясным это становится потому, что по независимым от литературы причинам обнажается историчность классического типа письма, которое оказывается одним из видов письма, т. е. приватизируется так же, как и его носитель. В этом смысле изменение экономического статуса класса — носителя определенных знаков литературности имеет прямые последствия для этих знаков и делает историчным то, что изнутри переживается как мораль формы (часто даже как невроз формы). После 1848 г. форма теряет свою прозрачность, отвердевает, активно утверждается как способ, каким писатель относится к истории, «принимает или отвергает свое буржуазное положение»<sup>10</sup>.

Барт пытается осмыслить происшедшую приватизацию классического письма в терминах политэкономической теории Маркса (что потом многократно повторяли его последователи <sup>11</sup>). Если классическое письмо имело лишь потребительную стоимость, то новый тип письма, зарождение которого датируется серединой XIX в., имел ярко выраженную меновую стоимость, был затратой определенного количества труда, поддающегося измерению в единицах рабочего времени. У классического письма, по словам Барта, «не было хозяина», язык представлялся всеобщим достоянием, и, так как в его рамках различалось только «мышление» писателей, форма имела «лишь потребительную стоимость»<sup>12</sup>. Но когда гению декоративной формы была откровенно противопоставлена в лице

Флобера стоимость вложенного в письмо труда, торжествует сознание условности, произведенности формы, явление, которое Барт называет «флоберизацией письма». Хотя разница в мышлении между Бальзаком и Флобером была невелика, они оказались носителями разного отношения к форме, более того, между ними, по мнению Барта, проходит водораздел классического и неклассического отношения к орудиям письма. Сознание обусловленности, произведенности формы возникает не в социальном вакууме — оно было бы невозможно без преодоления буржуазного мифа о Человеке. От Флобера берет начало целая плеяда писателей, которые «практиковали письмо как средство демонстрации ремесленнических операций»<sup>13</sup> и «выделявали» язык, внятно говорящий о своей стоимости, писателей, для которых хорошо писать значило умело кроить слова внутри фразы, добываясь так называемого «экспрессивного ритма». Это великое новое письмо, представленное именами Готье, Доде, Золя, Жюль, Вальери, утверждало форму как ценность, неподвластную истории наподобие ритуального языка священнослужителей.

Главный вывод, который делает Барт из анализа «флоберизованного письма»: нельзя разрушить классический тип литературы, оставаясь в прежней области выражения, применяя репродуктивное письмо, или, другими словами, просто изображая, чем собственно и гордилась эта литература. Совершенствование орудий литературного мастерства не способно преодолеть отношение к языку как к орудию торжествующего содержания (инструментальность), не способно преодолеть диктат социальности, сделать литературу в полной мере критической по отношению к буржуазному обществу. Устремленность к конструированию языковых утопий, во-первых, прямо связывается с кризисом, переживаемым капитализмом в середине XIX в., а во-вторых, определяется как событие в своей основе политическое. Профетизм письма, фиксируемый средствами литературы, нарастает по мере утраты буржуазией монопольного положения в области духовного производства.

Подлинное упразднение ритуала литературности — дело рук Стефана Малларме. Барт констатирует, что выдвинутый Малларме лозунг «нужно изменить язык» близок лозунгу К. Маркса «нужно изменить мир». Малларме, как и его последователям в прошлом и настоящем, политического слуха не занимать<sup>14</sup>. Практика маллармеизма подрывает функциональность и реляционность классического

использования языка: за грамматическими ухищрениями остается всего лишь просодическая задача — явить слово во всем богатстве его возможностей. В этом превратившемся во вторую природу слове пересекается социальная функция языка, слово берет на себя целый фейерверк, пучок смыслов, работающих одновременно и на разрыв. Это новое письмо ничего не передает, ни с кем не коммуницирует, вместо этого оно «решительно поворачивается лицом к объективному миру, не заслоненному образами, которые создаются в ходе истории и социального общения»<sup>15</sup>. Коннотативные, несловарные значения слова получают перевес перед общеупотребительными, словарными денотативными смыслами. Начинается деконструкция всей системы литературных жанров, имевшая своим основанием инструментальное использование языка, следовательно подразумевавшая примат мысли (как контролирующей язык инстанции).

И хотя Барт признает, что «именно власть (или борьба за нее) порождает наиболее характерные типы письма»<sup>16</sup>, контекст его рассуждений не оставляет сомнения в том, что революционность в литературе никак не связана с социальной революцией. Более того, политическое письмо как жанр представляется ему банальным, неискоренимо классичным по своей интенции.

Здесь корень двойственности позиции Барта, проходящей через все его работы: с одной стороны, революция в письме является чем-то «полным», в себе завершенным, ни в чем внешнем не нуждающимся, это текстуальный аналог социальной революции; с другой стороны, присутствует сознание того, что раскол внутри языка неотделим от классового раскола общества и что без «действительной универсальности» создание универсального языка является фикцией.

В «Мифологиях» и «Нулевой степени письма» Барт полагал, что всякий эксперимент с языком упирается в целый ряд социальных констант: например, в константность интеллектуального рынка и читающей публики, роль последней отнюдь не ограничивается пассивным потреблением литературной продукции. С другой стороны, апелляция к публике неизбежно ограничивает писателя «рамками той или иной условной формы» и не дает ему «считать себя до конца социально ответственным»<sup>17</sup>. Может быть, задавался в те годы вопросом Барт, литература в любой ее форме существует как эманация читающей публики (которая буржуазна), как ответ на запрос неумолимого

рынка, который сам устанавливает, что, для какого слоя и в какую эпоху приемлемо как горизонт социального бытия? Более того, нет письма, которое в качестве письма было бы перманентно антибуржуазно, так как та же публика, по крайней мере ее существенная часть, остается крупнейшим поставщиком самой идеи асоциальности, которую материализует авангард. В «Мифологиях» Барт бросает литературному авангарду очень серьезный упрек в том, что он имеет буржуазные корни, буржуазную аудиторию и финансовую поддержку от буржуазии. Каковы причины подобной благосклонности? Замена политических требований эстетическими и нравственными. «Если авангард чего-то не переваривает в буржуазии, так это ее язык, но не ее (политический. — *М. Р.*) статус. Это не значит, что он этот статус обязательно одобряет, но он заключает его в скобки... он в конце концов основывается на допущении Вечного Человека»<sup>18</sup>. Письмо как «рефлексия писателя относительно социального использования формы» на проверку оказывается превращенной формой закономерностей иного рода, которые оно не властно изменить хотя бы потому, что является их продуктом<sup>19</sup>. Поэтому для Барта то, что революционно, а что нет, заново определяется едва ли не в каждой его работе, а то и в одной работе несколько раз. Однако общее изменение взглядов опять-таки увязывается с крупными политическими событиями в истории Франции, с такими датами, как 1945 г. и 1968 г. Это не просто события в «большой политике», но даты, положившие начало серьезным интеллектуальным переменам. С 1945 годом совпадает, по мнению Барта, исчезновение мифа о великом французском писателе как уникальном хранителе высших интеллектуальных и эстетических ценностей. На смену ему приходит новый тип пишущего: писатель? интеллектуал? скриптор? (т. е. просто пишущий, создатель текстов). И то и другое и еще что-то, что не охватывается этими понятиями и подрывает традиционное понимание литературного труда (авторство, гений, вдохновение).

События мая 1968 г. во многом были вызваны кризисом системы образования во Франции. «Литература десакрализована, — приходит к выводу Барт, — ей не может быть обеспечена защита со стороны институтов... литература не лежит в руинах, но она уже не находится под охраной. Более удобного момента для занятий литературой не придумаешь»<sup>20</sup>. Именно в результате кризиса 1968 г. семиология пережила существенную трансформацию, сохранив



вместе с тем свой предмет — политику, «ибо другого предмета ей не дано». Барт не оставляет без внимания еще одно обстоятельство, а именно то, что увеличение числа оппозиционных групп во Франции после 1968 г. привело к тому, что они стали работать как «своеобразные группы давления, подхватывающие от своего имени дискурс власти». Из этого положения дел политическая семиология делает вывод: «В контексте тогдашних мелких политических интриг текст предстал как подлинный символ пребывания вне власти.. текст... затягивает в атопическое, не поддающееся классификации место, вдали от пространства политизированной культуры»<sup>21</sup>.

Такова политическая подоплека переориентации семиологии в конце 60-х годов. Историческая задача интеллектуала-писателя теперь начинает мыслиться не как разрушение общества, а как разложение изнутри буржуазного сознания, причем это разложение во все большей степени противопоставляется лозунгам разрушения. Ведь для того, чтобы буржуазное сознание разрушить, нужно выйти за его пределы, а «такая внеположность возможна только в революционной ситуации»<sup>22</sup>, а к тому же — и это очень важно — язык разрушения всегда догматический язык, социальная революция (о чем Барт писал и раньше) порождает новую догматику языка. То, что в 50-е годы мыслилось им как дополнительное — письмо или временный слепок с социальной революции или ее преддверие, — в 70-е годы начинает представляться Барту совершенно иначе: макрореволюционные преобразования видятся как неизбежная рутинизация серии точечных текстуальных микрореволюций.

## **2. Власть и безвластие в литературе. Фетишизм текста**

Новое понимание революционности ориентирует политическую семиологию на систематическое разложение того, что выражает квинтэссенцию буржуазности: иерархия языков, закреплённая в системе жанров, и подосновы этой иерархии, наррации или повествования (рассказа, сказа). Наррация как дискурс, говорящий от имени истины, прочитывается семиологией как дискурс власти. В буржуазной культуре все стремится принять форму наррации: кетч — это рассказ, мода — это описание, стриптиз — это повествование и т. д. Цель наррации — почер-

пнуть свое основание извне, сделать его «естественным», указав на то, что все имеет свое начало и конец. От нарративности неотделима органическая метафорика, производная от представлений о вызревании и порядке, со скрытой за ним фигурой Законодателя. Проблема повествования — это проблема естественно предсущего начала, основания (не условного, придуманного специально для такого случая бутафором-писателем); проблема живой первоосновы мира, надежного резервуара родовых представлений, которые не нуждаются в воссоздании или обновлении — их достаточно потреблять. Стратегия наррации развивается в рамках основной содержательной формулы власти, как ее понимает Барт. Власть, по его мнению, всегда заявляет — «я естественна», «я имею только потребительную стоимость». В отличие от текста, который сам производит условия собственной возможности и в этом смысле радикально случаен, повествование является отражением иного через участие в этом ином. Только текст строит себя как полный, действующий слепок с социальности. Барт подводит наррацию под раскритикованную Марксом и Энгельсом созерцательную позицию предшествующей философии. Наррация всегда «правдива», как все то, что стремится просто отражать. Революционный порыв, «великое Нет» возможно, однако, лишь в пределах наррации. Для того, чтобы объявить миру о его тотальном неприятии, необходимо использовать язык инструментально, т. е. быть в этом отношении на стороне власти. В подлинно революционном письме, по Барту, которое и есть сама революция, нет достаточного пространства, чтобы провозгласить Революцию (социальную). Не случайно писатель, относящийся к языку инструментально, всячески маскирует инструментальность ссылкой на общественный долг, приверженность той или иной эстетической доктрине (школе), даже физической неспособностью не писать. Обычно для борьбы с идеологией писатели используют языковой арсенал, наработанный той же идеологией, не видя в этом противоречия.

Барт вынужден признать, что современный производитель текстов живет в обществе, разделенном на классы, что он только и возможен в обществе, разделенном на классы и в силу этого лишен какой-нибудь возможности контролировать условия потребления своего текста. Политическая семиология не случайно концентрирует внимание на индивидуальном производстве текстов. Но, несмотря на декларативное противостояние текстового

производства законам интеллектуального рынка, сам этот рынок, как показывает уже опыт сюрреализма, начинает работать против «освященных» форм обмена, в нем выделяется отрасль, специализирующаяся на сбыте, рекламе и пропаганде таких произведений. Та же буржуазная мифология, о которой писал Барт, успешно «означивает» подобные тексты, сообщая им, помимо воли их авторов, вполне определенный социальный смысл. Новизна такого рода произведений начинает диктоваться требованиями рынка, калькуляцией вкусов потенциальных покупателей, зондажем, пробными тиражами и т. д. «Что касается текста, — признается Барт, — то он атопичен по способу производства, но не по способу потребления»<sup>23</sup>. Поскольку автор не контролирует условия потребления своих произведений, его намерения на уровне потребления не имеют значения, рынку достаточно сделать массовым что угодно, любые ценности, подыскать для них потребителя или разные слои потребителей, и они тем самым будут приравнены к другим ценностям, сбываемым на том же рынке. Кроме того, сама публика побуждает автора отречься от внетекстуального существования. Другими словами, индивидуальная асоциальность может укладываться во многие стратегии социальности, более того, должна порождаться как минимум одной из таких стратегий. Не только режим потребления, но и способ производства текстов остается индивидуальным по историческим, социальным причинам, которые трансформируются только в результате социальной революции.

Но что такое производство текста и в какой мере читатель (в отличие от автора) участвует в нем, если можно вообще говорить об «участии» читателя в традиционном смысле? Ответ на этот вопрос можно найти в известной статье Барта «От произведения к тексту», где он пытается сформулировать различие между текстом и произведением.

«Подобно тому как эйнштейновская наука, — замечает Барт, — требует включения в изучаемый объект относительности точек отсчета, так приложение методов марксизма, психоанализа и структурализма к литературе требует релятивизации отношений пишущего, читателя и наблюдателя (критика)»<sup>24</sup>. Для этого необходимо заменить понятие произведения понятием текста. Текстами являются не только произведения современной литературы (в основном авангардистской). «Порой очень старое произведение может заключать в себе „некий текст“, тогда как многие произведения современной литературы таковы-

ми не являются. Разница здесь следующая. Произведение есть что-то конкретное, заполняющее часть книжного пространства (например, в библиотеке); напротив того, текст представляет собой методологическое поле. Тем не менее Барт проводит существенное различие между классическими и современными текстами. Первые, утверждает он в работе «Удовольствие от текста», могут читаться частями, отрывками, последние нуждаются в интегральном прочтении. Произведение можно держать в руке, текст же существует только в языке как дискурс (речевая практика). «Опыт текста приобретается только в процессе деятельности, в производстве»<sup>25</sup>. Текст не входит как составная часть ни в какую иерархию жанров, более того, подрывает любую иерархию. «Текстом управляет не логика постижения (стремление установить, „что произведение означает“), но метонимическая логика ассоциаций, применений перекрестных ссылок... Произведение в лучшем случае умеренно символично (его символизм „выдыхается“, „затухает“), текст же символичен радикально. Произведение, чья интегральная символичность понимается, воспринимается и принимается, есть текст»<sup>26</sup>. Всякий текст представляет собой часть интертекста.

С анализом текста Барт связывает и десакрализацию понятия автора. Это понятие существенно для произведения, но не для текста. Автор такой же гость своего текста, как и все другие, как один из героев романа, читатель, критик. «Он становится „бумажным автором“: его жизнь уже не объясняет происхождения его сюжетов, но сама становится сюжетом, который развивается одновременно с произведением. Все переворачивается, и теперь произведение влияет на жизнь, а жизнь на произведение. Одновременно искренность сообщения, бывшая настоящим „камнем преткновения“ литературной морали, становится псевдопроблемой: ведь пишущее текст „я“ никогда не является чем-то большим, нежели бумажным „я“». «Я люблю текст потому, — поясняет Барт, — что для меня он является тем редким пространством языка, в котором нет никаких „сцен“ (в бытовом, семейном смысле этого слова), никакой логомахии»<sup>27</sup>. Некоторые критики упрекают гедонистов от литературы, сторонников идеи наслаждения текстом в «правом уклоне», не желая принять во внимание, как считает Барт, то обстоятельство, что текст революционен и асоциален одновременно. «Явная возмутительность текста удовольствия связана не с тем, что он аморален, а с тем, что он атопичен»<sup>28</sup>. Или

еще: «В войне языков могут случаться моменты затишья — это и есть тексты»<sup>29</sup>. Язык, образующий произведения, в понимании Барта всегда локализован, всегда определен своим отношением к политической власти. Язык, развивающийся под сенью существующей власти, находится в состоянии постоянной войны за гегемонию с языком, положение которого противоположно. Барт, комментирует исследователь его творчества Кальве, «предлагает здесь языковое видение социальных конфликтов, ибо такая война языков может быть лишь войной социальных групп, говорящих на этих языках»<sup>30</sup>. Барт предупреждает, что «наивны» те люди, которые полагают, что существует некая одна власть, противостоянием которой можно ограничиться. С большим основанием, чем изгнанные Иисусом демоны, власть, по мнению Барта, может сказать: «Имя мне — легион». «...Дискурсом власти я называю всякую речевую практику, которая порождает чувство вины у того, кто является ее адресатом»<sup>31</sup>. Не следует заблуждаться относительно корней власти: они глубже политики, они уходят в «фашистскую» природу самого языка. Язык «не является ни реакционным, ни прогрессивным, он является, попросту говоря, фашистским, ибо фашизм состоит не в том, чтобы мешать говорить, а в том, чтобы говорить заставлять»<sup>32</sup>. Никакая власть не мыслима вне присущей языку энергии утверждения, вне авторитарности утверждающего и стадности повторяющих. Как, спрашивает себя Барт, прорвать то, что современный французский философ и культуролог Жиль Делёз называет «реактивным манто» языка? Как Барт предлагает обрести язык вне власти?

§ Ответ на этот вопрос известен Барту: через искусство, в частности через литературу. Благодаря тексту мы оказываемся за пределами власти. «Текст имеет (точнее, должен иметь) сходство с несколько развязной особой, которая поворачивается к Отцу-Политику задом»<sup>33</sup>. И это делает возможным получение удовольствия, даже наслаждения (у Барта это не одно и то же: удовольствие носит культурный, а наслаждение природный характер, тексты удовольствия являются излюбленным объектом критических комментариев (Пруст, Стендаль), тексты наслаждения парализуют любые возможные комментарии, постижимы только изнутри наслаждения и т. д.).

Свою теорию удовольствия Барт считает «радикально материалистической», ссылаясь при этом на опыт «редких материалистов прошлого — Эпикура, Дидро, Сада,

Фурье, — которые не скрывали своего эвдемонизма». Без этого неизбежно возвращение от текста к морализированию о намерениях его создателя. Только гедонизм дает возможность этого избежать. Одно из требований гедонизма — отказ от создания радикально неидеологического текста. «Некоторые хотят текста без тени, текста, отрезанного от „господствующей идеологии“, но это все равно, что желать неплодородного, непродуктивного, стерильного текста (вспомните миф о женщине без тени). Текст нуждается в своей тени. В этой тени немного от идеологии, немного от представления, немного от субъекта...»<sup>34</sup> Официальная культура посмертно или при жизни художника ассимилирует его тексты, и с этим нельзя не считаться: язык власти всесилен в своей области, язык литературы — в своей, считает Барт.

В 70-е годы Барт явно стал ждать от индивидуальной асоциальности писателя, закрепленной в ряде методологических процедур, слишком многого. Утверждая, что повторение под видом разнообразия заложено в природе языков власти и что, следовательно, «стереотип является политическим фактом, основной идеологической фигурой»<sup>35</sup>, исключаящей наслаждение, он сконцентрировал свои усилия на отказе от стереотипа любой ценой. Он сделал ставку на асоциальность удовольствия, и тогда противоречие между материализмом и идеализмом, реформизмом и революционностью отодвинулось в тень перед «подлинным» противоречием: между правилом и исключением. «С правилом связано злоупотребление, с исключением — наслаждение»<sup>36</sup>. Подлинным политическим выбором в сфере идеологии представляется ему остановка языка, разрушение фразовой формы. Именно «религиозное» отношение к фразе отчуждает французов от текста, от удовольствия, и этот «обскурантизм удовольствия» также носит, по Барту, политический характер. Фраза имеет иерархическое устройство, она делает естественными субординацию, коррекцию, подчинение. Фраза — по необходимости законченное образование, потому что иерархическая система не может оставаться открытой. В этом пункте лингвистическая теория сильно отличается от практики (первая, например, в лице Хомского<sup>37</sup> признает фразу бесконечной, но на практике мы всегда вынуждены заканчивать фразу). Любое законченное высказывание рискует оказаться идеологичным. Взгляните, пишет Барт, на писателя, преподавателя, политика, — кто они? Агенты фразы. «Политик, у которого берут интервью,

напрягается, чтобы домыслить окончание фразы. А что если бы он не домыслил? Это отразилось бы на всей его политике»<sup>38</sup>.

На место фразы Барт ставит то, что можно назвать голографическим принципом: тотальность целиком записана в любой части текста. Дофразовая материализованность письма интересует Барта потому, что через нее целостность смысла проникает в мир как случайность, обреченная потребляться в качестве необходимости. Материалистическая теория субъекта выражается в десубъективации письма, это «теория» субъекта как идеологического аспекта, на который обречен проецироваться смысл, и в этом отношении она несовместима с представлением о самостоятельности субъекта, по своему произволу конституирующего смысл, т. е. так, как субъект понимается в феноменологии, персонализме и т. д. Если за спиной пишущего не стоит никакой всесильный «творец», то акт письма, акт радикально «своевольный», всего лишь производит целое как необходимое паразитарное образование.

Здесь выявляются причины нелюбви Барта к аналогии как к системе господства над письмом со стороны смысла, стремящегося предназначить единоразовый акт письма к многообразному употреблению. Не случайно любая система риторики построена на аналогии. Тогда как «точечность» текста радикальна, тотальность обитает в его пустотах, в промежуточном пространстве. Отсюда бартовский культ единичного, материализованной детали. Конкретность достигается не нагнетанием, накоплением абстрактных определений, но разом, рывком и — без использования правил; целое не синтезируется из фрагментов, правильно расположенных хитроумным манипулятором, оно — продукт единичного. Радикальная прерывность текста противостоит очевидности номинации как выведению письма из дисперсного состояния, как приостановке броуновского движения знаков. От развенчания целого как совокупности продуктивных образований, потребляемых независимо от процесса их производства, неотделим принципиальный фетишизм Барта, культ материализованной детали в политической семиологии. Поэтому образцом интеллектуальной честности представляется Барту постоянно указывать возраст своих мыслей, включение их в систему монтируемых и демонтируемых деталей. Он тем самым дает понять, что он сам, автор, не есть гарант связности и целостности<sup>39</sup>.

Максима политической семиологии: любая деполи-  
тизация мира осуществляется в политических целях. Не  
существует «незаинтересованного наблюдателя» власти,  
открытой для бескорыстного созерцания. Напротив, в по-  
добной незаинтересованности проявляется активное ут-  
верждение созерцательного отношения к миру как ценно-  
сти, происходит незаметная фетишизация продуктов дея-  
тельности за счет процессов, которые сделали их воз-  
можными.

Вот каким рисуется Барту читатель текста в момент,  
когда он испытывает удовольствие: «Представьте себе не-  
кое лицо (господина Тэста наизнанку)... которое молча  
вынесло бы всякого рода обвинения в алогизме, в веро-  
ломстве; которое осталось бы невозмутимым перед лицом  
сократической иронии, подводящей человека к высшему  
бесчестию — к тому, что он себе противоречит... Такой  
человек был бы отбросом нашего общества; суд, школа,  
приют отказались бы от него. Да и кто способен без стыда  
вынести противоречие?! Такой антигерой существует:  
это человек, читающий текст в тот момент, когда он ис-  
пытывает удовольствие. Здесь выворачивается наизнанку  
библейский миф: смешение языков перестает быть нака-  
занием, читатель получает удовольствие благодаря со-  
существованию языков. Текст удовольствия — это Ва-  
вилонская башня со счастливым исходом»<sup>40</sup>. Стремиться  
быть логичным — это признавать принцип реальности,  
пребывать в истине; не признавать истину — значит во-  
истину быть. Возмутительность удовольствия от текста  
с точки зрения принципа реальности (и его языка —  
здорового смысла) связана с тем, что удовольствие ато-  
пично. Текст не связан ни с разрушением культуры, ни  
с ее утверждением, поэтому его чтение доставляет удо-  
вольствие, которое нельзя переписать в терминах «удо-  
вольствия от зрелищ, массового удовольствия»<sup>41</sup>.

Текст заменяет банальный язык агрессивности языком  
различия, языком единичной телесности (противостоящей  
антагонисту души, телу как организму). Конфликт —  
это частный случай различия, а не наоборот. Различие  
вовсе не то, что маскирует, лишает остроты конфликт;  
оно возникает на месте конфликта, вне и в стороне от  
него. Конфликт — это одна из возможных интерпретаций  
различия, его интерпретация с точки зрения морали,  
моральное переживание состояния различия; он всегда  
подчинен жесткому коду, он беден как любой язык аг-  
рессивности. Текст видится Барту пространством чистого



различия, различия, не «обуженного» до противостояния.

От читателя текста требуется качество методического антигероизма, отказ от мифа о Великом Противостоянии, о потаенной Истине, которую нужно завоевать и созерцать. Место противостояния занимает отклонение. Удовольствие доставляет не совокупность отстаиваемых автором идей, а сам труд письма. То, что общество вынуждено приписывать тексту свойство моральной извращенности, связано исключительно с тем, что в этом артефакте отсутствует «моральное единство, которого общество требует от любого продукта человеческой деятельности»<sup>42</sup>, с тем, что он неизбежно фрагментарен. Так что читатель обречен на продуктивный фетишизм и должен согласиться с тем, что сам он в момент чтения лишен единства, несобираем и чужд единству классического читателя.

### 3. Р. Барт и новые политики литературы

Проект политической семиологии получает в современной французской философии различные истолкования как со стороны учеников и последователей Барта, так и со стороны философов, литературоведов, писателей, культурологов, работающих самостоятельно. Условно можно выделить три основных направления в интерпретации бартовского проекта. К первому следует отнести развитие идей политической семиологии на материале литературоведения (Ф. Соллерс, Ж. Кристева, К. Тодоров, Ж. Жетт и др.). Ко второму — работы М. Бланшо и П. Клоссовски, которые выходят за пределы политической семиологии: связь с литературоведческой проблематикой слабеет, уступая место ориентации на литературную практику. Наконец, к третьему — так называемый шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гаттари, предстающий как нерасторжимое философско-литературно-политическое образование. Для всех этих направлений является общим то, что новая модель литературы представляется чистым слепком социальной революции: борьба с властью ведется с помощью асоциальных (текстуальных) действий, революция литературы внутри самой литературы. Связь же между пониманием политического в текстах авторов этих направлений, влияние друг на друга в теоретической практике и их конкретной политической позицией в общественной жизни Франции 60—80 гг. не является прямой. Так, идеи Клоссовски существенно повлияли на формирование шизоанализа Делёза и Гаттари, но политические взгляды их

явно отличны: участием Делёза и Гаттари в левом движении противостоит «правая утопия» Клоссовски и политическая индифферентность Бланшо. Причем надо учесть, что многие из лидеров этих направлений не всегда различают две стороны собственной «революционности»: практическую революционность как включенную в одну из партийных, институциональных стратегий и теоретическую революционность, которая представляется им некой протореволюционностью, порождающей первую. Но, конечно, партийный радикализм не может быть приравнен, например, к радикализму литературному. Вот почему стремление пробиться с помощью теории на тот уровень, где зарождается само политическое, сами властные отношения, но не как понятия или теоретические объекты, а как живой опыт властвования, трудно квалифицировать в терминах «правый—левый», «гошистский», вот почему политически неквалифицируема социальная апатия Бланшо и правая утопия Клоссовски.

*Литература как семиотическая практика (группа «Тель кель»).* Первое направление — писатели и литературоведы, объединившиеся вокруг журнала «Тель кель» (одним из основателей журнала был Ролан Барт)—опиралось на несколько общих принципов: 1) признание примата литературной практики над любой рефлексией по поводу литературы; 2) семиотизация проекта политической семиологии, 3) более активное подключение проблематики «большой политики», рассмотрение текстуального письма не как аналога социальной революции, а как самой революции.

Новая семиологическая платформа кратко очерчивается Кристевой: «Для семиологии не существует литературы. Ее не существует в качестве обычной речи и еще меньше в качестве эстетического объекта. Литература есть частная семиотическая практика... больше других проявляющая проблематику производства смысла, которая занимает новую семиологию, и вызывает, следовательно, интерес лишь в той мере, в какой она (литература.— М. Р.) берется в своей несводимости к объекту нормативной лингвистики»<sup>43</sup>. Семиотизация и внешняя политизация политической семиологии, против которой активно возражал сам Барт<sup>44</sup>, стремится, во-первых, к созданию общей теории знаковых систем (от чего Барт отказался в начале 70-х годов), во-вторых, к формализации семиотических систем с точки зрения коммуникации, точнее, к выделению внутри проблематики коммуникации зоны

производства смысла, в-третьих, к снятию «удовольствия от текста» прямой политизацией чтения (например, Соллерс пишет: «Всякое письмо политично, хочет оно того или нет. Письмо есть продолжение политики другими средствами»<sup>45</sup>).

Практическое приравнивание текстуального письма к «реальной истории» приводит телькелистов независимо от субъективной революционности и многочисленных ссылок на классиков марксизма к сближению со словарем и проблематикой академического литературоведения; материалистическое понимание истории растворяется в семантическом материализме, любая политика становится в принципе производной от языковой политики, в ней растворяются даже «тексты—пределы» Лотреамона, Малларме, Арто, Батая, на асоциальности которых настаивал Барт. Другими словами, история приобретает в глазах Соллерса и его сотрудников статус простой метафоры текстуального письма. Остается неясным, какими независимыми социальными механизмами производится само это письмо, что делает его возможным и необходимым одновременно. «Дурной», линейной историей оказывается та, которая вызывает к жизни литературу выражения, «теологические категории смысла, субъекта и истины»<sup>46</sup>; а подлинной — та, которая производит тексты—пределы как совершенные аналоги социальной революции. «У письма и революции одно общее дело»<sup>47</sup>, — утверждает Соллерс. Тем самым признается невозможность языка, который создавал бы дистанцию по отношению к текстуальному письму, историзуя его, который делал бы видимыми пороги, отделяющие одну литературную формацию от другой вместо того, чтобы превращать текстуальное письмо в жертву «одной и той же идеологии». К созданию такого языка (приходящего на смену языку традиционного литературоведения) стремился Ролан Барт: именно этот язык представляется ему полностью ответственным, политическим и безвластным одновременно при всей парадоксальности такого сочетания. Радикализация этого замысла Барта достигается телькелистами только на внешнем уровне за счет утраты того, что создатель политической семиологии считал в ней самым ценным — продуктивной незаконченности, открытости, т. е. достигается слишком дорогой ценой.

*Литература как воля к власти. Трансгрессия (М. Бланио, П. Клоссовски).* Проблема «всеобщего кризиса комментария» еще более остро, чем Бартом, ощуща-

ется влиятельным французским философом, критиком и писателем Морисом Бланшо. Литература представляется ему как проявление воли к власти: литература существует, следовательно, родовое начало в человеке не победило, это значит, что существует потустороннее добро и злу. Что такое воля к власти в понимании Бланшо?

Возьмем в качестве иллюстрации анализ Бланшо мифа об Эдипе, разгадавшем загадку Сфинкса, женщины с львиным телом. На вопрос Сфинкса: «Утром на четырех, днем на двух, вечером на трех?» — Эдип ответил: «Человек в младенчестве, зрелости и старости». Ответ Эдипа — способ отвернуться от главного вопроса, который дочь Тифона и Гидры являет собой: «Эдип перед Сфинксом, — замечает Бланшо, — это человек перед лицом не-человека. Вся трудность вопроса состоит в том, чтобы привести человека к признанию того, что перед лицом Сфинкса, т. е. не-человека, он уже находится перед самим собой»<sup>48</sup>. От этого-то неудобного вопроса и отворачивается Эдип, заменяя его другим, отвечая на который, он как человек может узнать себя. Самый же глубокий вопрос не предполагает человека, он есть до человека. Загадка Сфинкса неразрешима, она осмысливается Бланшо как принципиально безответное вопрошание. Ответ Эдипа — лишь затемнение глубинного вопроса о том, что делает человека возможным еще до человека. Человек не выявляется в качестве «полного знака» реальности, а всегда представляет собой аббревиатуру множества знаков, частичных и неполных. Но из этого не следует, что полный знак, каковым является, по мнению Бланшо, воля к власти — знак дочеловеческого — избыточен в своем смысловом содержании. Напротив, как это ни парадоксально, только знаковая аббревиатура представляется полной, поскольку человеческое насыщено и определяется дочеловеческим. Вот почему «онтологически» полные знаки, которыми записан человек, взятые с точки зрения их представленности в истории, культуре или космосе, максимально фрагментарны. Отсюда вывод Бланшо: семиотика, исследующая логику бессознательных импульсов воли к власти, не может опираться на науку, так как в науке доминирует модус полноты представленности всего и вся. Скорее ее следует понимать, как открытую серию различных и одновременно тождественных знаков — импульсов: в представлении они различны, асинхронны, в непосредственном действии, по своей внутренней форме тождественны, так как совершают «работу» по воспро-

изводству реальности; отсюда их дисперсность, уникальная способность проникновения. Такими знаками могут быть «революция», «власть», «закон», сама «литература», — важно лишь то, что они даются в открытой серии семиотического процесса, не отягощенного законами и нормами социальности. Играть знаками социальности вне социальности — вот в чем состоит замысел Бланшо, именно эту игру он называет опытом литературы, опытом безвластного.

Следует заметить, что философия воли к власти Бланшо в отличие от политической семиологии Барта исходит из постулата случайности общественной жизни. Воля к власти и власть разделяются и противопоставляются: в том месте, где разум как властное начало размещает хаос («чистая негативность», которую необходимо преодолеть), для воли к власти только и начинается чистая позитивность. Если понимание текста у Барта еще связано с литературой как с тем, что преодолевают, то философия воли к власти Бланшо окончательно приносит литературу как жанр в жертву литературному опыту. На плечи философа перекладывается не только все то, чего Барт требовал от писателя — делать текст так, чтобы комментарий стал излишним, — но также вся практика исключения самого текстуального как знакового и тех слабых связей, какие письмо у Барта еще сохраняет с литературой как жанром.

Другими словами, в мышлении Бланшо литература утверждается в качестве антикультурного действия. Возникает парадоксальная ситуация: противником асоциального действия выступает не конкретная социальность, исторически определенный способ существования общественных отношений, а некий абстракт социальности. При этом упускается из виду, что борьба с социальностью неизбежно укладывается в одну из стратегий конкретной социальности, является ее проявлением на уровне духовного производства. Литература не столько преодолевает культурные запреты, сколько воспроизводит их как преодоленные. Однако Бланшо не замечает этого. Для него любое нормативное задание языка — лингвистическое, семиотическое, литературное, риторическое и даже антириторическое — служит проводником власти; переводить в язык то, что языка не имеет и существует как спонтанная речь, есть опять-таки упражнение во власти. Книга как культурный продукт, как произведение, оказывается демаркационной линией, за границами которой сущест-

вует безвластное. Писать нечто, но не книгу, значит пребывать в стихии воли к власти, в вечном возвращении, вне знаков, маркирующих предел письма как книгу и книгу как предел. В этом «нечто» исчезает вопрос о человеке, открывается бытие литературы вне иерархии жанров литературы, как опыта чистой трансгрессивности (выхода за пределы). Таким образом, литература как опыт безвластного возможна лишь там, где устранена любая субъективность. В этом пункте позиция Бланшо также отличается от позиции Барта, полагавшего, что субъекта следует не устранить, а разыграть как одну из возможных фикций: стремление же к уничтожению субъекта реактивно и тянется за ним как шлейф его прошлой истины; нельзя так нервно относиться к факту самотождественности, в котором к тому же нет ничего личного.

На трансгрессии как универсальном философском принципе особенно настаивает П. Клоссовски. Литература в рамках его концепции интегрального атеизма становится опытом чистой трансгрессивности с выведением за скобки всей лингвистической, семиотической и семиологической проблематики. Клоссовски противопоставляет свою концепцию доктрине рационального атеизма, созданной материалистами XVII в.: он полагает, что рациональный атеизм наследует монотеистические религиозные нормы, делает их имманентными, заменяя теоцентризм антропоцентризмом<sup>49</sup>. Однако, признавая, что существующие нормы и институты капиталистического общества структурируют саму форму литературной трансгрессии, интегральный атеизм отказывается признать, что эти нормы принципиально внетекстуальны, что они записаны в существующем типе общественных отношений до всякого текста, имеют другой онтологический статус. Интегральный атеизм предполагает неисторичность желания, более того, он возможен в модусе неисторичности желания. Основной принцип интегрального атеизма: систематически заменять представления действиями, текстуальными действиями. Что это значит? Вот как, например, Клоссовски анализирует статус субъекта в опыте трансгрессивности. Трансгрессивное текстуальное действие направлено против языка институтов, вне которого инстанция «я» немыслима как субъект. «Мое» тело есть продукт языка общества и существует как «мое» исключительно внутри логически структурированного языка, поддерживающего в человеке «субординацию жизненных функций». «Из языка институтов я узнал, — замечает

Клоссовски,— что тело, в котором я есть, „мое“<sup>50</sup>. Преодоление логически структурированного языка оказывается преодолением социальности как таковой. Проблема преодоления решается литературой в опыте трансгрессии языка (следовательно, субъекта, истории, социальности). Новое тело, которым снабжает меня трансгрессивный текст, является телом, запороговым любой системе норм, внешним всякому набору культурных запретов и в этом смысле телом безвластным; в этом теле нарушены «субординация жизненных функций» и примат родового начала над волей к власти. Применительно к этому телу можно говорить о его неспецифичности: по-настоящему «мое» здесь — это тело другого, настоящее «я» — это всегда другой. Но это не интериоризация другого, скорее, имеет место экстериоризация моего «я», но не в обмен на объективацию в другом и тем самым на расширение моего «я», а действие против собственного «я» в монотонном повторении другого «я» как своего собственного. Так индивидуальная структура личности оказывается множеством психосостояний, несводимых и не идентичных друг другу. Трансгрессивное тело утверждает не оптимум, а максимум движения, не представляет движение, а находится в самом движении как непрерывном становлении. Текстуальное действие есть действие или движение трансгрессивного тела, но не по законам и правилам социальности: оно возможно лишь в асоциальном опыте литературы, в особом роде текстового производства.

Легко заметить, что ни Бланшо, ни Клоссовски не учитывают производящей активности общества; в конечном итоге все сводится к выходу за пределы общества в асоциальном текстуальном действии, прямо ему противостоящем, но фактически преодолевается не культура, не социальность, не власть, а предшествующее представление о них, определенным образом сформулированная система норм. Иллюзия безвластного обретается на путях разрушения литературы как нормативного употребления языка. То, что достигается в результате трансгрессивных усилий, оказывается поразительно зависимым от определенного режима властных отношений в обществе.

Отсюда ограниченность концепций революции, развиваемых в рамках философии воли к власти и интегрального атеизма, их внешняя радикальность. Революция мыслится Бланшо как тотальное отсутствие закона, как экспансия его анонимной подосновы. Власть как запи-

санный закон представляется себе бесконечно совершенствуемой лишь потому, что закон «есть забвение своей анонимной основы»<sup>51</sup>. Поэтому революция должна не завершаться в горизонте нового закона, но подтачивать все общественное здание, оставаясь действием, постоянно обновляющейся практикой. Закон заменяется движением, а «мир — процессом деятельности, а не тотализацией»<sup>52</sup>. Выдвигая радикальное требование — превратить реальность в закон, разрушающий себя как знак, — французский философ фактически вновь призывает брать запись с точки зрения условий возможности записи, знак — с позиций, внешних любому знаку; вновь его революционность втягивается в орбиту преодоления предшествующих литературных норм. Подобно Бланшо, Клоссовски также избирает синонимом текстуального действия желание. Не признавая, что есть типы действия, несводимые к желанию или к «чистому» текстуальному действию — такие, например, как классовая борьба в марксизме или дисциплинарные пространства у Фуко, — и тем самым объявляя желание атрибутом историчности, автор концепции интегрального атеизма ищет не новой социальности, а конца истории.

*Литература в контексте шизоанализа (Ж. Делёз, Ф. Гаттари).* Концепция шизоанализа развивается в ряде работ известным французским философом Ж. Делёзом и психоаналитиком Ф. Гаттари, с которым Делёз сотрудничает с начала 70-х годов. Шизоанализ отличается следующими принципиальными чертами: 1) отказом от ассоциальных образов индивидуализма; созданием теории маргинальных групп, которые признаются первичными по отношению к любым видам коллективности и знаменуют как бы победу протосоциальности над конкретной социальностью; 2) отказом от трансгрессии, признанием ее частью самой социальной стратегии и заменой ее желанием, которое получает невиданно высокий статус, становясь синонимом революции; 3) окончательным отказом от языка как уникальной среды, в которой локализованы проявления протосоциального; язык становится частью неязыкового поля, и литература связывается не столько с языком, сколько с машинами желания. Другими словами, в шизоанализе осознается узость преодоления (трансгрессии) как принципа, противостоящего обществу «на равных».

В одном существенном пункте Делёз возвращается к Барту — место преодоления и борьбы у него занима-



ет понятие ускользания. Он отказывается вводить борьбу в свою концепцию воли и власти, полагая, что «борьба никогда... не является активным выражением сил, проявлением утверждающей воли к власти»<sup>53</sup>, но скорее средством, с помощью которого большинство, коллективы — второстепенные с точки зрения Делёза исторические образования — одерживают победу над активными протосоциальными силами, маргинальными группами. Но если понятие ускользания Бартом еще связывалось с текстом, письмом и удовольствием, ничего подобного нет в психозанализе, где все эти понятия резко критикуются и отбрасываются. Важнейшей фигурой такого ускользания становится литература как перманентная революционность, то, что Делёз и Гаттари называют «состоявшейся психозфренией». За этой ведущей практикой и теорией ускользания как проявлением воли к власти и должна последовать философия.

Делёз называет писателей «клиницистами цивилизации», сближая их со знаменитыми врачами-симптомологами, обновившими диагностику; «художники — это клиницисты, но не своей болезни и не болезни вообще, а цивилизации... оценка симптома может совершиться лишь через роман...»<sup>54</sup>. Каждый из подобных клиницистов — А. Арто, С. Фитцджеральд, М. Лоури — максимально рискует, экспериментируя на себе, и этот риск дает неотъемлемое право на диагноз<sup>55</sup>. Что же выпадает на долю философа? «Говорить о ране Боске, об алкоголизме Фитцджеральда и Лоури, о безумии Ницше и Арто, оставаясь на берегу? Или самому немного заглянуть туда, быть немного алкоголиком, немного безумцем... настолько, чтобы создать психическое расстройство, но не углубить его до бесповоротности?» Делёз отвечает однозначно: да, заглянуть самому и испытать на себе первориск творца, и тогда появится возможность мыслить этим опытом, войти в его событие, а не делать его объектом «незаинтересованного» созерцания, которое этот опыт разрушает.

Но Делёз не останавливается на этом экзистенциальном призыве, он пытается заложить философские и логические основания «клинического» опыта. Во всяком случае именно эту цель он преследует в своей философии события, учении о произвольных единичностях, в которой разворачивается новая трансцендентальная аргументация, ставшая впоследствии логической основой психозанализа. Трансцендентальная аргументация *de jure* не должна иметь истории, но *de facto* она ее имеет, в ней не должно

происходить революционных сдвигов, но они происходят. Современная западная философия уже не является привилегированным местом таких сдвигов или их первоосновой. Импульсы к изменению часто приходят в философию извне: из науки, живописи, литературы — приходят в поисках собственной логики, но не пристанища. Невиданной философизации современного искусства соответствует встречное движение со стороны философского маргинализма.

В этом встречном движении отвергается прежде всего неспособность философии от Канта до Гуссерля порвать с формой общего чувства, в результате чего трансцендентальный субъект сохраняет форму личности, персонального сознания и субъективного тождества, удовлетворяясь калькированием трансцендентального с эмпирического. То, что очевидно у Канта, когда он выводит три вида трансцендентального синтеза из соответствующих видов психологического синтеза, остается в силе применительно к Гуссерлю, выводящему изначальное, трансцендентальное «видение» из перцептивного «зрения». Таким образом, в понятии смысла не только задается все то, что нужно породить с его помощью, но, что более существенно, это понятие затемняют, смешивая выражение с другими измерениями, от которых его обещали отличать, смешивая его с трансцендентальными измерениями, от которых его собирались отличать формально.

Гуссерль показал независимость смысла от целого ряда модусов в соответствии с требованиями феноменологической редукции. Но понять смысл как непроницаемую нейтральность ему мешает забота о сохранении в феноменологии рационального модуса здравого смысла (общего чувства), неверно понимаемого им как матрица и праформа.

В противоположность ориентациям на рациональный модус здравого смысла, философия Дёлеза опирается на безличное и доиндивидуальное поле, которое (несмотря на попытки в этом направлении, например, Ж.-П. Сартра) неопределимо как поле сознания: нельзя сохранить сознание как среду, отказываясь от формы личности и точки зрения индивидуации. «Трансцендентальную философию,— пишет Делёз,— роднит с метафизикой прежде всего альтернатива, которую они навязывают: или недифференцированный фон, бесформенное небытие, бездна без различий и свойств, или индивидуальное суверенное Существо, высоко персонализированная Форма. Вне этой

Формы или этого Существа — хаос... Другими словами, метафизика и трансцендентальная философия сходятся в понимании произвольных единичностей (сингулярностей) лишь как персонифицированный в высшем, «я»<sup>56</sup>. Будучи доиндивидуальными, неличностными, аконцептуальными, они коренятся в другой стихии. Эта стихия называется по-разному — нейтральное, проблематичное, чрезмерное, невозмутимое, — но за ней сохраняется одно общее свойство: индифферентность в отношении частного и общего, личного и безличного, индивидуального и коллективного и других аналогичных противопоставлений (бинарных оппозиций). Другими словами, произвольная единичность или сингулярность неопределима с точки зрения логических предикатов количества, качества, отношения и модальности. Сингулярность бесцельна, ненамеренна, нелокализуема. Например, произвольная единичность битвы не позволяет ей осуществиться, не дает поделить ее участников на трусов и храбрецов, победителей и побежденных; битва как событие разворачивается за всем этим, за ее осуществленностью.

Философия события является, возможно, одной из первых систематических попыток дать теоретическую базу опытам литературного авангарда, сделать этот опыт необратимым. Признание изначальности произвольных единичностей (сингулярностей) по отношению к ответственному «я» и здравому смыслу подводит логическое основание под новую теорию маргинальных групп. Произвольные единичности первичны по отношению к культуре, которая, сама будучи вторичным образованием, обеспечивает господство большинства над сингулярным, структуры — над событием, осуществления — над противоосуществлением (пребыванием в несводимости события), а власти в ее «нормальных» проявлениях — над волей к власти.

Делёз полагает, что философия события выводит его за пределы Марксовой концепции «обусловленного я»<sup>57</sup>, помогая преодолеть представление о господстве больших чисел, коллективов в истории. Это притязание представляется чрезмерным, потому что имманентное противостояние власти, на которое ориентирует философия Делёза и соответствующая литературная практика, не имеет самостоятельного социального значения. Более того, упускается из виду, что имманентная деструкция литературы и философского трансцендентализма способствует их выживанию, независимому от формы, которую им при-

дают, проявляется как симптом классового расслоения. Разложение субъекта в определенных условиях не только не мешает, но и способствует процессу индивидуации, усиливает соответствующие социальные механизмы.

Не случайно, что мир желания, который так славят Делёз и Гаттари, мир, где «все возможно», приравнивается к миру шизофренического опыта, а последний оказывается глубинным опытом литературы. Шизофрения объявляется синонимом самого процесса производства желания; шизофреник — это тот, кто перешел предел, удерживающий производство желания на периферии общественного производства. Литература, по мнению шизоаналитиков, ничем не отличается от шизофрении: это процесс, а не цель, производство, а не выражение. Критика означаемого в шизоанализе, а также критика письма, текста имплицитно направлена против политической семиологии Барта с ее проблематикой не-книги, метакниги и т. д. Бартовская стратегия объявляется «стратегией означаемого», чем-то второстепенным по сравнению с атекстуальным, аграфическим и асингификативным опытом шизолитературы.

Шизоанализ видит в литературе прообраз философии становления, работающей логики самого желания: ни риторическая, ни контрриторическая экспансия его не интересуют. Писатель берется как фигура работающего желания или универсальный производитель. Многочисленные формации бессознательного, исследуемые в работе «Анти-Эдип», функционируют как литературные машины по упразднению самой литературы и всей проблематики языка. Однако Делёз и Гаттари забывают, что произвол желания есть не основание, а продукт определенных исторических обстоятельств, и невозможен без работающего на него механизма индивидуации, который якобы «тотально» преодолевается в авангардистской философии и литературе, более того, становится просто необходимым как препятствие. Казалось бы, желание не порождает связей, но это представляется так потому, что тип общественных связей, делающий произвол желания возможным (рынок, например, тот же механизм индивидуации), функционирует как бы в другом месте, создавая исторические горизонты неисполненного желания. И только в этом далеко не универсальном историческом типе общественных связей мир предстает в модусе желания. Стоит напомнить, что Маркс считал механизм индивидуации крайне нестабильным и не обеспечивающим истинной связ-

ности: «...нелепо понимать эту всего лишь *вещную связь* как естественную, неотделимую от природы индивидуальности ...и имманентную ей. Эта связь — продукт индивидов. Она — исторический продукт»<sup>58</sup>.

Существенным методологическим недостатком психоз-анализа (как, впрочем, и интегрального атеизма и философии воли к власти) является то, что сверхиндивидуальное или «родовое начало» систематически переводится в них в план доиндивидуального. «Родовое начало» производит, причем необязательно, индивидуальность; доиндивидуальное же, будучи продуктом распада субъекта, обязательно вновь складывается в индивидуальность. Именно асоциальность этой позиции делает ее производной от «работающей» в другом месте социальности.

Классовый анализ в психозанализе не отменяется, но оказывается второстепенным по отношению к логике самого желания; он ограничивается «предсознательным интересом», в то время как желание относится к более глубокому бессознательному уровню. Буржуазия рассматривается как единственный класс капиталистического общества, которому противостоит не пролетариат, а «группа в слиянии» или «состоявшийся» психозфреник», более пролетарий, чем пролетарий, более буржуа, чем буржуа. Таким образом готовится литературное и философское преодоление истории через протосоциальное, а фактически — асоциальное действие. Политическое значение пролетариата снимается в психозанализе, поскольку в марксистском понимании это класс освобождающий, класс, несущий в себе потенциал безвластного бытия, но с позиции теории маргинальных групп это как раз и невозможно. Революционный потенциал сосредоточивается исключительно на полюсе маргинальных групп.

Крайне радикальным психозанализ представляется потому, что он не радикален социально. Если признать капитализм таким историческим типом общества, которое стремится (о чем писал Барт в «Мифологиях») предстать в качестве всеобщего и, следовательно, преодолеть себя как конкретную социальность, то борьба с социальностью может оказаться на деле усовершенствованием конкретно данной социальности. Преодоление социальности в ее протоисторическом облике есть локализация не привилегированного места буржуазии, а лишь представлений буржуазии об этом месте. Отсюда кажущийся парадокс: сверхрадикализм не выходит на уровень социального радикализма. Литературная и философская

имитация социального радикализма делает культуру еще более рациональной, потребление еще более дифференцированным, предлагая вместо революции более или менее аутентичные образы революционности. Эти образы включены в революцию потребления, что ставит под сомнение не искренность новых «революционеров», но их место.

- <sup>1</sup> Реализованного в его работах 70-х годов (см. ниже).
- <sup>2</sup> *Barthes R. Mythologies.* P., 1957. P. 252.
- <sup>3</sup> *Ibid.* P. 255.
- <sup>4</sup> *Barthes R. Leçon: Leçon inaugurale de la chaire de la sémiologie littéraire au Collège de France prononcée le 7 janvier 1977.* P., 1978. P. 12.
- <sup>5</sup> *Barthes R. Le degré zéro de l'écriture.* P., 1953. Цит. по рус. пер.: *Барп Р. Нулевая степень письма // Семиотика.* М.: 1983. С. 306—349.
- <sup>6</sup> Там же. С. 334.
- <sup>7</sup> Там же. С. 335.
- <sup>8</sup> Там же. С. 322. Другой ритуальной частью классической литературы является повествование от третьего лица, благодаря которому авторское «я» сжимается до размеров неподвижной точки, из которой ведется наблюдение за действиями другого, контролируемого «эго». Это сущение автора в инстанцию объективного контроля над миром — тоже явление историческое и идеологическое. Сам факт появления третьего лица предстает не как исходная точка истории, а как результат, увенчивающий известное усилие управлять миром, представляя свой частный интерес как всеобщий.
- <sup>9</sup> Там же. С. 326.
- <sup>10</sup> Там же. С. 336.
- <sup>11</sup> Особенно в работе: *Théorie d'ensemble.* P., 1968.
- <sup>12</sup> *Семиотика.* С. 336.
- <sup>13</sup> Там же. С. 340.
- <sup>14</sup> См.: *Barthes R. Leçon.* P. 23.
- <sup>15</sup> *Семиотика.* С. 333.
- <sup>16</sup> Там же. С. 315.
- <sup>17</sup> Там же. С. 347.
- <sup>18</sup> *Barthes R. Mythologies.* P. 248.
- <sup>19</sup> См.: *Семиотика.* С. 349.
- <sup>20</sup> *Barthes R. Leçon.* P. 40—41.
- <sup>21</sup> *Ibid.* P. 34.
- <sup>22</sup> *Roland Barthes par Roland Barthes.* P., 1975. P. 68.
- <sup>23</sup> *Barthes R. Le plaisir du texte.* P., 1973. P. 73.
- <sup>24</sup> *Textual strategies: Perspectives in post-structuralist criticism.* Ithaca, 1979. P. 74.
- <sup>25</sup> *Ibid.* P. 75.
- <sup>26</sup> *Ibid.* P. 76.
- <sup>27</sup> *Barthes R. Le plaisir du texte.* P. 26.
- <sup>28</sup> *Ibid.* P. 39.
- <sup>29</sup> *Ibid.* P. 49.
- <sup>30</sup> *Calvet J.-L. Roland Barthes: Un regard politique sur le signe.* P., 1973. P. 153.
- <sup>31</sup> *Barthes R. Leçon.* P. 11.
- <sup>32</sup> *Ibid.* P. 14.

- <sup>33</sup> *Barthes R. Le plaisir du texte. P. 84.*
- <sup>34</sup> *Ibid. P. 53.*
- <sup>35</sup> *Ibid. P. 64—65.*
- <sup>36</sup> *Ibid. P. 66.*
- <sup>37</sup> Барт вспоминает, как однажды, находясь в баре, он обратил внимание на то, что окружен плотным слоем шумов, не достигающих уровня фразы: накладывающиеся друг на друга обрывки разговоров, звон посуды, звуки из телевизора. В этот момент его осенило, что то, что достигает его слуха,— это не «недофразы» и не «предфразы», какими их пытается представить лингвистика, что все это расположено радикально «вне фразы», что оно имеет собственный, не зависимый от фразы знаковый статус; и в этот момент лингвистика как наука о бесконечно протяженной фразе лежала перед ним в руинах. Из этого аудишока он сделал политический вывод, что мы отданы во власть фразы (и следовательно, фразеологии).
- <sup>38</sup> *Barthes R. Le plaisir du texte. P. 80—81.*
- <sup>39</sup> Так, в книге «Сад, Фурье, Лойола» (*Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P., 1971*) утверждается, что желание ускользает от политики, а в «Удовольствии от текста» читаем нечто иное: желание — классовая идея и т. д. Бесплезно искать «мост» между этими фразами, Барт противоречит себе намеренно, чтобы постоянно демонстрировать эпистемологический приоритет противоречия над связностью, примат единичного над общим.
- <sup>40</sup> *Barthes R. Le plaisir du texte. P. 10.*
- <sup>41</sup> «Совершенно иного рода удовольствие от стриптиза и от повествования... это интеллектуальное, эдипово, массовое удовольствие, ибо всякое повествование выводит на сцену Отца...» (*Ibid. P. 20*).
- <sup>42</sup> *Ibid. P. 43.*
- <sup>43</sup> *Théorie d'ensemble. P., 1968. P. 92.*
- <sup>44</sup> «Его друзья из „Тель кель“... соглашаются говорить на всеобщем, телесном языке, на языке политическом... мое тело отличается от их тел; оно не может перестроиться по типу всеобщности, той мощи всеобщности, которая заключена в языке. Если бы мне удалось говорить о политике с помощью моего тела, получилась бы одна из самых пошлых структур» (*Roland Barthes par Roland Barthes. P. 177—178*).
- <sup>45</sup> *Théorie d'ensemble. P. 45.*
- <sup>46</sup> *Ibid. P. 79.*
- <sup>47</sup> *Ibid.*
- <sup>48</sup> *Blanchot M. L'entretien en infini. P., 1969. P. 21.*
- <sup>49</sup> См.: *Klossowski P. Sade mon prochain. P., 1967.*
- <sup>50</sup> *Ibid. P. 46.*
- <sup>51</sup> *Préti G. La force du dehors: Exteriorité, limite et non-pouvoir à partir de Maurice Blanchot. P., 1977. P. 122.*
- <sup>52</sup> *Ibid. P. 121.*
- <sup>53</sup> *Deleuze G. Nietzsche et la philosophie. P., 1973. P. 93.*
- <sup>54</sup> *Deleuze G. Logique du sens. P., 1969. P. 277.*
- <sup>55</sup> *Ibid. P. 278.*
- <sup>56</sup> *Ibid. P. 129.*
- <sup>57</sup> *Deleuze G. Nietzsche et la philosophie. P. 185.*
- <sup>58</sup> *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 105.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛАСТИ (вместо введения) . . . . .	7
В. В. Мшвениерадзе	

### Раздел I

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО . . . . .	37
И. И. Кравченко	
ВЛАСТЬ: ОТНОШЕНИЕ ИЛИ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ? (ре- ляционистские и системные концепции власти в немарксист- ской политологии) . . . . .	65
Е. В. Осипова	
ВЛАСТЬ И «ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» (поведенческие концепции власти в политической науке США) . . . . .	95
А. Л. Алюшин, В. Н. Порус	
ВЛАСТЬ И МЕРА («точные методы» в англо-американской политологии). . . . .	128
Ю. М. Батулин	

### Раздел II

УСМИРЕНИЕ ВЛАСТИ (политическая философия Б. Рас- села). . . . .	149
В. В. Мшвениерадзе	
МАССА И ВЛАСТЬ (политическая антропология Э. Канетти) . . . . .	180
Л. Г. Ионин	
ВЛАСТЬ И ПОЗНАНИЕ (археологический поиск М. Фуко) . . . . .	206
В. А. Подорога	
ВЛАСТЬ В ПСИХОАНАЛИЗЕ И ПСИХОАНАЛИЗ ВЛАСТИ . . . . .	256
Н. С. Автономова	
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРЫ (политическая се- миология Р. Барта) . . . . .	295
М. К. Рыклин	



Научное издание

**ВЛАСТЬ:**  
**Очерки современной**  
**политической философии**  
**Запада**

Утверждено к печати  
Институтом философии АН СССР

Редактор В. П. Лега  
Художник И. Д. Богачев  
Художественный редактор М. Л. Храмцов  
Технические редакторы Л. И. Куприянова, М. Л. Маркелова  
Корректор Е. Н. Белоусова

ИБ № 39260

Сдано в набор 25.05.89  
Подписано к печати 16.08.89  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>  
Бумага типографская № 2  
Гарнитура обыкновенная  
Печать высокая  
Усл. печ. л. 17,22. Усл. кр. отт. 17,22. Уч.-изд. л. 19,5  
Тираж 6700 экз. Тип. зак. 724  
Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Наука»  
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90.  
4-я типография издательства «Наука»  
630077, Новосибирск, 77,  
ул. Станиславского, 25

2р. 30к.

ВЛАСТЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО